
ЖОРЖ
БЕРНАНОС
Под солнцем
Сатаны
•
Дневник
сельского
священника
•
Новая история
Мушетты

Под солнцем Сатаны

Жорж Бернанос

Аннотация
Жорж Бернанос. Под солнцем Сатаны
ПРОЛОГ. Мушетта
I
II
III
IV
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ. Искушение отчаянием
I
II
III
IV
ЧАСТЬ ВТОРАЯ. Люмбрский святой
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX

X
XI
XII
XIII
XIV
XV

Аннотация

Жорж Бернанос (1888-1948) – один из крупнейших французских писателей, с которым русский читатель знаком по нескольким новеллам. В настоящий сборник включены три наиболее зрелых и сильных произведения Бернаноса: "Под солнцем Сатаны", "Дневник сельского священника" и "Новая история Мушетты". Писатель ставит проблемы, имеющие существенное значение для понимания духовной жизни человека. Бернанос отдает свои симпатии людям обездоленным. Страдающие, подчас отчаявшиеся, они находят в себе силы для любви, добра.

Жорж Бернанос
Под солнцем Сатаны

ПРОЛОГ
Мушетта

I

Настает вечер — пора, излюбленная П.-Ж. Тулэ. Раздвигаются пределы пространств, налившихся прозрачностью безмолвия, — на закате большое облако цвета слоновой кости, и во всю ширь меркнущего неба, от края и до края, безмерное, уже дышащее ледяным холодом, одиночество… Настает час поэта, перегонявшего жизнь в змеевике своего сердца, дабы выкурить сокровенный сок ее — благоуханную отраву.

Уже ворочается в полумраке людское сонмище, тысячеокое, тысячеустое, уже кипит и блистает бульвар… Он же, облокотившись на мраморный стол, глядит, как ночь распускается, подобно цветку лилии.

Пришел час начать повесть о Жермене Малорти из Терненка, городка в графстве Артуа. Отец ее был отпрыском Малорти из Булонэ, потомственных мельников и торговцев мукою — людей одной закваски, из тех, что выжмут все до гроша из мешка пшеницы, но любят вместе с тем размах в деле и радости жизни. Малорти-старший первый основался в Кампани, женился здесь и, променявши пшеницу на жито, занялся полити-

кой и пивоварением, но то и другое выходило у него весьма посредственно. Мучные торговцы из Девра и Маркиз тотчас решили, что с ним приключилось буйное помешательство и что не миновать ему нищенской сумы, коль скоро опозорил торговцев, никогда и ни от кого ничего не хотевших, кроме приличного барыша. "У нас в роду испокон века одни либералы", — говорили они, давая тем самым понять, что были и остаются безупречными торговцами. А мятежные идеологи — о, злая насмешка Времени! оставляют по себе сугубо мирных потомков: полчища духовных наследников Бланки корпят над бумагами в регистратурах, а в церковных ризницах не протолкаешься среди учеников Ламенне.

В Кампани живут две важные птицы. Во-первых, врач Гале, впитавший премудрость требника Распайля. Он депутат от своего округа и с величавых высот, куда вознесла его судьба, все еще обращает печальный взор к утраченному раю мещанского бытия, к своему захолустному городишке и обитой зеленым репсом гостиной дома, где зрели великие помыслы сего ничтожества. Он искренне верит, что представляет опасность для государства и собственности, и, печалуясь о том, надеется отдалить крушение

любезных его сердцу установлений, отмалчиваясь и воздерживаясь от голосования.

— Почему ко мне так несправедливы? — воскликнул однажды сей призрак с искренний горечью в голосе. — У меня как-никак совесть есть!

Во-вторых, г-н маркиз де Кадиньян, живший там подобно королю без королевства. Черпая сведения о жизни большого мира из "Светских новостей" в "Ле голуа" и раздела "Современная политика" в "Ревю де Де монд", он не оставил еще намерения возродить во Франции забытое искусство соколиной охоты. К несчастью, поелику загадочные норвежские кречеты со знаменитой родословной, за которых были плачены большие деньги, не оправдали надежд и опустошили его кладовые, маркиз свернул шею пернатым тевтонцам и теперь натаскивал на жаворонков и сорок более скромных соколов-пустельг. В досужее время он волочился за местными девчонками, — во всяком случае, так поговаривали: сплетникам должно было довольствоваться злословием и пересудами, ибо почтенный муж охотился на запретную дичь сугубо частным образом, выслеживая ее бесшумно, как волк.

II

Малорти-старший прижил с супругою дочь, которую, в порыве республиканских чувств, пожелал наречь Лукрецией. Школьный учитель искренне убежденный в том, что добродетельная римлянка была матерью Гракхов, произнес по сему поводу небольшую речь, напомнив кстати, что Виктор Гюго первый восславил великую дщерь человечества. И вот впервые сие достославное имя украсило свидетельство о рождении. К сожалению, снедаемый угрызениями совести пастырь советовал не спешить, пока не получено архиепископское одобрение, так что пылкому пивовару пришлось скрепя сердце смириться с тем, что дочь окрестили Жерменой.

— Я бы ни за что не уступил, если бы родился мальчик, — заметил он, ну, а девочка…

Барышне исполнилось шестнадцать лет.

Однажды вечером, когда семейство собиралось ужинать, Жермена внесла в столовую полное ведро парного молока… Едва сделав несколько шагов, она вдруг остановилась. Ноги ее подкосились, лицо покрылось бледностью.

— Боже мой! — вскричал Малорти. — Девочке

дурно!

Бедняжка притиснула обе руки к животу и расплакалась. Госпожа Малорти так и впилась взглядом в глаза дочери.

— Выйди на минутку, отец, — промолвила она.

Как часто случается, после бесконечных смутных подозрений, о которых и говорить-то едва решаются, правда вдруг вышла вся наружу, грянула громом средь небес. Ни мольбами, ни угрозами, ни даже побоями ничего не добились от упрямицы: она лишь по-детски плакала. Даже самая недалекая женщина оказывает в подобных крайностях мудрое хладнокровие, которое есть несомненно наивысшее выражение бессознательной прозорливости. В обстоятельствах, приводящих мужчину в замешательство, она упорно молчит. Ей-то отлично известно, что распаленное любопытство вытесняет гнев.

Тем не менее по прошествии седмицы Малорти сказал жене, попыхивая своей любимой трубочкой:

— Пойду завтра к маркизу. Чую, это он. Нутром чую.

— К маркизу! — воскликнула она. — Погубит тебя твоя горячность, Антуан… Ведь ты ничего не знаешь наверное… Посмеется он над тобой,

помяни мое слово!

— Там увидим, — молвил супруг. — Десять уже, ложись спать.

Однако, когда на следующий день он ждал своего грозного противника, покоясь в просторных кожаных креслах в его передней, ему представилась вдруг с ясностью вся неосторожность затеянного им. Гнев его несколько остыл, и он подумал: "Не наломать бы дров..."

Ему казалось поначалу, что он в состоянии спрятать в карман самолюбие и повести дело с мужицкой хитростью, как поступили бы на его месте многие. Но страсть заглушила в нем голос рассудка, и он не понимал, что она говорила ему.

О ту пору Жану де Кадиньяну стукнул пятый десяток. То был невысокий, уже огрузневший мужчина, носивший во всякое время костюм коричневого бархата, в котором казался еще более тучным. Тем не менее маркиз умел обольстить своеобразной обходительностью и учтивостью уездного волокиты, коими пользовался необыкновенно искусно. Как и многих одержимых бесом сладострастия мужчин, маркиза выдавала речь, сколько бы ни старался он, находясь в обществе женщины или воображая ее рядом с собой, казаться резким, властным, даже грубым. Голос его,

где слышались нотки избалованного ребенка, был замечательно гибок и обилен оттенками, настойчив, ласков и вкрадчив. Кроме того, он унаследовал от матери, уроженки Ирландии, бледно-голубые, сверкавшие леденистым блеском глаза, прозрачные и пустые.

— Добрый день, Малорти. Присаживайтесь.

Малорти действительно встал при появлении маркиза. Во время ожидания он приготовил небольшую речь и теперь с удивлением обнаружил, что все слова вылетели у него из головы. Он начал говорить как во сне, ожидая, когда отхлынет гнев.

— Господин маркиз, я пришел говорить о нашей дочери.

— Вот как!

— Поговорим, как мужчина с мужчиной. Пять дней тому назад я сделал одно открытие, и с тех пор все время думал, взвешивал "за" и "против". Дело вполне можно уладить полюбовно, вот я и решил переговорить с вами, прежде чем прибегнуть к другим средствам. Не дикари же мы, в самом деле!

— Каким же, любопытно? — осведомился маркиз. — Не подумайте только, что я смеюсь над вами, — продолжал он тем же спокойным голо-

сом, — но, черт возьми, вы меня удивляете! Мы с вами уже не в том возрасте, чтобы лукавить и ходить вокруг да около. Хотите, я скажу, что у вас на уме? Пожалуйста. Девочка забеременела, и вы ищете папу своему будущему внуку... Ну что, прав я?

— Ребенок ваш! — тотчас вскричал пивовар.

Невозмутимость толстяка подействовала на него, как ушат холодной воды. Среди всех доводов, последовательно и тщательно обдуманных им и казавшихся ему неопровержимыми, он не находил теперь ни одного, который осмелился бы высказать хотя бы в виде предположения. Уверенность в своей правоте развеялась, как дым.

— Оставим шутки, — продолжал де Кадиньян. — Я не позволю себе никакой неучтивости по отношению к вам, не выслушавши прежде ваши доказательства. Мы знаем друг друга, Малорти. Вам известно, что я не чураюсь женского пола. А кто не грешит! Но стоит какой-нибудь девчонке принести в подоле, как ваши треклятые кумушки начинают перемывать мне косточки: "конечно, он...", "кажется", "похоже на это..." Да что в самом деле! Времена господ кончились. Я беру то, что мне позволено взять. Республика существует для всех, черт побери!

"Эк, куда хватил! Республика!" — воскликнул мысленно оторопевший пивовар, приняв сию исповедь за дерзкий вызов, хотя маркиз говорил чистосердечно, и сам Малорти как истый мужик благоволил в душе власти, устраивающей состязания сельских хозяев и награждающей владельцев самой тучной скотины. К тому же обитатель Кампаньского замка рассуждал о политике и истории почти так, как рассуждал бы самый захудалый из его испольщиков.

— И что же? — спросил Малорти, все еще чая определенного ответа.

— А то, что я прощаю вас за то, что вы, как говорится, попались на удочку. Вы сами, ваш чертов депутат, да и вся местная шушера такого наплели обо мне, что я гляжу прямо Синей Бородой. Маркиз то, маркиз се, крепостничество, всевластие феодала — какой вздор! Разве я не имею права на справедливость? Будьте же справедливы и честны, Малорти! Скажите без утайки, какой дурак советовал вам прийти сюда ко мне, наговорить неприятностей да вдобавок и наклепать на меня? Поди, женщина? Вот сучье племя!

Маркиз весело расхохотался, будто сидел с приятелем в кабаке.

Пивовару самому хотелось облегченно засме-

яться, как если бы, после утомительного торга, заключилась наконец желанная сделка. Засмеяться и сказать: "По рукам! Идемте выпьем, господин маркиз! У нас, французов, приятельство в крови".

— Но послушайте, господин де Кадиньян, — со вздохом возразил он, — даже если бы у меня не было никаких улик, здесь всякий знает, что вы давно уже обхаживали девчонку. Да что говорить, месяц тому назад я своими глазами видел, как вы сидели рядком на краю канавы у выгона Леклера, как перейдешь дорогу на Вай. Думал, ну, полюбезничает дочка немного, и конец. Она ведь помолвлена с сыном Раво. И девка такая самолюбивая! Да уж что сделано, того не воротишь. Вы человек состоятельный, благородный, не мне вас учить, как поступают люди порядочные... Я, конечно, не требую, чтобы вы женились на ней, не так глуп. Только нельзя же обходиться с нами, как с последними собаками: попользовался — и в сторону, а мы теперь сраму не оберемся.

Последние слова пивовар, сам того не замечая, проговорил с чисто крестьянским лукавым простодушием, голос его звучал искательно и немного жалобно. "Он не смеет отрицать, — думалось ему, — он хочет сделать мне какое-то

предложение, и он сделает его". Однако грозный его противник не открывал рта.

Минуту или две молчание не нарушалось, лишь слышался в отдалении звон наковальни. Стоял чудный августовский день, наполненный свистом птиц и гудением насекомых.

— Ну, так что же? — промолвил наконец маркиз.

Пивовар, собравшийся с духом во время краткой передышки, возразил:

— Сделайте же ваше предложение, сударь.

Но собеседник, мысли которого шли своим ходом, спросил:.

— А что, давно ли она виделась последний раз с этим Раво?

— Откуда мне знать?

— А между тем это могло бы привести нас в ясность, — благодушно продолжал маркиз,- не худо бы разузнать... А эти папаши так глупы! Я бы в два часа представил вам виновника, он бы и не пикнул...

— Вот те на! — только и мог выговорить пораженный пивовар.

Бедняга не очень хорошо был знаком с тем наивысшим выражением наглости, которое умники называют цинизмом.

— Любезнейший Малорти, — тем же голосом продолжал маркиз, — не мне давать вам советы. К тому же человек вашего склада, попавши в беду, не принимает их. Вот что я вам скажу по-просту: приходите через неделю. Успокойтесь, поразмыслите на досуге, держите все в тайне и не ищите виновных, не то нарветесь на человека не столь терпеливого, как я. Кой черт, вы взрослый мужчина! У вас ни свидетелей, ни писем, ровным счетом ничего. А за неделю, глядишь, языки развяжутся, и из какого-нибудь пустяка можно будет извлечь немалую выгоду. Представьте, является вдруг... Надеюсь, вы меня поняли, Малорти? — заключил он весело.

— Похоже, да, — ответствовал пивовар.

На мгновение искуситель заколебался, голос его дрогнул. "Будь начеку! Он хочет, чтобы я выложил все, что держу про запас", — подумал Малорти. Сей знак слабости ободрил его. К тому же поднимавшийся в нем гнев все больше туманил ему рассудок.

— Разведывайте и оставьте девочку в покое, — заговорил снова маркиз. Тем более что вам ничего не удастся из нее вытянуть. Эту птичку так просто не поймать, она что твой коростель — бегает в клевере под самым носом наилучшей

собаки, так что и старого спаниеля с ума сведет.

— Вот-вот, это самое я и хотел сказать, — согласился Малорти, подкрепляя каждое слово наклонением головы. — Я сделал, что мог. Хорошо, я подожду неделю, две недели, сколько угодно. Малорти никому не задолжал, а коли его дочь пошла по кривой дорожке, пусть на себя и пеняет. Она достаточно взрослая, чтобы грешить, сама и постоит за себя!

— Послушайте, не болтайте пустое, — попытался остановить его маркиз.

Но пивовар шел напролом. Он решил припугнуть де Кадиньяна.

— От красивой девчонки не так просто отделаться, как от старого простофили, господин Кадиньян, это вам всякий скажет… Вас тут знают как облупленного, да она сама скажет вам все как есть, тысяча чертей! При честном народе, глядя вам в глаза! Будьте покойны, моя дочка не даст себя в обиду. А если ничего не выйдет, от зубоскалов, во всяком случае, пощады не ждите.

— Хм, любопытно было бы видеть.

— А вот увидите! — вскричал Малорти.

— Спросите-ка ее, — возвысил голос и маркиз, — спросите ее сами, любезнейший!

На мгновение пивовару представилось бледное

решительное личико, хранящее непроницаемое выражение, и гордый рот, за целую неделю так и не выдавший ему тайны…

— Хватит юлить! Она все открыла своему отцу! — воскликнул он и отступил на два шага.

На миг во взоре маркиза мелькнула нерешительность, глаза его скользнули от лица пивовара вниз, потом вверх, и вдруг взгляд их отвердел. В бледно-голубых зрачках зажегся зеленый огонь. Если бы Жермена была здесь, она прочла бы в них свою судьбу.

Де Кадиньян отошел к окну, захлопнул створки и, по-прежнему не говоря ни слова, возвратился к столу. Передернув сильными плечами, он приступил вплоть к своему гостю и сказал лишь:

— Поклянись, Малорти!

— Клянусь!

Едва сия ложь слетела с уст пивовара, как он уверил себя в том, что прибег к вполне невинной хитрости. Да и уж очень ему не хотелось идти на попятный. Лишь некая мысль мелькнула в его голове и, хотя он не успел сознать ее, заронила ему в душу неясную тревогу. Он смутно почувствовал, что выбрал неверную дорогу и зашел так далеко, что ничего уже поправить нельзя было.

Он ждал взрыва, он хотел его. Но голос неприя-

теля звучал спокойно:

— Уходите, Малорти. На сегодня, пожалуй, хватит. Оба мы, вы по-своему, а я по-своему, ходим в дураках из-за этой лживой поганки. Берегитесь же! Надеюсь, ваши советчики достаточно умны и остерегут вас от некоторых глупостей, а самой большой глупостью было бы стараться запугать меня. Пусть думают обо мне что угодно. Плевать! В конце концов существует ведь на что-нибудь и суд. В добрый час!.. А теперь прощайте!

— Что ж, поживем — увидим! — отповедал наш пивовар исполненным благородства голосом и, покуда раздумывал, что бы еще такое примолвить, обнаружил вдруг, что стоит на улице в одиночестве и совершенном замешательстве. — Вот бесов сын, — проговорил он, пришед несколько в себя, подсунет тебе барды вместо жита, а ты ему еще и спасибо скажешь…

На обратном пути он перебирал в уме все подробности происшедшего разговора и, как водится, старался представить свое поведение в выгодном для себя свете, однако, как человек трезвого ума, не мог не сознавать того, что жестоко уязвляло его гордость. Великая встреча, от которой он столько ждал, ничего не решила. Да и последние, исполненные тайного смысла,

слова Кадиньяна не давали ему покоя, внушая тревогу перед будущим. "Оба мы, вы по-своему, а я по-своему, ходим в дураках..." Видать, девчонка обвела их вокруг пальца.

Подняв глаза, он увидел среди деревьев свой чудный дом из красного кирпича, бегонии на лужайке, дым, столбом поднимающийся из трубы пивоварни к вечернему небу, и тягостные мысли тотчас отлетели прочь. "Ничего, я свое возьму, — подумал он. — Год будет удачный". В продолжение двадцати лет он лелеял мечту стать однажды соперником маркиза. И вот свершилось. Неспособный к отвлеченным представлениям, но безошибочно чуявший все то, что ценится в жизни земной, он не сомневался более в том, что стал первым человеком в родном городке, что принадлежал отныне сословию господ, по образу и подобию которых испокон века складывались законы и обычаи, сословию полуторговцев, полурантье, владельцев газогенераторного двигателя — знамения современной науки и прогресса, — вознесшись как над именитыми земледельцами, так и над лекарем-политиком, который есть всего лишь мещанин-отщепенец. Он решил, что когда дочери придет время рожать, отправит ее в Амьен. По крайней мере он мог положить-

ся на скромность маркиза. С другой стороны, нотариусы в Вадикуре и Салене не скрывали более скорой продажи замка. Вот когда умыслил посчитаться с недругом своим честолюбивый пивовар. О лучшей мести он и не мечтал, ибо ему недоставало воображения желать смерти соперника. Он был из породы людей, которые умеют вынашивать ненависть, но которых ненависть не окрыляет.

…Было июньское утро. Ясное, звонкое, свежее июньское утро.

— Поди посмотри, как скотина ночь провела, — велела мать (шесть красавиц коров со вчерашнего дня паслись на выгоне)… Снова Жермена увидит острый клин Совского леса, сизый холм, ширь убегающей к морю равнины и на краю ее песчаные, освещенные солнцем увалы.

Воздух уже теплеет, и дали курятся паром; на дне лощины, где лежит дорога, сумрак, и пажити вокруг, поросшие корявыми яблонями. Свет так же свеж, как росные капли. Снова она увидит шестерых красавиц коров, услышит их сопение и кашель в ясном утреннем воздухе. Снова вдохнет влажную мглу, отзывающую корицей и дымом, — от нее щиплет в горле и неодолимо хочется петь. Снова увидит воду в дорожных колеях,

огнем вспыхивающую от лучей восходящего солнца… Но еще чудеснее будет, когда она увидит на опушке леса своего рыцаря: справа и слева от него помещаются его псы Закатай и Лютый, а он стоит, словно король, в бархатном костюме и тяжелых сапогах, сжимая в зубах вересковую трубку.

Они встретились три месяца назад, в воскресенье, по дороге в Девр. Шагая бок о бок, дошли до первых домов… Во все продолжение пути в ее уме звучали отцовы слова, вспоминались бесчисленные статьи из "Пробуждения Артуа", которые Малорти читал вслух, пристукивая кулаком по столу, рабство, темницы — оживали страницы из украшенной картинками книги о прошлом Франции — Людовик XI в островерхой шапке (за его спиной качается висельник, громоздится башня Плесси). Она отвечала собеседнику без притворной скромности, с очаровательной прямотой, высоко держа голову. И все же, когда мысли ее возвращались к отцу, пивовару республиканской закваски, она невольно поеживалась и холодок пробегал по коже: вот у нее и тайна, своя тайна!

В свои шестнадцать лет Жермена умела любить (а не мечтать о любви, что есть не более чем игра по заранее известным правилам)… Жер-

мена умела любить, то есть в душе ее созрела, словно чудесный плод, жажда наслаждения и приключений, отважная вера в себя, свойственная тем, кто бросается очертя голову навстречу неизвестности, чтобы все потерять или взять все, бесстрашно устремляется по пути, которым неизменно шло каждое новое поколение в нашем старом мире. Юная мещаночка с молочно-белой кожей, дремотным взглядом и удивительно нежными ручками склонялась над рукодельем в ожидании дня, когда настанет пора дерзать и жить. Смелая до крайности в мечтах и желаниях, но выказывавшая, вопреки всем трудностям, непреклонное благоразумие в решении деловых вопросов, после того как выбор ее был сделан. Что неведение, когда горячая кровь с каждым толчком сердца велит пожертвовать всем ради неведомого! Старая Малорти, рожденная богатой и некрасивой, даже не смела мечтать о чем-нибудь, кроме приличного брака, который решается простым движением пера нотариуса. Добродетель входила в число непременных качеств женщин ее круга. Но даже она весьма живо чувствовала зыбкость бытия любой женщины, подобного громоздкому строению, которое грозит развалиться от малейшего толчка.

— Отец, — говаривала она своему пивовару, — нашу дочку надобно воспитать в набожности…

Вряд ли она могла бы объяснить почему, разве сказала бы, что так говорит ей сердце. Однако Малорти не поддавался:

— Зачем ей поп? Чтобы узнать на исповеди все то, чего ей знать не положено? Всем известно, что попы смущают детский ум.

Посему дочери было запрещено посещать уроки закона божия и даже, как он выражался, "этих святош, из-за которых и в самых крепких семьях начинаются свары". Отец смутно толковал и о тайных пороках, подтачивающих здоровье юных девиц, которым их основательно научают за стенами святых обителей. Любимым его присловьем было: "Монашки обрабатывают девчонок в пользу священника". И он заключал, пристукнувши кулаком: "Они подрывают в них уважение к будущему мужу!" Пивовар не терпел никаких вольностей в вопросе о власти супруга, единственной власти, которая, по мнению некоторых избавителей рода людского, должна быть безграничной.

Когда же госпожа Малорти сетовала на то, что у дочери нет подруг и она почти безвыходно сидит в похожем на кладбище садике, среди подстри-

женных тисов, он говорил жене:

— Оставь ее в покое. Девчонки в этой проклятой стране до мозга костей пропитаны лукавством. Со своей благотворительностью, чадами Пресвятой Девы и прочим вздором священник каждое воскресенье битый час держит их при себе. Ох, не нравится мне все это! Если бы ты хотела научить ее жизни, ты бы послушалась меня да послала ее в Монтрейский лицей. У нее был бы уже диплом! А от подружек в ее годы добра не жди. Уж я-то знаю…

Вот какие речи держал Малорти под влиянием Гале, не оставшегося безучастным к столь щекотливым вопросам женского воспитания. Бедный коротышка, служивший некогда врачом в Монтрейском лицее, действительно знал немало о юных особах женского пола и не делал из сего тайны.

— В рассуждении науки… — промолвливал он иной раз, усмехаясь с видом человека, расставшегося со многими заблуждениями, снисходительно взирающего на любовные шалости человеков и к ним лично не стремящегося.

В саду, среди стриженых тисов, на совершенно пустой веранде, пахнувшей жженой замазкой, честолюбивая девочка терпеливо ждала, сама

не ведая чего, того, что никогда не случается, сколько ни жди... Отсюда пустилась она в дорогу, и суждено было ей познать то, что лежит по ту сторону Индии... К счастью для Христофора Колумба, земля кругла, и сказочная каравелла, едва отплыв от берега, уже возвращалась к нему. Но есть и другой путь, прямой, неуклонный, уводящий все дальше в сторону, путь, которым еще никто не возвращался. Если бы Жермена и те девушки, что пойдут по ее стопам завтра, умели изъяснить свои мысли, они, верно, сказали бы: "Зачем нам ваша правильная дорога, если она никуда не ведет?.. Зачем нам мир, круглый, как моток шерсти?"

Той, что, казалось, рождена была для жизни безмятежной, уготована роковая судьбина. Поразительное, непредсказуемое стечение обстоятельств, скажут иные. А между тем обстоятельства здесь ни при чем, ибо рок таился в ее сердце.

Если бы его самолюбие не было столь жестоко уязвлено, Малорти скорее всего во всех подробностях передал бы жене свой разговор с маркизом. Но он почел за благо на некоторое время утаить от нее свою тревогу и свое унижение, замкнувшись в гордом, исполненном угрозы молчании. К

тому же злоба томила его, и он надеялся утолить жажду мести, приготовив внезапную развязку семейной драмы, жертвой которой должна была стать его дочь. Семья совершенно необходима многим тщеславным недоумкам, когда их постигает неудача, ибо там у них всегда есть, так сказать, под рукой несколько слабых созданий, на которых и самый отъявленный трус может нагнать страху. Ничтожество утешается в своем бессилии, причиняя страдания ближним.

И вот, едва семья отужинала, Малорти вдруг проговорил своим властным голосом:

— Дочка, мне нужно говорить с тобой!

Жермена подняла голову, медленно сложила на стол вязанье и стала ждать.

— Ты провинилась предо мной, сильно провинилась, — продолжал Малорти тем же голосом. — Когда дочь сбивается с пути, в дом приходит беда. Уже, может быть, завтра все будут указывать на нас пальцем. Это на нас-то, людей, чье доброе имя ничем не запятнано, которые честно ведут свои дела и никому ничего не должны! Дожили! Тебе бы просить у нас прощения да подумать вместе с нами, как жить дальше… А ты только слезьми себя изводишь, вздыхаешь да охаешь. Ничего не скажешь, хныкать ты горазда! А вот

чтобы рассказать отцу с матерью все начистоту, тут из тебя слова не вытянешь. Уперлась, и молчок! Так вот, чтобы у меня этого больше не было! — вскричал он, хвативши кулаком по столешнице. — Ежели и завтра услышу эту песню, худо тебе придется. Хватит лить слезы! Будешь говорить или нет?

— Ну что же, давайте поговорим, — отвечала бедняжка, чтобы выиграть время.

Вот и настал час, которого она с трепетом ждала, но в решительное мгновение все доводы, которые она целую неделю готовила в уме, явились все разом в мыслях и смешались в ужасающем беспорядке.

— Я только что виделся с твоим полюбовником, — снова заговорил отец, видел его своими глазами… Барышне подавай, видите ли, маркиза, от отцовского пива она нос воротит… Бедная невинность уже вообразила себя знатной дамой и хозяйкой замка с графами, баронами и пажом, чтобы таскал за ней шлейф!.. Ну вот мы наконец и потолковали по душам с твоим маркизом. Только прежде давай уговоримся, обещай мне не ловчить и повиноваться беспрекословно.

Она безмолвно плакала, часто вздрагивая телом, и взгляд ее полных слез очей был ясен. Она

не страшилась более позора, одна мысль о котором заранее приводила ее в ужас. Еще вчера, когда она ждала с часу на час взрыва, в голове ее колотилась одна мысль: "Я умру от стыда, просто умру!" И вот теперь она искала в себе стыд и не находила.

— Так ты будешь повиноваться мне? — настаивал Малорти.

— Чего вы хотите от меня? — спросила она.

Он задумался на миг:

— Завтра здесь будет господин Гале...

— Не завтра, — перебила она, -в субботу, к ярмарке.

Мгновение Малорти оторопело глядел на нее.

— В самом деле, совсем из головы вон, — молвил он наконец. — Ты права. В субботу.

Жермена вставила замечание ясным и спокойным голосом, какого прежде отец не слышал от нее. Хлопотавшая у печи мать издала горестный стон, пораженная в сердце.

— В субботу... да, значит, в субботу, — продолжал несколько сбившийся с мысли пивовар. — Гале знает жизнь. У него есть и совесть и душа... Прибереги слезы для него, дочь! Мы пойдем к нему вместе.

— О нет! — сказала она.

Кости были брошены в разгаре битвы, и она почувствовала себя такой свободной и такую жажду жизни в себе! "Нет" оставило на ее губах нежную горечь первого поцелуя. Впервые она бросала вызов.

— Это еще что! — загремел глава семейства.

— Успокойся, Антуан! — взмолилась мать. — Дай же ей опомниться! Ну, что может сказать зеленая девчонка твоему депутату?

— Правду, черт побери, правду! — возопил Малорти. — Во-первых, мой депутат врач! Во-вторых, поскольку ребенок внебрачный, он напишет нам письмецо в одно из амьенских заведений! С другой стороны, врача и мужчиной нельзя считать, это образованность, наука — он есть духовник республиканцев. А эти ваши тайны курам на смех! Неужели ты думаешь, что маркиз сам заговорит? Девочка еще не вошла в возраст, тут, знаешь, растлением малолетних попахивает, это может дорого ему обойтись! Разрази меня гром, если мы не потянем его в суд! Корчит из себя бог знает кого, всех за дураков считает, отпирается, врет напропалую!.. Маркизишко навозный!.. Бессовестная! — возвысил он еще более голос, оборотившись к дочери. — Он поднял руку на твоего отца!

Он солгал неожиданно для себя, просто красного словца ради. Впрочем, стрела пролетела мимо. Сердце юной мятежницы забилось сильнее, но не столько при мысли, что ее повелителю и владыке было нанесено оскорбление, сколько оттого, что ее мысленному взору предстал обожаемый кумир, великолепный в гневе своем… Его рука! Грозная рука! И она украдкой искала на отчем лице оставленный ею след.

— Погоди же, — вмешалась госпожа Малорти, — дай мне сказать!

Она охватила руками голову дочери.

— Бедная глупышка, кому же еще сказать правду, как не отцу с матерью? Когда я почуяла неладное, было уже поздно. Но неужели ты ничего не поняла за это время? Неужели ты не видишь, чего стоят обещания мужчин? Они все до одного лжецы, Жермена!.. Девица Малорти, говорите? Знать не знаю, ведать не ведаю! Где твоя гордость? Да я бы ему в глотку впихнула его подлые слова! Ты, видно, хотела уверить нас, будто отдалась какому-нибудь проходимцу, батраку или бездомному бродяге? Признайся, ведь хотела? Он дал тебе слово, что будет молчать? Да не женится он на тебе, доченька! Сказать тебе одну вещь? Его монтрейский нотариус уже получил

приказ продать усадьбу в Шармет, мельницу и все прочее. А не сегодня-завтра, глядишь, и сам будет таков. Ищи тогда ветра в поле!.. Ведь сраму не оберешься… Да отвечай же, дубовая твоя голова! — вспылила она.

"Ищи ветра в поле…" Из всего сказанного лишь эти слова засели в памяти. Одна… Покинутая, развенчанная, униженная… Одна в безликой толпе… Покаянная! Что может быть на свете ужаснее одиночества и скуки? Что может быть ужаснее этого унылого дома? Скрестив руки на груди, она простодушным движением нащупала сквозь легкую ткань маленькие перси, полудетское лоно, таившее такую глубину и столь безвременную рану, — сдавила их пальцами, и боль, рассеявшая последние сомнения, исторгла из ее уст возглас:

— Мама! Мама! Лучше мне умереть!

— Довольно, — вступил Малорти, — или мы, или он. Даю тебе еще один день, вот мое последнее слово, не будь я Антуан Малорти! Слышишь, бесстыжая? Ни часу больше!

Между ней и ее возлюбленным стоял этот взъяренный толстяк и грозившая ей позорная огласка с ее непоправимыми последствиями. Тогда кончится все, и перед ней захлопнется единственная дверь, за которой ее ждало буду-

щее и радость… Да, она обещала молчать, но в молчании было и ее спасение. Она ненавидела теперь этого тучного человека.

— Нет! Нет! — с силой повторила она.

— Святые угодники, она сошла с ума! — простонала мать, вздевая руки. Она просто рехнулась!

— Я точно сойду с ума! — воскликнула Жермена, и слезы еще сильнее полились из ее очей. — За что вы так казните меня? Делайте, что хотите, бейте меня, гоните меня из дому. Я руки на себя наложу, но вам ни слова не скажу! Слышите? Ни словечка! А что до господина маркиза, это все наветы. Он меня и пальцем не коснулся.

— Потаскушка! — процедил пивовар сквозь зубы.

— Зачем вы допытываетесь, коли не желаете мне верить? — твердила она детским голоском.

Она восставала на отца, дерзко вперяла в него взор застланных слезами очей. Она чувствовала себя сильнее его своей юностью, безжалостной своей юностью.

— Верить тебе? Тебе? Меня, стреляного воробья, хочешь одурачить? Поищи кого похитрее! Твой голубок-то признался! Признался-таки! Добрую пулю я ему отлил! Спорьте сколько угодно, говорю, а только девчонка все рассказала.

— О ма…ма! Мама! — едва пролепетала она. — Он по… посмел… он посмел!

Ее прекрасные голубые глаза, вдруг высохшие и заблестевшие, стали синими, как фиалки, чело побледнело, а пересохшие губы шевелились, тщетно стараясь вымолвить что-то.

— Замолчи, ты убьешь нашу дочку! — причитала мать. — Беда, ох беда!

Но и без слов голубые глаза были достаточно красноречивы. Пивовар перехватил мгновенный взгляд, выражающий глубокое презрение. Мать, защищающая детей своих, не так страшна и проворна, как женщина, у которой выдирают плоть от плоти ее, любовь, выношенный ею плод.

— Уходи! Вон отсюда! — прорычал коснеющим языком пораженный в самое сердце отец.

Некоторое время она оставалась на месте, не поднимая глаз. Губы ее дрожали, она с трудом сдерживалась, чтобы не швырнуть ему в лицо признание и довершить его унижение. Потом она взяла со стола вязанье, иглу и клубок шерсти и вышла из комнаты. Щеки ее алели ярче, чем у вязальщицы снопов на жниве. Но, едва почувствовав себя на воле, она двумя прыжками, как горная коза, взлетела по лестнице и со всего маху захлопнула за собой дверь. Через приоткрытое

окно она видела в конце садовой дорожки, за луковыми грядами, окрашенную белой краской решетку чугунных ворот, замыкавших ее мирок, и два куста гортензии, растущие по обе стороны от них… А за оградой другие кирпичные домики выстроились в ряд до самого поворота дороги, где дымится печная труба над ветхой соломенной кровлей, насунутой на глинобитные рассевшиеся стены — там жилище голодранца Люгаса, последнего нищего в округе… И сопревшая солома среди нарядных, устланных обливными черепицами кровель тоже глядела нищетой и волею.

Жермена легла на кровать, примявши щекой подушку. Она старалась привести мысли в порядок и ясность, но в отуманенной голове гудело от ярости… Бедная! Ее судьба решается на чистенькой детской кроватке, пахнущей воском для полов и свежей холстиною.

В продолжение двух часов Жермена перебрала в уме немало замыслов покорения мира, — он, правда, уже имел хозяина, но молоденьких девушек это решительно не волнует. Она стонала, кричала, плакала, но что можно было поделать с неумолимой действительностью? Теперь, когда случившееся с ней открылось, когда она призналась, много ли у нее надежд на скорое свидание

с любимым, если вообще ей суждено еще свидеться с ним? Да и захочет ли он сам? "Он думает, что я выдала его, — мелькало в ее голове, — он перестанет уважать меня". Припомнились ей и слова матери: "Ищи ветра в поле..." Странное дело! Впервые в ней шевельнулась тревога, но не когда она подумала, что он может бросить ее, а от мысли о грядущем одиночестве. Измена не страшила ее, она никогда и не думала о ней. Ее ничуть не волновало, что придется лишиться всех этих благ: тихого, добропорядочного мещанского бытия, чинного кирпичного дома, доходной пивоварни с газогенераторным двигателем, благонравия, самого по себе служащего наградой, достоинства, приличествующего юной дочери именитого купца. Глядя на нее в воскресном наряде, со строгой прической, какая и должна быть у девицы воспитанной, слыша ее беззаботный звонкий смех, старый Малорти ни мгновения не сомневался, что дочь его безупречна во всех отношениях, "воспитанна, как королева", говаривал он не без гордости. И еще он говорил: "Совесть моя спокойна, и этого довольно". Но он всегда имел дело только со своей совестью и приходо-расходной книгой.

Ветер посвежел, окна в частом переплете стоя-

щих поодаль домов запламенели одно за другим; посыпанная песком дорожка за окном стала смутно белеющим пятном, а дурацкий тесный садик вдруг раздался вширь и вглубь, слился с бескрайней ночью… Жермена стряхнула бремя гнева, словно пробудившись от сна. Она соскочила с постели, постояла, напрягая слух, у двери, но не услышала ничего, кроме привычного храпения пивовара и важного тиканья стенных часов, вернулась к открытому окну, десять раз обошла свою тесную клетку, бесшумная, гибкая и чуткая, как волчонок… Что, уже полночь?

Глубокая тишина — опасность и приключение, чары неведомого. В безмолвии расправляются крылья великих душ. Все погружено в сон, засады нет… "Свободна!" — вдруг проговорила она низким хриплым голосом, где слышался стон страсти и который был так знаком ее любовнику… Она в самом деле была свободна.

"Свободна! Свободна!" — твердила она себе с крепнущей уверенностью. По правде говоря, она не могла бы объяснить, ни кто дал ей свободу, ни какие оковы распались. Просто она распускалась, как цветок, в укрывшей ее тишине. Еще раз, сначала несмело, а потом с упоением, молодая самка пробует свои налившиеся силой мышцы, свои

клыки и когти на пороге дивной ночи.

Она расставалась с прошлым, как покидают однодневное пристанище.

Жермена ощупью открыла дверь, ступень за ступенью сошла по лестнице, ключ заскрежетал в замочной скважине, и в лицо ей пахнул вольный воздух, никогда еще не казавшийся ей таким легким. Сад скользнул мимо, как тень… ворота позади… дорога, первый поворот… Лишь миновав его и оставив за спиной деревню — тесное черное скопище, — она вздохнула полной грудью… Она села на дорожном откосе, все еще радостно трепеща от своего открытия… Преодоленный путь казался ей безмерно долгим. Перед ней была ночь, как приют и добыча… Она ничего не обдумывала и чувствовала в голове блаженную пустоту… "Уходи! Прочь отсюда!" — сказал отец. Чего же проще? Она взяла и ушла.

III

— Это я, — сказала она.

Пораженный, он вскочил на ноги. Нежный призыв или укор, без сомнения, разъярил бы его. Но она стояла на пороге прямая, такая естественная и, казалось, почти спокойная. Позади нее на усыпанной камешками дорожке шевелилась легкая тень. Он тотчас узнал столь любимое им важное и невозмутимое выражение глаз, но в глубине золотистых зрачков уловил еще какое-то слабое мерцание. Они узнали друг друга.

— Заявиться сюда в час ночи, после того, как у меня побывал твой папаша! И это теперь, когда надо мной собирается гроза! Вздуть бы тебя за такие проделки!

— Господи, как я устала, — промолвила она. — Посреди аллеи глубокая рытвина, я два раза провалилась в нее, вымокла до колен... Ты не дашь мне напиться?

До сих пор, несмотря на то что между ними была совершенная доверительность и даже нечто еще большее, в их обращении друг к другу ничего не менялось. Она по-прежнему говорила ему "сударь", а иногда и "господин маркиз". Этой ночью

она впервые обратилась к нему на "ты".

— Вот уж действительно, смелости тебе не занимать! — весело воскликнул он.

Она с важностью приняла из его рук стакан и поднесла его ко рту, стараясь унять дрожь, но мелкие ее зубки стукнули о хрусталь, ресницы затрепетали, и на подбородок сбежала невольная слеза.

— Фу! — вздохнула она. — Сам видишь, у меня до сих пор в горле ком стоит от слез. Я два часа проплакала на постели. Я была просто не в себе. Они положительно решили сжить меня со свету... Нечего сказать, хороши родители! Больше я к ним не вернусь.

— Не вернешься? — рассердился он. — Выкинь этот вздор из головы, Мушетта (это было ее ласковое прозвище). Уж не воображаешь ли ты, что молоденькая девушка может бегать где ей вздумается, как куропаточка среди лета? Да первый же объездчик притащит тебя домой в своей охотничьей суме!

— Вот как!.. Да если хотите знать, у меня деньги есть. Вот возьму да укачу завтра вечером в Париж! Каково? У меня там тетка Эгле живет, в Монруже... Прекрасный дом с бакалейной лавкой. Я начну работать и буду очень счастлива.

— Глупыш, да ты достигла ли совершеннолетия?

— Ничего, достигну, — возразила она все так же невозмутимо.

На миг она отвела глаза, потом вновь спокойно взглянула в лицо маркизу.

— Можно, я останусь у вас?

— Остаться у меня! Это уже ни на что не похоже! — вскричал он, расхаживая взад и вперед, чтобы скрыть свое замешательство. — Хорошенькое дело, остаться! А где я тебя спрячу? Может быть, ты воображаешь, что у меня есть подземелье для юных красавиц? Так только в романах бывает, лукавица! Завтра же они всем скопом нагрянут сюда, твой папаша, жандармы и полдеревни с вилами... И с ними этот жердяй, депутат наш, лекарь чертов!

Она рассмеялась и забила в ладоши, но вдруг умолкла. Лицо ее вновь приняло строгое выражение, и она тихо молвила:

— Ах да, господин Гале! Завтра я должна идти к нему с папой. Он, видно, что-то придумал.

— Придумал, придумал! Как она это говорит! В сотый раз повторяю тебе, Мушетта: я не такой уж дурной человек, я сознаю мою вину. Ну нет у меня ни гроша, хоть лбом о стену бейся! Даже

если я продам здесь все до последнего бочонка, вырученных денег хватит лишь на то, чтобы не околеть с голоду. Жалкие медяки! Ну, разумеется, у меня богатая родня! Хотя бы тетка Арну: в свои шестьдесят лет она крепка, как мореный дуб, и богата, как церковная крыса. Она еще похоронит меня! У меня и так уже было немало всяких приключений. Надо играть осторожно, очень осторожно, Мушетта, и прежде всего выиграть время.

— Ах, какая прелесть! — раздался голосок девушки. — Чудо как красиво!

Отвернувшись от него, она с нежностью оглаживала обеими руками лакированный поставец времен Людовика XV, украшенный золоченой бронзой и китайскими пагодами, и чертила пальцем загадочные знаки на запорошенной пылью поверхности лилового трещиноватого мрамора.

— Оставь поставец в покое! — окликнул он ее. — У меня этой рухляди полон чердак. Может быть, ты все-таки соизволишь ответить?

— А что отвечать?

Она смотрела ему в лицо тем же спокойным взглядом.

— Что отвечать! — начал было он и невольно отвел глаза. — Оставим шутки, девочка, и при-

ведем все в совершенную ясность. Да и вообще мне не хочется злиться. Ты должна понять, что нам обоим выгодно дождаться, когда гроза пролетит мимо. Скажи, могу я завтра повести тебя в мэрию? Так чего же ты хочешь? Надеюсь, ты не собираешься остаться здесь, под самым носом у папаши? Каша такая заварится, что не приведи господи! Теперь половина второго, — заключил он, вынимая из кармашка часы. — Пойду запрягу Боба и живым духом домчу тебя до Гардской дороги. Еще до рассвета будешь дома, и концы в воду. А завтра снова противопоставишь Малорти несокрушимое упорство. А там, глядишь, что-нибудь надумаем. Обещаю тебе. Ну, ступай. Живее!

— Как бы не так! — возразила она. — Сегодня я не вернусь в Кампань.

— Да где же ты ночевать будешь, упрямая твоя голова?

— Здесь. На дороге. Где угодно. Не все ли равно?

Кадиньян взъярился и начал нещадно бранить ее, но все было напрасно. Так рыкает и скрежещет зубами тарасконское чудище, удерживаемое витым из моха поводком.

— Глуп же я, коли хочу вразумить упрямицу. Если тебе уж так хочется, иди ночевать в поле с

жаворонками. Я, что ли, виноват? Можно было бы найти какой-нибудь выход, но мне нужно время. Еще бы месяц — и я продал бы свою халупу и был свободен. А пока что? Ко мне врывается твой отец, грозит судом… Скандал ужасный! Завтра на меня насядет вся округа. Эта старая сова накличет воронья. А все почему? Потому, что девочка испугалась, заартачилась и выдала нас с головой: будь что будет! Рассказала все, конечно, как на исповеди… А ты расхлебывай, дружок! Нет, я не корю тебя, милочка, однако же… Ну, хватит, хватит! Довольно слезы лить!

Прижавшись лбом к оконному стеклу, она беззвучно плакала. Решив, что убедил ее, он подумал, что теперь ему будет легче растрогаться и пожалеть ее, ибо человеку свойственно жалеть себя в ближнем.

Он сжимал руками белокурую упрямую головку, пытаясь повернуть ее к себе лицом.

— Да не плачь же, я говорил совсем не то, что думал! Но вообще-то я ясно представляю, как все было… День сельскохозяйственной выставки, папаша Малорти с его замашками генерального советника… "Отвечайте же, несчастная! Скажите правду вашему отцу". Он бы вполне мог и поколотить тебя. Надеюсь, этого не случилось?

— Не…нет, — пролепетала она между двух рыданий.

— Подними же наконец голову, Мушетта. Это уже дело прошлое.

— Он ничего не знает! — выкрикнула она, стиснув кулачки. — Я ничего не сказала!

— Вот те на! — только и мог вымолвить он.

Ему не очень понятны были причины этой вспышки оскорбленной гордости, но еще более его поразило преображение Жермены: злой блеск глаз, мужественная складка гнева на лбу и зубы, белевшие под приподнявшейся губой.

— Что же ты раньше не говорила?

— Вы не поверили бы мне,- отвечала она по кратком молчании. Голос ее еще дрожал, но взгляд был, как прежде, ясен и холоден.

Он глядел на нее с некоторым беспокойством. Ему знакомы были эти причуды, запальчивость ее, и дерзость выходок, и неожиданные повороты мысли, похожие на прыжки преследуемого зайца, запутывающего свои следы, но до сих пор в охотничьем пылу он почитал все это за жалкие уловки красивой девчонки, которая из самолюбия уверяет себя, что еще не покорилась, когда перестала уже сопротивляться. Возмужалая зрелость нередко склоняет к самонадеянности,

но в любви опытность даже самого искушенного в делах такого рода чаще, чем принято думать, оборачивается слепотою простоты… "Мышка шмыгает под самым носом у кошки, да недолго ей бегать", — говаривал он и в самом деле думал, что поймал ее. Сколько любовников вот так пригревает на своей груди чужанинку, искусного и изворотливого врага!

В душе ничего не подозревавшего простофили возникло даже на миг ощущение близкой и необъяснимой опасности. Просторная зала, загроможденная стоящей в беспорядке мебелью, которую недавно снесли сюда из чердака, где она трухлявела долгие годы, показалась ему вдруг бесконечно огромной и пустой. Он расширил глаза, чтобы яснее видеть тонкий стан девушки, недвижно и безмолвно стоявшей за кругом света, — единственной живой души рядом с ним… Но тут же маркиз рассмеялся:

— А как же честное слово папы Малорти? Шутка?

— Какое честное слово?

— Да нет, ничего. Это я так, про себя… Если тебе нетрудно, повернись и притвори дверь.

В самом деле, дверь позади нее внезапно и бесшумно растворилась. От легкого соленого

ветерка, принесшегося с моря, но пропахшего на своем пути затхлостью стоячих вод, взлетели под потолок разбросанные по столу бумаги, а из стеклянного колпака лампы далеко высунулся багряный язык коптящего пламени. Ветер задул сильнее, и смутным гулом отозвались во всех концах парка пробудившиеся ели.

Она затворила дверь и вновь повернулась к нему, храня на лице надутое выражение.

— Подойди же наконец, — позвал Кадиньян.

Однако она отступила на два шага, проворно скользнула за стол, отгородивший ее от возлюбленного, и с видом обиженной девочки присела на краешке стула.

— Что же, так и будем торчать здесь всю ночь, Мушетта? Фу, злючка! сказал он, принужденно смеясь.

Он легко отступил перед упрямством, с которым, как он сам отлично понимал, ему было не совладать, и если сердце его билось сильно, то не столько от предвкушения ласк, уже пресытивших его, сколько от сознания опасности. "До завтра совсем недолго ждать", — думал он с какой-то странной радостью. Отдохновение сладко, но еще слаще краткая передышка.

К тому же он находился в том возрасте, когда

общество женщины скоро становится невыносимо мужчине.

— Может быть, ты уделишь мне минуту твоего времени? — холодно промолвила Мушетта, не поднимая глаз.

Ему был виден лишь ее упрямо склоненный гладкий лоб. Но тонкий злой голосок странно прозвучал в тишине.

— Целых пять! — шутливо возразил он, чтобы скрыть свою растерянность, ибо эта холодная дерзость испортила ему настроение (так когтистая лапка проворно бьет по носу добродушного увальня-пса).

— Значит, ты мне не веришь? — заговорила она по долгом раздумье, словно завершая внутреннюю речь,

— Я не верю тебе?!

— Только не старайся обмануть меня! Всю неделю я думала, но мне кажется, что только теперь я все поняла, жизнь поняла, если хочешь! Смейся, смейся! Во-первых, я совсем не знала себя. Радуешься неведомо чему, всякой малости… Яркому солнышку, словом, какому-нибудь вздору… Ну так радуешься, что кажется, сейчас сердце из груди выскочит, и чувствуешь, что в глубине души хотела бы чего-то другого… Непонятно чего,

но только без этого никак нельзя, и если этого не будет, все остальное уже ни к чему. Я не думаю, что ты был мне верен. Не так глупа! Ведь мы, мальчишки и девчонки, все отлично видим и, глядя в заборную щель, гораздо больше узнаем, чем на уроке катехизиса! "Все смазливые девчонки, милочка моя, проходят через его руки!" Вот что у нас говорилось о тебе. Я и подумала: "А чем я хуже? Теперь мой черед..." А ты перетрусил, стоило папаше вылупить на тебя свои злющие глаза... Как я тебя ненавижу!

— Да она просто рехнулась! — вскричал ошеломленный Кадиньян. — В тебе и капли рассудка нет! Начиталась романов!

Он медленно набил трубку, раскурил ее и сказал:

— Давай рассуждать по порядку.

Какой там порядок! Сколько уже мужчин до него думало, что им удалось обморочить шестнадцатилетнюю, вооруженную хитростью красавицу. Двадцать раз вам кажется, что она поддалась на самую явную ложь, но она и не слушала вас, чутко ловя лишь бесчисленные, нами пренебрегаемые знаки: уклончивый взгляд, неконченое слово, самый звук вашего голоса, непрестанно изучаемого, все более понятного и

день ото дня все более открывающего ей; терпеливо постигая все, притворяясь покорной, она постепенно перенимает опыт, которым вы так гордитесь, — не столь неспешно-мудрым проникновением, сколь необыкновенно изощренным бессознательным чувством, которому истина открывается в молниеносном озарении, во внезапном наитии, относящемся скорее к догадке, нежели к разумению, — и не успокоится, покуда сама выучится вредить вам.

— Давай рассуждать по порядку. В чем ты меня упрекаешь? Разве я скрывал от тебя, что в моей развалюхе с дозорными башнями я такой же нищий, как последний босяк? Ну посуди сама, как мы будем жить? Конечно, можно выкинуть из головы мысли о грозящих нам неприятностях. Это еще куда ни шло: влюбленные дуралеи первые же себя и обманывают. Но обещать то, чего заведомо не можешь исполнить,- это уже ни в какие ворота не лезет. Представляешь себе, как вытаращится на нас священник и этот дылда викарий, если мы в воскресенье заявимся в церковь под ручку? Когда будет продана мельница в Бриме и я расплачусь с долгами, у меня останется на руках всего полторы тысячи луи. Это все, чем я могу располагать. Давай решим так: две трети

мне, одна тебе. Идет?

— Ах, ах, какое благородство! — со смехом заметила она, хотя в глазах ее стояли слезы.

Он покраснел от досады и сквозь трубочный дым навел на странную девушку взгляд, в котором уже блеснул гнев. Однако Жермена смело выдержала его.

— Можете оставить себе ваши полторы тысячи луи! Они вам нужны больше, чем мне!

Она вряд ли могла бы объяснить, отчего испытывала какую-то непонятную радость, вряд ли могла бы выразить словами неясные чувства, тревожившие ее бесстрашное сердце. Ей просто хотелось унизить любовника его бедностью, ощутить свою власть над ним.

Устремиться час тому назад сквозь ночную тьму навстречу неведомому, бросить вызов всему свету — и только затем, чтобы обрести еще одного мужлана, еще одного благонамеренного папашу! Было от чего яриться! Разочарование ее было столь велико, а презрение скоро и бесповоротно, что, в сущности, последующие события были как бы предопределены ее состоянием. Случайность, скажут некоторые. Но случай лишь отображает нашу сущность.

Да подивится простак могучему напору долго

сковывавшейся воли, где уже обозначились из-за почти бессознательной потребности притворяться черты жестокости, — непостижимому возмездию слабого, неизменному замешательству сильного, постоянно настороженной ловушке! Гордящийся своим умением наблюдать неотрывно следит причудливо-внезапные изгибы страсти, более могучей и неуловимой, чем молния, но в стремлении постичь ближнего видит в зерцале сознания своего лишь собственное, жалко кривящееся отображение. Наипростейшие движения души возникают и усиливаются в непроницаемом мраке, соединяются или отталкиваются, повинуясь законам сокровенного родства или чужеродности, подобно заряженным электричеством тучам, но на границе тьмы мигают лишь беглые отблески недосягаемой грозы. Оттого-то наилучшие психологические гипотезы, хотя и дают возможность восстановить прошлое, не годятся для предсказаний. Как и многие другие, они лишь прячут от нас тайну, одна мысль о которой тягостна разуму человеческому.

Ветер налетел еще раз и упал. Лавровые кусты, тремя поясами охватывавшие старую усадьбу, давно уже утихли, но в глубине парка могучие чернолистые дерева и двадцатиметровые сосны

еще трепетали вершинами, по-медвежьи урча. Стоявшая на краю орехового стола лампа горела теперь ярче, теплым, домашним светом, однообразно потрескивая. В столь близком соседстве с ночью, непроглядно темной за окном, теплый душноватый воздух оставлял во рту сладкий привкус.

— Можешь беситься, Мушетта, сколько угодно. Ты не выведешь меня из себя, — спокойно проговорил маркиз. — Честное слово, я рад, что ты пришла.

Он старательно примял нагоревший в трубке пепел и продолжал наполовину важно, наполовину шутливо:

— Можно отказаться от пятисот луидоров, моя милая, но нельзя плевать в руку бедняка, предлагающего тебе то, что наскреб на дне своего кошелька. Надеюсь, ты поняла меня? Я не стыжусь моей бедности, малютка…

При последних словах Жермена покраснела.

— И я не стыжусь, — возразила она. — Разве я хотя бы раз чего-нибудь просила?

— Нет, конечно, нет. Но Малорти, твой отец…

Он сказал это без особого умысла и осекся, увидев, как задрожали ее губы, напряглась от детских рыданий изящная шейка.

— Малорти, Малорти! Что Малорти? Мне-то что до него? Это невыносимо, наконец! Неправда, я не выдавала тебя! Это ложь! О, когда вчера вечером… он посмел… сказать… при мне… Я словно обезумела! Да я назло ему проткнула бы себе горло ножницами, убила бы себя у него на глазах, прямо за столом! Нет, вы меня не знаете! Ни он, ни ты! Попомните мое слово, я еще такого наделаю!

Она напрягала слабый голосок, пристукивая кулачком по столу, немного смешная в своем гневе. В ней чувствовалась некоторая преувеличенность, с помощью которой даже самые искренние женщины подхлестывают себя, чтобы набраться духа для решающего шага.

Кадиньян в молчании слушал ее и впервые ею любовался. Нечто другое, чем плотское желание, своего рода отцовская нежность, никогда доселе им не испытанная, влекла его к поднявшей мятеж девочке, к женщине-товарищу, более сильной и гордой, чем он сам… Чем черт не шутит! Быть может, когда-нибудь?.. Он внимательно взглянул ей в лицо и улыбнулся. Но в его улыбке ей померещилась насмешка.

— Напрасно я горячусь, — холодно сказала она, прервав свою речь. Только все так и было бы, как

говорю. Да я умерла бы в их кирпичном доме и кукольном садике!.. Но вас, Кадиньян (она бросила ему в лицо его имя, как вызов), вас я считала другим человеком!

Последние слова она выговорила с заметным усилием, боясь, что голос изменит ей. Какой бы дерзкой и уверенной ей ни хотелось казаться, она уже не видела иного выхода, кроме готовой захлопнуться ловушки отчего дома, неотвратимой мышеловки, откуда она ускользнула два часа назад в безумном порыве надежды. Она думала: "Он разочаровал меня", но, по совести говоря, не могла бы объяснить, чем и почему. Любовники еще стояли лицом к лицу, но уже не узнавали друг друга. В своем простодушии стареющий маркиз полагал, что поступает великодушно, предлагая в награду за пасторальные услады последние свои деньги, внушавшие юной дикарке еще большее отвращение, чем нищета и бесчестие... Чего же искала она, бежав сюда в первую же ночь своей свободы, чего нужно было ей от этого здоровяка, у которого уже выросло брюшко и который своей сугубо животной силой и своего рода тяжеловесным достоинством был обязан исключительно своим предкам, крестьянам и военным? Она бежала из неволи, и в этом было все. Она трепетала

от ощущения свободы. Она стремилась к нему, как стремятся к пороку, к осуществлению долго лелеемой и обманчивой мечты — сделать наконец решающий шаг и действительно погубить себя. Словно ужасная издевка, ей вспомнились вдруг прочитанные книги, греховные помыслы, картины, рисовавшиеся ее воображению, когда под ровное гудение печи она подолгу сиживала с закрытыми глазами, сложивши руки на праздно лежащем рукоделье. Скандал, о котором она мечтала, от которого кругом пошли бы головы, неприметно сократился до размеров шальной затеи, родившейся в голове сумасбродки-школьницы. Возвращение под родительский кров, тайные роды, долгие месяцы одиночества и восстановление чести в объятиях какого-нибудь глупца… а потом длинная череда лет в толпе жалких болванчиков. Все это вспыхнуло перед ней мгновенным светом, и она застонала. Увы! Подобно тому как дитя, пустившееся утром открывать мир, обходит огород и вновь оказывается у колодца, похоронив свою первую мечту, она сделала лишь куцый шажок в сторону от торной дороги. "Ничего не изменилось, — шептали ее губы, — все осталось как прежде". Но, очевидности вопреки, внутренний голос, несравненно более внятный

и твердый, внушал ей, что прошлое сгинуло, что открылся широкий простор, что ей суждено нечто упоительно неожиданное, что час пробил и возврата нет. В сумятице отчаяния зрела, словно некое предчувствие, великая бессловесная радость. Найдется где-нибудь для нее прибежище, здесь ли, в другом ли месте — какая разница! Что приют человеку, переступившему наконец порог родительского дома и с легким сердцем затворившему за собой дверь! Развратник-маркиз страшится молвы, которою она притворно пренебрегала? Пусть! Это отнюдь не поколебало ее уверенности в своих силах, ибо она мерила их теперь слабостью ближнего. Отныне в глубине ее бесстрашных глаз читался уготованный ей и уже близкий рок.

Оба хранили молчание. В середине высокого незавешеного окна глянул вдруг месяц, недвижный, нагой, полный жизни и такой близкий, что мерещился шорох его бледного сияния.

И тогда с уст Кадиньяна — случаются такие забавные совпадения — слетели слова, несколько часов назад произнесенные Малорти:

— Так что ты предлагаешь, Мушетта?

Она взглянула на него, молча вопрошая взглядом.

— Говори, не бойся, — поощрил он.

— Увези меня.

Она измерила, взвесила его взглядом, определила точную ему цену, совершенно так, как делает хозяйка, покупающая курицу, и промолвила:

— В Париж… Все равно куда!

— Давай пока не будем говорить об этом, ладно? Я не скажу ни да, ни нет… Вот когда ты родишь и у тебя будет ребенок…

Он еще не кончил говорить, а она уже приподнялась с места, приоткрыв рот, столь искусно разыграв изумление, что не оставалось ни малейших сомнений в ее искренности:

— Роды?.. Ребенок?..

Она расхохоталась, прижав ладони к горлу и откинув голову, упиваясь своей звонкоголосой дерзостью, наполняя старинную залу единым чистым звуком, похожим на боевой клич.

Лицо Кадиньяна залилось краской. Задыхаясь от смеха, она едва выговорила:

— Мой отец посмеялся над вами… И вы ему поверили?

Ложь была столь смела, что нельзя было не верить. Вымысел не нуждается в доказательствах. Маркиз не сомневался в том, что она говорит правду; к тому же его душил гнев.

— Замолчи! — завопил он, грохнув кулаком по столу.

Но она все еще смеялась, размеренно и осторожно, следя за ним из-под полусомкнутых ресниц и подобрав ножки под стул, готовая вскочить в любое мгновение.

— Проклятье! Трижды проклятье! — ярился простак, пытаясь стряхнуть незримую бандерилью.

На краткий миг он поймал взгляд своей любовницы и заподозрил все же некий подвох.

— Посмотрим, кто говорит правду, — насупившись, заключил он. — Если ее остолоп отец решил сыграть со мной шутку, я проучу его! А теперь хватит об этом!

Но она хотела лишь видеть его лицо, улавливать малейшее движение на нем, наслаждаться его смущением. Лицо ее сильно побледнело — она почувствовала себя хитрой и опасной, не уступающей в силе мужчине.

Кадиньян беспокойно подергал усы: "Вот так задача... Кто же меня водит за нос?" Да и то сказать, никогда прежде ему не лгали так естественно, непринужденно, без малейшего колебания, как поднимают руку, чтобы отразить удар, как вскрикивают от боли.

— Ну, да все равно, беременна ты или нет, а я от своего слова не отказываюсь, — проговорил он наконец. — Вот только продам мою хибару и приищу для нас двоих какой-нибудь уголок, какую-нибудь охотничью избушку, чтобы и лес был рядом и река, и заживем там в свое удовольствие. А там, чем черт не шутит, глядишь — и поженимся…

Он начинал умиляться. Она спокойно предложила: — Идем завтра?

— До чего же ты глупа! — вскричал он с неподдельным возмущением. — Что за вздор ты мелешь! Это тебе не воскресная поездка в город… Не забывай, Мушетта, ты несовершеннолетняя, а с законом шутки плохи.

Маркиз говорил на три четверти искренне, но в жилах его текла кровь предков-крестьян, и он из осторожности не открывался до конца, ожидая радостного восклицания, объятий, слез — словом, трогательной сцены, которая вывела бы его из затруднения. Но коварная девушка не говорила ни слова, внемля ему в насмешливом молчании.

— Так я и буду сидеть и ждать, когда вы найдете свою избушку!.. В мои-то лета! Очень мне нужны ваш лес и ваша река! Вы что же, думаете, раз я никому больше не нужна, то соглашусь прозябать в

какой-то дыре?

— Гляди, как бы все это не кончилось плохо, — презрительно бросил маркиз.

— А мне безразлично, чем это кончится, — ответствовала она, хлопнув в ладони. — Кстати, я кое-что надумала…

Кадиньян лишь пожал плечами, и тогда она, задетая за живое, поспешила продолжить:

— Есть у меня на примете любовник — лучше не сыскать…

— Любопытно было бы узнать!

— Уж с ним-то мне ни в чем отказа не будет… К тому же он богат…

— И молод?

— Да помоложе вас! Во всяком случае, достаточно молод, если белеет, как полотно, стоит мне коснуться его ногой под столом. Вот так-то!

— Скажите на милость!

— Человек образованный, даже ученый…

— Уж не депутат ли?

— Он самый! — живо подтвердила она. Щеки ее ярко рдели, а взор был тревожен.

Она ждала вспышки ярости, но он ответил спокойно, потряхивая трубкой:

— Поздравляю тебя! Великолепная находка: отец двух детей, женатый на долгоногой кикимо-

ре, которая глаз с него не спускает…

Однако голос его дрожал… Подшучивание не обмануло наблюдательную девочку, от которой не ускользало даже самое незаметное движение любовника: она мерила оком ширину разделявшего их стола, сердце в ее груди билось сильно, а влажные ладони похолодели, но чувствовала она себя проворной, как лань.

В свое время Кадиньян легко перенес бы утрату одной или двух любовниц. Еще накануне ему казалось более постыдным быть уличенным во лжи каким-то жалким человечишком, чем бояться потерять белокурую Мушетту. К тому же он был убежден, что она выдала его, осуждал ее в своем простодушном себялюбии, почитая слабость сию за преступление, и не простил ей. И все же имя человека, которого он ненавидел более всех, ненавидел тяжелой мужицкой ненавистью, потрясло его до глубины души.

— Нечего сказать, ты хотя из молодых, да ранняя… Что ж, как говорится, яблочко от яблони далеко не упадет. Папаша торгует скверным пивом, а дочка… Дочка торгует тем, что у нее есть!

Она хотела с дерзким вызовом тряхнуть головой, но кожа ее еще не загрубела. Гнусное оскорбление, брошенное ей в лицо, заставило ее

дрогнуть: она зарыдала.

— Ты еще и не такое услышишь, погоди, — преспокойно продолжал маркиз. Любовница Гале! Верно, под носом у папаши?

— В Париже, стоит мне только пожелать,- пролепетала она сквозь слезы. Да! В Париже!

Она опиралась ладонями о стол, и слышно было, как скребли два ноготка. В ее голове шумело от наплыва мыслей, множество, бесконечное множество лживых замыслов жужжало в мозгу, как пчелиный рой. Пестрые, причудливые мысли, уступавшие место другим, едва успев возникнуть, соединялись в бесконечную вереницу, как томительные сонные видения. Напряжение всех чувств рождало в ней ощущение неизъяснимой силы, словно жизнь хлынула вдруг из недр ее существа. На миг ей почудилось даже, будто исчезли самые пределы пространства и времени и что стрелки часов ринулись вперед, как она сама в дерзновенном своем порыве… Жившая всегда под гнетом придуманной для несмышленых детей системы привычек и предрассудков, не ведавшая наказания худшего, нежели суд людской молвы, она видела бескрайний берег волшебной страны, куда ее, потерпевшую крушение, прибивало волнами. Сколь бы долго ни вкушал человек

горькую сладость греховного помышления, она тускнеет перед неистовой радостью мгновения, когда зло мнимое свершается наконец, становясь злом действительным — когда впервые восстал и словно вторично родился. Порок растет в душе медленно и пускает в ней глубокие корни, но вспоенный ядом цветок лишь на единый день распускается во всем своем великолепии.

— Так, значит, в Париже? — переспросил Кадиньян.

Она тотчас поняла, что ему нестерпимо хочется продолжить расспросы, но он не может решиться.

— Да, в Париже. — Щеки ее еще горели, но слезы в глазах высохли. — У меня в Париже чудесная комнатка, совершенно свободная… Все господа депутаты устраиваются так со своими подружками, — добавила Жермена с невозмутимой важностью. — Это всему свету известно… Уж они-то себе хозяева! Да что говорить, между нами дело уже решено… и давно!

Действительно, унылый государственный муж из Кампани, пропитавшийся желчью до мозга костей и обращавший избыток ее, не испытывая, впрочем, от того особого облегчения, против своей суровой половины, снедаемой, как и он,

завистью, не единожды выказывал пивоваровой дочке отеческие чувства, подоплека коих не может не быть понятна сколько-нибудь сообразительной девице. И тем все кончалось... Но хотя из сего предмета немного можно было выжать, Мушетта чувствовала себя в состоянии лгать до рассвета. Она наслаждалась каждой новой своей выдумкой, и горло ее перехватывало, как от любовного блаженства. Она лгала бы в эту ночь, даже если бы ее оскорбляли, били, даже если бы ее жизни грозила опасность. Она лгала бы ради лжи. Собственное исступление вспоминалось ей позднее, как неистовое расточительство по отношению к себе, как сладострастное безумство.

"Почему бы и нет?" — думалось Кадиньяну.

— Нет, вы только поглядите на эту простушку, — сказал он вслух, — она поверила на слово этому олуху, этому отступнику, этому пустомеле, этому шуту гороховому! Девочка, он обойдется с тобой, как со своими избирателями! Депутатская любовница: нечего сказать, важная птаха!

— Смейтесь, смейтесь, — отвечала Мушетта, — от вас и не такое случалось терпеть.

Нос уездного волокиты, обыкновенно красноватый и самодовольный, был теперь бледнее его щек. Кипя от гнева, он расхаживал некото-

рое время взад и вперед, сунув руки в карманы просторной бархатной куртки, потом двинулся в сторону своей любовницы, бдительно следившей за ним. Из предосторожности она тотчас отступила влево и стала так, чтобы стол отделял ее от опасного противника. Между тем он, не поднимая глаз, пошел прямо к двери, замкнул ее и положил ключ в карман.

Затем он вновь уселся в кресло и сухо промолвил:

— Хватит дразнить меня, детка. Так и быть, ты останешься у меня до завтра просто потому, что мне так хочется... На мой страх и риск. А теперь будь умницей и отвечай мне откровенно, если можешь. Ведь ты говорила это все просто так, шутки ради?

Лицо девушки тоже было бело, как воротничок ее платья.

— Нет! — бросила она сквозь стиснутые зубы.

— Полно, неужели ты думаешь, что я поверю тебе? — продолжал он.

— Он мой любовник!

Она вновь исторгла из груди свою ложь, словно выплюнув терпкую жгучую влагу. И когда утих отзвук ее голоса, сердце Мушетты зашлось, словно на качелях, когда доска начинает прова-

ливаться под ногами. Она сама почти уверовала в то, что утверждала, и, выкрикнув слово "любовник", скрестила руки на груди движением невинным и в то же время развратным, как если бы при звуке этих трех колдовских слогов одежды спали и явили наготу ее.

— Дьявольщина! — взревел Кадиньян.

Он вскочил на ноги так проворно, что бедняжка, всполошившись, кинулась с перепугу едва ли не в объятия маркиза. Они столкнулись в углу залы и мгновение молча стояли лицом к лицу.

Она метнулась было прочь, вскочила на стул — он начал валиться набок, перемахнула со стула на стол, но высокие каблучки ее туфель заскользили на вощеном ореховом дереве; она выставила ладони, но руки маркиза сгребли ее и рванули назад. Толчок был так силен, что в глазах у нее потемнело. Толстяк поволок ее, как взятую с бою добычу, и с маху кинул на кожаный диван. Еще минуту она видела лишь глаза — сначала они горели свирепой яростью, но мало-помалу в них появилась тревога, а потом стыд.

Она вновь была свободна. Лампа ярко освещала ее: волосы растрепаны, из-под задравшегося платья выглядывал черный чулок, глаза тщетно искали ненавистного повелителя. Ослепленная

невыразимым гневом, страдая от унижения более, чем страдала бы от раны, терпя боль телесную, жгучую, непереносимую, она едва различала черный провал и отсвет огня на стене... Когда наконец она увидела его, кровь сразу отхлынула в сердце.

— Что ты, что ты, Мушетта! — встревоженно приговаривал мужчина. Непрестанно повторяя эти слова, он мелкими шажками подходил к ней, чтобы вновь завладеть ею, но стараясь на сей раз не делать резких движений, как если бы ловил пугливую птаху. Она увернулась от него.

— Перестань же дурить, Мушетта! — твердил он срывающимся голосом.

Она следила за ним издали, кривя красивый рот злобной ухмылкой. "Не в себе она, что ли?" — мелькнуло в голове у Кадиньяна. Поддавшись приступу бешенства, внезапно пробуждающего похоть, он чувствовал не столько раскаяние, сколько смущение, ибо всегда обходился со своими любовницами с бессердечием партнера, честно играющего свою роль в жестокой игре. Мушетта была неузнаваема.

— Скажи наконец хоть слово! — крикнул он, выведенный из себя ее молчанием.

Она медленно пятилась от него, потом броси-

лась к двери. Он пытался преградить ей путь, перетащив кресло в узкий проход, но она проворно отпрянула, так пронзительно вскрикнув от ужаса, что он замер на месте, тяжело переводя дух. Когда же в следующее мгновение он повернулся, чтобы кинуться ей вдогонку, то, словно при ослепительной вспышке, увидел ее в противоположном конце залы: встав на носки своих маленьких ножек, она тянулась руками, стараясь достать нечто, висевшее на стене.

— Эй, сумасшедшая, прочь руки!

Очевидно, он успел бы двумя прыжками настигнуть ее и вырвать оружие, но ложный стыд удерживал его. Он приближался неторопливыми шагами человека, которого не так-то просто остановить. В ее руках он увидел свой винчестер превосходное ружье с клеймом Ансона.

— Я тебе задам! — повторял он, подходя все ближе, тем особым голосом, каким говорят со злой собакой, чтобы припугнуть ее.

Обеспамятевшая Мушетта отвечала ему лишь стоном, где смешались ужас и бешенство, поднимая в то же время оружие на вытянутых руках.

— Сумасшедшая! Он заряжен! — хотел крикнуть он, но грянувший выстрел словно раздавил последнее слово на его губах. Заряд угодил под

самый подбородок и развоpотил ему челюсть. Выстрел был сделан со столь малого расстояния, что намасленный пыж пробил маркизу шею насквозь и застрял в галстуке сзади.

Мушетта растворила окно и исчезла.

IV

Кончив письмо, доктор Гале, проворно водя пером, писал на конверте адрес своим мелким почерком, когда за его спиной возник садовник Тимолеон и сказал:

— Мадемуазель Жермена велела вам передать…

В то же мгновение на пороге появилась дочь Малорти. Она была затянута в узкое черное пальто, держала в руке зонтик и вошла так быстро, что не успел еще стихнуть звук утопленных ее шагов на каменных плитах садовой дорожки.

Она рассмеялась в лицо Тимолеону. Тот осклабился в ответ. В полураствореное окно лился вечерний запах, извечный запах тайного сговора. Почти тотчас погас рядом с креслом рыжеватый свет лампы.

— Чем могу служить, мадемуазель Жермена? — осведомился доктор Гале.

Он торопливо запечатывал письмо.

— Папа собирался лично известить вас, что ближайшее заседание Совета переносится на девятое число текущего месяца, а я как раз шла мимо… говорила она с неизменным своим спо-

койствием, так странно нажимая на слова "Совет" и "переносится на девятое число текущего месяца", что Тимолеон вновь рассмеялся, сам толком не зная почему.

— Ну, ступай, ступай! — резко оборвал его Гале, протягивая конверт.

Он провожал садовника глазами, пока дверь захлопнулась за ним.

— Что все это значит? — спросил он.

— Хочешь, чтобы сразу сказала? — возразила она, кладя зонтик поперек кресла. — Я забеременела, только и всего!

— Замолчи, Мушетта, — прошипел он сдавленным голосом, — или говори тише!

— Я запрещаю тебе называть меня Мушеттой, — сухо проговорила она. — Как угодно, только не Мушеттой!

Она скинула пальто на стул и встала перед врачом.

— Сам должен понимать, — продолжала она, — разве сразу разберешься?

— Это... это давно случилось?

— Да уже месяца три (она преспокойно расстегивала юбку, зажав в зубах булавку).

— И ты мне... ты только теперь признаешься...

— Признаешься! — Она рассмеялась сквозь

сжатые зубы, не выпуская изо рта булавки. — Хорошенькое слово!

Губы ее были сомкнуты, а в глазах играло детское веселье.

— Но послушай, нельзя же раздеваться здесь! — увещевал ее Гале, с трудом сохраняя хладнокровие. — Шла бы в кабинет!

— Какая разница? — удивилась Жермена. — Запри дверь, и дело с концом. Холодно у тебя в кабинете.

Он пренебрежительно пожал плечами, а сам искоса глядел на нее, чувствуя, что в горле у него пересохло. Согнув одну ногу, она поставила другую на подлокотник кресла и невозмутимо расшнуровывала ботинок.

— Воспользуюсь случаем, — заметила она. — Они ужасно мне жмут, а я за целый день не присела. Дай мне замшевые туфельки, помнишь, я оставила их у тебя в среду? Ну да, на полке туалета, за ящиком. И знаешь что? Сегодня я заночую у тебя. Я сказала папе, что поеду в Коленкур, к тетке Мальвине. Если не ошибаюсь, твоя жена вернется завтра?

Он внимал ей в совершенном изумлении, не замечая в необыкновенно подвижном личике некоей застылости, судорожной напряженности,

выражения усталости и неотвязной заботы, отчего даже улыбка выходила у нее кривой.

— Своей неосторожностью ты в конце концов погубишь все, — жалобно проговорил врач. — Сначала мы виделись только в Булони или Сен-Поле, а теперь ты уже и сама не знаешь, что бы такое придумать… Ты видела Тимолеона? Ради меня…

— Кто боится проиграть, тот не выигрывает, — строго возразила она. Поди же принеси мои туфли, да не забудь дверь за собой притворить.

Она проводила взглядом своего странного любовника, бесшумно ступавшего в войлочных шлепанцах, обтянутого узким жакетиком с дурацкими сборочками на поясе, тесным воротничком и до блеска затертыми локтями. О чем она думала? А может быть, вовсе ни о чем не думала? Ее уже перестали удивлять смешные и отталкивающие черты этого желтозубого святоши. Мало того, она любила его. Любила настолько, насколько вообще способна была любить. С тех пор, как однажды ночью юная Малорти, мадемуазель Малорти совершила непоправимое, застрелив безобидного маркиза и заодно разрушив свой собственный ложный облик, она беспомощно барахталась под обломками рухнувшей надеж-

ды. Если бы она бежала, скрылась, то неминуемо навлекла бы подозрение на себя. Ей пришлось вернуться под родительский кров, вымаливать, скрыв гордыню под упрямым лбом, отеческого прощения и, замкнувшись более, чем когда бы то ни было прежде, в смирении и молчании, ловя на себе нестерпимо жалостные взгляды, нить за нитью ткать вокруг себя паутину лжи. "Завтра все забудется, — думала она, снедаемая нетерпением, — я снова стану свободна". Но завтра так и не наступило. Мало-помалу порванные некогда узы все туже стягивались вокруг нее, и — горькая насмешка судьбы — клетка стала спасительным прибежищем: она могла свободно дышать лишь за тюремной решеткой, внушавшей ей прежде такую ненависть. Под личиной притворства гибла незаметно ее истинная сущность, а мечты, некогда окрылявшие ее, рушились одна за другою, подточенные незримым червем — скукою. Захолустный городишко, которому она бросила дерзкий вызов, вновь засосал ее и начал переваривать.

Не было еще падения столь скорого и бесповоротного. Непрестанно воскрешая в памяти мельчайшие подробности случившегося в ту роковую ночь, Мушетта не находила решительно

ничего, что убедило бы ее в том, что она имеет право вспоминать о ней как о нечеловеческом напряжении всех сил, приведшем к неожиданному исходу, как о сгинувшем сокровище. Она не знала уже, как называется то, к чему порывалась, что не далось ей в руки сразу и исчезло навсегда. Да и называла ли она это каким-то словом? Нет, валявшееся на полу тело грузного мужчины не имело к этому ни малейшего отношения. Так чего же она жаждала?

Сколько женщин пресмыкается и умирает под липами, женщин, чья жизнь длилась всего час или столетие! Она вспыхивала перед ними на миг, распахивалась во всю ширь, вольный ветер хлестал им в лицо… но вдруг сжималась и падала камнем.

Но они-то не совершали преступления, разве грезили о нем. У них нет тайны, они могут говорить: "Боже, как я была сумасбродна!", проводя рукою по седым, гладко причесанным волосам, выглядывающим из-под чепца с рюшами. Они так никогда и не узнают, что грозовым вечером далекого прошлого могли бы играючи убить человека.

После совершенного Жерменой преступления любовь Гале стала для нее новой тайной,

новым безмолвным вызовом. Побывав сначала в объятиях бессердечного мужлана, она ухватилась теперь за это убожество. Но уже вскоре взбунтовавшееся дитя, вооруженное отточенной хитростью, вскрыло его сердце, как вскрывают гнойник. Бесспорно черпая наслаждение во зле и затевая в то же время опасную игру, она превратила нелепого болванчика в ядовитую гадину, ей одной ведомую, ею выпестованную, подобную жутким чудовищам из снов порочных подростков, которая стала наконец дорога самой Жермене как образ и воплощение ее собственного падения. Но она уже устала от игры.

— Вот, возьми, — сказал он, бросая на коврик домашние туфли.

Молчание поразило его. По своему обыкновению искоса взглянувши в ту сторону, он увидел в сумраке маленькую фигурку: Жермена полулежала в кресле, поджав под себя ноги и склонив голову набок; угол рта едва заметно приподнялся, лицо покрывала бледность.

— Мушетта! — окликнул он ее. — Мушетта!

Проворно подошед к креслу, он стал гладить концами пальцев смеженные веки. Они медленно раздвинулись, но взгляд еще ничего не выражал. Она повернула голову и застонала:

— Не знаю, что со мной было… Мне холодно…

Тут только он заметил, что, не считая легкого шерстяного халатика, на ней ничего не было надето.

— Что с тобой? Ты спишь? Как ты себя чувствуешь? Он стоял перед ней, нагнув голову, не переставая смеяться желчным своим смешком.

— Кризис кончился (он взял ее руку). Пульс, как всегда, несколько учащенный. Ничего страшного. Ты ведешь нездоровый образ жизни… Это может кончиться… кончиться… У тебя кашель? Вот это мне не нравится!

Гале присел рядом с ней и быстрым движением распахнул наполовину раздвинувшийся ворот халата.

Дивное плечо со звериным изяществом в плавной его покатости вздрогнуло, обнажившись на мгновение. Жермена быстрым, но осторожным движением отвела его руку.

— Когда тебе будет угодно, — проговорил Гале. — Согласись, однако же, что без предварительного исследования твоих дыхательных путей мне невозможно сказать ничего определенного. Это твое слабое место, а ты безобразно относишься к своему здоровью.

Он еще что-то говорил и вдруг заметил, что

она плачет. Личико ее хранило неизменное спокойствие, губы по-прежнему изогнуты, как напряженный лук, взор широко открытых глаз неподвижно уставлен в пространство, — она плакала без единого вздоха.

Некоторое время он стоял в совершенном изумлении. На миг в нем шевельнулось любопытство, свойственное душам несравненно более возвышенным, желание постичь непостижимое в существе, находящемся совсем рядом, ужас перед непостижимым. Он хотел что-то сказать, но покраснел, отвел глаза и промолчал.

— Ты любишь меня? — неожиданно спросила она жалобным голосом, который звучал в то же время до странности строго и твердо. — Я спрашиваю тебя об этом, потому что мне пришла в голову одна мысль, — поспешила добавить она.

— Что за мысль?

— Любишь ли меня? — повторила она вопрос тем же голосом.

С этими словами она поднялась с места, дрожащая, нелепо нагая под распахнутым халатом, нагая и маленькая, и в глазах ее было все то же жалкое выражение.

— …Отвечай! Отвечай же!

— Но послушай, Жермена…

— Нет, только не это! — перебила она его. — Только не это! Скажи только: я люблю тебя! Да… так и скажи!

Она откинула голову, закрыла глаза. Дыхание с легким свистом, явственно слышным в тишине, вырывалось сквозь крепкие белые зубы, блестевшие за раздвинувшимися губами.

— Так что же? Не скажешь? Не можешь?

Она скользнула к его ногам и мгновение раздумывала, опершись подбородком о сплетенные руки. Потом вновь возвела к нему полный коварства взор.

— Да… да… понимаю, — промолвила она, покачивая головою. — Я знаю, ты ненавидишь меня… Правда, не так сильно, как я тебя, — добавила она важно.

И тотчас продолжала:

— Только, видишь ли… ты и не знаешь вовсе, что это такое.

— Что "это"?

— Ненавидеть и презирать.

И она разразилась потоком слов, что случалось всякий раз, когда случайно оброненное слово пробуждало в ней древнее, как мир, желание — жажду выразить не радость или страдание темной своей души, но самое душу. И в трепете

хрупкого тела, уже тронутого порчей под блистательным саваном плоти, в бессознательной мерности движений то сжимающихся, то разжимающихся рук, в сдержанной силе неутомимых плеч и бедер являлось некое звериное великолепие:

— Как, неужели ты никогда не чувствовал?.. Как бы это сказать? Это возникает, как мысль… как головокружение… Хочется катиться вниз, падать на дно… на самое дно… Так глубоко, что дурачью и не добраться до тебя со своим презрением… Но и там, дружок, ты всем недоволен… Тебе не хватает чего-то еще… О, как в прежние времена я боялась… Слова… Взгляда… Какого-нибудь пустяка… Да возьми хотя бы старую Санье!.. (Знаешь ты ее! Та, что живет рядом с господином Ражо!) Какую боль она причинила мне однажды! Я шла по мосту Планк, и она торопливо отстранила от меня свою племянницу Лору… "Да что же я, зачумленная?" — подумалось мне тогда. Но теперь!.. Теперь я смеюсь над ее презрением! Разве кровь течет в жилах этих женщин, если они теряются от одного взгляда? Если одним взглядом можно отравить им все удовольствие? Если они воображают себя непорочными голубицами даже в объятиях своих любовников?.. Стыдно? Да,

если хочешь, стыдно! Но скажи мне откровенно, не к постыдному ли стремились мы с самого начала? К тому, что притягивает и отталкивает? Чего страшатся и от чего не спешат бежать? От чего всякий раз сжимается сердце, без чего не можем жить, как без воздуха, что стало нашей естественной средой — к постыдному! Конечно же, должно стремиться к наслаждению ради наслаждения… Ради него одного! Какая разница, кто твой любовник? Не все ли едино, где и когда?.. Иной раз, иной раз, ночью… когда совсем близко храпит во сне толстый мужчина… Одна… одна среди ночи в моем покое… я встаю с постели… я, которую все осуждают… (за что, хотела бы я знать?) я прислушиваюсь… я чувствую себя такой сильной — я, такая маленькая, с моим жалким впалым животиком и грудями, помещающимися в ладони. Я подхожу к растворенному окну, будто меня позвали с улицы… Я жду… Я готова… Нет, не одинокий голос, но сотни, тысячи голосов! Не знаю, мужские ли то голоса… В сущности, вы, мужчины, настоящие дети, чертовски испорченные, правда, но все равно дети! Клянусь тебе, мне чудится, будто тот, кто зовет меня, — уж и не знаю откуда, не все ли едино? — чей зов слышится среди ропота голосов, звучащих отовсюду, что некто

наслаждается мною и ликует во мне… Человек или зверь… Неужели я схожу с ума?.. Да, я совсем сошла с ума!.. Человек или зверь сжимает меня… сжимает крепко… мой отвратительный любовник! Она хохотала во все горло, но смех ее вдруг оборвался, глаза, вперившиеся в зрачки мужчины, погасли какое-то время она еще стояла перед Гале, словно мертвец, неведомым чудом держащийся на ногах, потом колени ее подогнулись.

— Мушетта, — обеспокоенно сказал сельский эскулап, поднявшись со своего места, — говорю тебе со всей решительностью, что твоя болезненная возбудимость пугает меня. Советую тебе не волноваться.

Он мог бы долго еще продолжать в том же духе, ибо Мушетта не слышала его. С неуловимой быстротой она повалилась ничком на диван, и когда он обхватил ладонями ее голову и повернул набок, то увидел бескровное, словно из белого камня высеченное лицо.

— Проклятье! — выругался он.

Он пытался разжать ей челюсти, скрежеща о стиснутые зубы костяной лопаткой, но усилия его были тщетны. Из вздернувшейся верхней губы потекла кровь.

Он подошел к аптечке, отворил ее дверцу,

пошарил среди склянок, достал одну из них и понюхал, напрягая в то же время слух с выражением тревоги в глазах — ему было не по себе от того, что она лежала там и молчала; сам себе не признаваясь в том, он ждал крика, вздоха, какого-нибудь движения, отразившегося в стеклах дверцы — чего-нибудь, что нарушило бы чары… Не выдержав, он обернулся.

Смирно сидя на ковре и высоко держа голову, Мушетта с печальной улыбкой глядела на него. В ее улыбке он прочел лишь непостижимое сострадание к нему существа, вознесенного на высоту недосягаемую, сострадание божественно упоительное. Свет лампы ярко озарял одно ее белое чело, в то время как низ лица оставался совершенно в тени, и улыбка, более угадываемая, нежели зримая, казалась удивительно застылой и потаенной. Сначала ему даже показалось, что она спит. И вдруг раздался ее спокойный голос:

— Ну что ты стал с этой склянкой? Поставь ее! Прошу тебя, поставь! Послушай, что такое было со мной? Я заболела? Мне стало дурно? Нет? Правда, нет?.. Не хватало еще, чтобы я умерла прямо здесь, у тебя в доме!.. Не касайся меня! Только не касайся!

Он неловко присел на краешке стула, все еще

крепко сжимая в широких ладонях пузырек с лекарством. Но лицо его уже принимало обычное выражение скрытного, порою жестокого упорства. Он пожал плечами.

— Можешь издеваться, сколько тебе угодно, — продолжала она тем же невозмутимым голосом, — но я ничего не могу с собой поделать. Когда меня подхватывает и уносит… далеко-далеко… я ужасно боюсь, что ко мне притронутся… Мне кажется тогда, что я стеклянная… Да, именно так… Большой пустой кубок…

— Гиперэстезия — обычное явление после нервных потрясений.

— Гипер… что? Какое странное слово! Так тебе это знакомо? Тебе случалось лечить таких женщин, как я?

— Сотнями, — с гордостью отвечал он, — сотнями!.. В Монтрейском лицее бывали случаи куда более тяжелые. Подобные приступы нередки у девушек, живущих сообществом. Проницательные наблюдатели утверждают даже, что…

— Так ты полагаешь, что тебе хорошо знакомы женщины моего склада?

Она умолкла и вдруг выкрикнула:

— Так нет же! Ты лжешь! Ты солгал!

Она подалась к нему, взяла его за обе руки, тихо

склонилась к ним щекой… Вдруг она впилась зубами ему в запястье, и острая боль проникла в самое его сердце. В то же мгновение гибкий звереныш покатился вместе с Гале на кожаные подушки. Он видел над своей запрокинутой головой лишь огромные глаза, где росло поднимавшееся в нем блаженство… Она встала прежде него.

— Вставай же, — смеялась она, — вставай! Если бы только ты мог видеть теперь себя! Дышишь, как кот, глаза блуждают… Такие женщины, как я? Как бы не так, дружочек мой! Нет ни одной, нет другой такой женщины, какая могла бы сделать из тебя любовника…

Она ласкала взором взлелеянный ею порок. В самом деле, на протяжении долгих недель угревая в своих объятиях кампаньского законодателя, она воскресила его к новой жизни. "Наш депутат входит в тело", — поговаривали добрые люди. В прежнее время необыкновенно постное выражение лица господина Гале умиротворило бы самую сварливую супругу, кроме его собственной благоверной — теперь у него стало округляться брюшко. Сладострастие, пиршество плоти отнюдь не утолили его вожделений, но он начал обрастать свежим жирком: вынуж-

денный держать в тайне свои утехи скупца, он насыщался ими, не тратя ни крохи на праздные речи, переваривая их без остатка. Его повседневная, постоянная скрытность поражала даже его любовницу. Сама, вероятно, не сознавая вполне, сколь велика ее власть над ним, она видела верное отображение этой власти в глубоко вкоренившейся, упорной, мелочно-изощренной лжи. Несчастный упивался ею; иной раз малодушный депутат отваживался даже приблизиться к ней вплоть, коснуться ее — в ней вкушал он сладкую горечь отмщения: многолетнее унижение супружества лопнуло в ней, как пузырь в жидкой грязи. Мысли о беспощадной супруге, прежде рождавшие в нем ненависть и страх, стали для него одним из источников радости. Бедная женщина неустанно сновала по дому, то спускаясь в погреб, то взбираясь на чердак, зеленая от глубоко въевшейся подозрительности. Казалось, она была еще хозяйкой в сих ненавистных стенах ("Или я уже не хозяйка в своем доме?" — эти полные вызова слова то и дело слетали с ее уст). Но нет, она уже не была хозяйкою! Воздух, которым она дышала, и тот он украл у нее: она дышала их воздухом.

— Я люблю тебя, — промолвил врач, — до тебя и понятия ни о чем не имел.

— Мне-то какая забота? (Она вновь засмеялась смехом, с каждым днем увы! — звучавшим все напряженнее и жестче.) У меня, скажу тебе, никогда к этому особой охоты не было! Так, самую малость… Знаю, прекрасно знаю, о чем ты подумал (он внимал ей с видом укоризненным и насмешливым, притворяясь, будто все это не очень его трогает). Ну не глуп ли ты! Принимать меня за распутницу! Какой вздор!..

Но смех никого не мог обмануть; в голосе ее, звучавшем теперь немного громче, слышалось самодовольство польщенной самки. Взгляд ее вновь уходил вглубь, ускользал. Человеческого в нем осталось лишь едва различимое выражение тщеславия, упрямства и глуповатого простодушия — дани ее полу.

— Однако… — возразил было он.

Она зажала ему рот, и он ощутил на губах прикосновение ее пальцев.

— Если бы ты знал, как приятно быть красивой! Мужчина, чувствующий влечение к женщине, всегда прекрасен. Но тысячу крат прекраснее мужчина, жаждущий ее каждый день, как хлеба и воды… У тебя, дружок, глаза такого мужчины.

Она откинула его голову и погрузила взгляд под самые его вялые веки. Никогда еще горящее в

ней пламя, неизменное, неистовое и бесплодное, не пылало столь ярко. На краткий миг законодатель из Кампани ощутил себя другим человеком. Пугающая воля любовницы стала точно зримой и ощутимой, и он с каким-то стоном простер к Жермене руки.

— Му… Мушетта, — взмолился он, — маленькая моя Мушетта!

Она не противилась охватившим ее рукам, но глядела как в те дни, когда бывала в дурном расположении духа.

— Хорошо… хорошо… ты любишь меня…

— Но послушай, только что…

— Подожди минутку, — перебила она, — пойду оденусь. Совсем продрогла.

Когда голос ее раздался вновь, он увидел, что она в застегнутом халате уже свернулась калачиком в кресле, скромно сдвинув ноги и сложивши руки на коленях.

— И после всего этого ты даже не осмотрел меня?

— Хоть сейчас.

— Нет, нет! — вскричала она. — Чего ради? Отложим до следующего раза. Впрочем, я в этом разберусь лучше любого. Через шесть месяцев я, как говорится, стану матерью. Прелестной

матерью!

Гале разглядывал узор на ковре.

— Новость удивила меня, — произнес он наконец с забавной важностью. — Я как раз собирался поговорить с тобой об этом. Весьма сомнительная беременность. Позволь мне говорить откровенно, у меня есть к тому веские причины… Боюсь только, ты снова рассердишься…

— Не бойся, говори, — успокоила его Жермена.

— В вопросах любви ни у тебя, ни у меня нет ни предрассудков, ни особой щепетильности. Да и как верить в нравственность, которую такие точные науки, как математика и гигиена, отрицают изо дня в день? Институт брака меняется, как и все на свете, и вершиною его явится то, что мы, врачи, называем Свободным Союзом. Так вот, уважая в тебе свободную женщину, вольную распоряжаться собственной судьбою, я воздержусь от каких бы то ни было нескромных намеков и буду говорить о прошлом со всей возможной сдержанностью. Однако у меня есть веские причины считать, что у тебя больший срок беременности. Я убежден, что обследование — с твоего разрешения, разумеется — подтвердит сей априорный диагноз. Мне нужно не более пяти минут.

— Нет! — возразила она. — Я передумала.

— Хорошо. Стало быть, ограничимся пока этим.

Напрасно он ждал гневного восклицания, возмущения, хотя бы тени досады на лице. Вновь наступило долгое молчание, повергшее его в совершенное замешательство. Невозмутимо выслушав его, Жермена раздумывала, напрягая все силы своего духа, а в такие мгновения лицо ее принимало детское выражение.

— Да, хорошо быть ученым человеком, — объявила она наконец. — Ничего-то от вас не утаишь. А все-таки я правду говорила… Впрочем, гляди сам, еще и незаметно ничего… Но, уж во всяком случае, я, надеюсь, могу рассчитывать на то, что ты не оставишь меня без помощи в затруднительном положении.

— О чем это ты?

— Я не рожу ни через три, ни через шесть месяцев, Я вообще не собираюсь рожать.

— Ты меня удивляешь! — бросил он со смехом.

Она снова остро посмотрела на него.

— Ты думаешь, я совсем уже дура? Я-то знаю, как скоро у вас такие дела делаются: раз-два и… фюить! Как будто ничего и не было!..

— То, о чем ты меня просишь, малыш, есть тяжкое правонарушение, караемое по закону. Как и

о других предметах, я имею об этом собственное суждение. Однако человеку моего положения должно считаться с мнениями, если хочешь, с предрассудками, которые можно уважать или нет, но которые, без сомнения, имеют большую власть над умами… Закон есть закон.

Он решил уже, что своей неосторожностью Мушетта выдала себя, что любовница, выдавшая свою тайну, станет сговорчивее.

— Не тебе учить меня моему ремеслу, малютка, — продолжал он снисходительно. — Я никогда не теряю от любви голову настолько, чтобы забыть о необходимой в таких обстоятельствах простейшей предосторожности… Возможно, впрочем, что ты ложно толкуешь малознакомые тебе симптомы. Но если ты действительно беременна, Мушетта, то не от меня.

— Довольно,- со смехом прервала она его. — Я просто возьму и поеду в Булонь. Можно подумать, что я бог весть что прошу у тебя.

— Простая порядочность обязывает меня сказать тебе еще кое-что.

— Что же?

— Я должен предупредить тебя, что хирургическое вмешательство опасно в любом случае, а иногда смертельно… Вот так.

— Вот так! — повторила она.

Жермена поднялась и тихо, почти смиренно ступая, подошла к дверям. Напрасно, однако, вертела она дверную ручку, сначала неуверенно, потом все более порывисто, наконец, в совершенном исступлении. Очевидно, Гале по рассеянности запер дверь на два оборота ключа. Жермена попятилась на несколько шагов, уперлась в письменный стол и стала там, бледная как смерть. Несколько раз подряд она проговорила помертвелыми губами, вопрошая самое себя:

— Это что-то напоминает мне, но что?

Были ли причиною тому удары дождевых капель об оконное стекло? Или внезапно сгустившиеся сумерки? Или что-нибудь более тайное? Гале кинулся к двери, дернул, распахнул настежь. Растворил не столько ради любовницы своей, сколько ради страха своего, опасности — он и сам не знал какой, — которую увидел в лице Жермены, ощутил совсем близко — в слове, готовом сорваться с ее губ и которого ему нельзя было слышать, — ради неведомого признания, которого не удержали бы долго ее уже задрожавшие губы. Порыв его был столь внезапен, столь безумен, что, выбежав в темный коридор и обернувшись к свету, он удивился, оказавшись лицом к лицу с

недвижно стоявшей Жерменой.

Однако, боясь показаться смешным, он нашел в себе силы сказать:

— Я не держу тебя, девочка, коли тебе так уж не терпится уйти. Прошу только извинить меня за то, что давеча запер дверь, — прибавил он с изысканной вежливостью, за что в уме похвалил себя. — Я сделал это неумышленно, просто по забывчивости.

Она слушала его, не поднимая глаз, без улыбки на губах, потом шагнула мимо и, понурившись, побрела прочь той же смиренной походкой.

Столь неожиданная в ней покорность повергла в смятение кампаньского лекаря. Всякий раз, когда он попадал в затруднение, ему, как и всем глупцам, хотелось непременно что-нибудь сказать, но соображал он слишком медленно, и ему была нестерпима мысль, что их ссора завершится столь простой и молчаливой развязкой. За столь непродолжительное время, какое понадобилось мадемуазель Малорти для того, чтобы добраться до выхода, куриный мозг Гале не мог успеть приготовить решающие, в одно и то же время красноречивые и исполненные твердости слова, которыми он, не роняя собственного достоинства, возвратил бы сострадательную Мушетту в

обитое зеленым репсом кресло. Но когда обожаемая ручка коснулась двери, когда черный силуэт Жермены обрисовался уже на самом пороге, все силы его тщедушного тела слились в вопле:

— Жермена!

Он обхватил ее сзади, пропустив свои руки под ее руками, притиснул к себе так, что она согнулась, и, сильным пинком ноги захлопнув дверь, швырнул ее в кресло.

Побледнев до синевы, он тотчас опустился на первый попавшийся стул, словно это усилие поглотило мгновенно все его душевные силы. А она уже ползла к нему на коленях: волосы распущены, руки тянутся к нему, и в словах ее еще больше мольбы, чем в глазах, посветлевших от мучительного страха.

— Не оставляй меня одну, — твердила она. — Не оставляй! Не прогоняй меня сегодня… Мне померещилось… Мне стало так страшно!..

— Кухонную дверь заперли. Тимолеон ушел. Там кто-то есть… пробормотал, отстраняя любовницу, побежденный герой.

Но она обхватила его руками.

— Не гони меня! Я обезумела! Я никогда не боялась. Это впервые со мной случается. Этого больше не будет.

Он вновь отстранил ее, уложил на диван, но она тотчас села. Краска вернулась на ее щеки. Она бездумно повторяла: "...больше не будет... больше не будет...", но голос звучал уже иначе.

Гале отошел от дивана, но почти немедленно вернулся с озабоченным видом.

— Ничего не понимаю, — сказал он. — Дверь прачечной открыта, окно в кухне тоже. Но Тимолеон не возвращался, я видел его сабо на ступенях крыльца...

Он сделал ужасное лицо и повысил голос:

— Из-за тебя я черт знает какие глупости делаю!

Она улыбнулась.

— Это последняя. Я буду умницей.

— Чертов Тимолеон! Не дом, а проходной двор!

— Да чего ты перепугался?

— Мне вдруг показалось, что там моя жена, — простодушно признался великий государственный муж из Кампани.

И тотчас промолвил, полагая, что так оно будет выглядеть достойнее:

— Она иногда возвращается вот так, совершенно неожиданно.

— Оставь свою жену в покое, — отвечала совершенно оправившаяся Мушетта. — Уж мы бы

увидели ее. Я тоже хочу просить у тебя прощения, я отвратительно вела себя, бедный мой котик! Лучше бы ты не удерживал меня. Я все равно вернулась бы. Ты мне нужен, котик… Нет, совсем не потому, о чем ты думаешь! — вскричала она, беря его за руку. — Не станем же мы в самом деле ссориться из-за малыша, который все равно не родится, даю тебе слово! Я не хочу, чтобы здесь поднялся шум. А остального я не боюсь! Мне на все плевать! Ты мне нужен, потому что теперь ты единственный человек, которому я могу говорить правду.

Он пожал плечами.

— Ты думаешь, что все это вздор, — продолжала Жермена (она говорила очень быстро, очаровательная в своем возбуждении). — Сразу видно, милый, какие мы с тобой разные люди! Когда я была маленькой, я часто лгала без всякого удовольствия. Теперь же я ничего не могу с собой поделать. Тебе я представляюсь такой, какой мне хочется казаться. Мною владеет мерзкое желание играть не свою роль, но именно такую, какая вызывает отвращение! Почему мы так не похожи на животных? Они бродят, едят и умирают, не заботясь о том, как все это выглядит. Ты видел, как быки жуют сено у ворот городской бойни, в

двух шагах от станка, где стоит мясник с окровавленными руками и склабится, глядя на них. Да, я завидую им! Больше того, скажу тебе…

— И пошло и поехало, — перебил ее лекарь. — Скажи-ка мне лучше, но только откровенно, что случилось с тобой? Посуди сама, спервоначала ты, как девушка благоразумная вроде, признаешь справедливость моих доводов, потом, похоже, собираешься просить каких-то людей — не желаю знать ни кто они, ни как их зовут — об опасном, сомнительном деле, ответственность за которое я не могу взять на себя, затем уходишь покорно, как побитая собачонка — тише воды, ниже травы, и вдруг… — да, разумеется, странными должны казаться тебе мои речи, только откуда тебе знать? Тут, видишь ли, то, что мы, врачи, называем случаем, весьма любопытным случаем… вдруг из-за того, что запертая дверь не поддалась твоим усилиям, у тебя начинается бред, самый настоящий бред (подражая ей): "Мне померещилось… Мне стало так страшно!" Я едва успел ухватить тебя на лету. У тебя было такое дикое лицо! Куда ты собиралась идти?

— Хочешь знать? Ты же мне все равно не поверишь.

— Все-таки скажи.

— Я хотела покончить с собой, — спокойно промолвила Мушетта.

Он сильно ударил себя ладонями по коленям.

— Ты издеваешься надо мной!

— Или, если хочешь, — продолжала она невозмутимо,- мне представлялся берег пруда в Вору, подле усадьбы, то место, где растут две ивы и где я хотела утопиться. Позади виднелась между деревьями черепичная кровля замка. Ну, что я тебе скажу? Я понимаю, все это глупости… Я совсем тогда обезумела.

— Проклятье! — выругался Гале, подскакивая к двери. — Теперь ходят наверху… Это ее шаги!

Она захохотала было, но он посмотрел на нее такими свирепыми глазами, что она поспешила заглушить взрыв веселости, прижав ко рту платочек.

Ей слышно было, как он, осторожно шаркая шлепанцами, подошел к лестнице, как скрипнули нижние ступени. Потом стало тихо, и он вернулся к ней.

— Это Зеледа, — объявил он, — ее дорожная сумка стоит на полу в коридоре верхнего этажа. Видно, чтобы не тратиться на ночлег в гостинице, она вернулась поездом в двадцать тридцать. Как это я выпустил из виду! Она здесь уже минут де-

сять, а то и двадцать, кто знает?.. Быстро уходи!

От нетерпения он переступал с ноги на ногу, хотя и старался в столь унизительном для себя положении сохранить некоторое достоинство. Однако Мушетта холодно возразила:

— Теперь ты сходишь с ума! Да чего ты боишься, скажи на милость? Меня послал к тебе папа. Не могу же я тайком бежать, как воровка, — глупее этого не придумаешь. Да и окно твоей комнаты смотрит на улицу Эгролет, и она непременно увидит меня. Вернуться домой после трехдневной отлучки и не сказать ни слова! Странно как-то. Ты думаешь, она слышала наш разговор? Ну так что же? Пусть слышала — через запертую дверь никогда не разберешь, о чем говорят. Не спорь! Смейся ей в лицо! Когда она придет, мы с ней поздороваемся как ни в чем не бывало…

Ее слова показались ему убедительными. В мгновение ока проворные руки Мушетты навели в комнате прежний порядок. Диванные подушки обрели свою упругую округлость, кресла благовоспитанно повернулись спинками к стене, дверца аптечки затворилась, а лампа сияла мирным светом под уютным зеленым абажуром. И когда мадемуазель Малорти вновь заняла свое место в кресле, даже от стен веяло ложью.

— А теперь будем ждать, — молвила она.

— Будем ждать, — вторил ей Гале.

В последний раз он обвел комнату взглядом и, совершенно успокоившись, обратил его к любовнице. Сидя в почтительном удалении от высокоученого мужа, юная пациентка готова была со всем прилежанием внимать непогрешимому оракулу.

— Ты с ума сошла — так высоко скрещивать ноги! — испуганно прошипел он.

Теперь, когда Жермена молчала, он ясно сознавал, что поддался не столько доводам, сколько выражению и звучанию голоса.

"Какое ребячество, — твердил он себе, — какое ребячество! Да можно придумать тысячи причин, чтобы оправдать ее приход!"

Но при одной мысли, что в скором времени ему придется лгать, подыгрывая сумасбродной девчонке, притворяться, чтобы обмануть недоверчивого и коварного врага, язык немел у него во рту.

Он стал искать взгляд Мушетты, но она не смотрела на него. Предательские глаза разглядывали стену над его головой, и в них росла новая тайна. В нем возникло предчувствие, нет, уверенность, что беды не миновать. Грех был здесь,

перед глазами его, ярко освещенный, очевидный, вопиющий — он сам настоял на том, чтобы сей неопровержимый свидетель остался подле него! Если бы страх не приковал его к месту, он тот же час выкинул бы Мушетту в окно, бросился бы на нее и топтал, как топчут тлеющий фитиль, упавший рядом с пороховым погребом. Но было слишком поздно. Оцепеневший в жутком безволии, поражающем трусов, он оказался бы беззащитен перед извечным своим врагом. Он услышал ее еще прежде, чем она успела выговорить первое слово (нарушивший молчание голос был ясен и чарующ):

— Веришь ли ты в ад, котик?

— Теперь самое время толковать о всяком вздоре, — примирительно заметил он. — Прошу тебя, убереги для более удобного случая свои нелепые шуточки.

— Ай-ай-ай! Нет, вы только полюбуйтесь на него!.. Ну, довольно уже, опасность миновала, успокойся. Ты наконец выведешь меня из себя! Трясешься, будто тебя на казнь должны вести. Чего тебе теперь бояться? Да ничего, решительно ничего!

— Я одной тебя боюсь, — проговорил Гале. — На тебя не очень-то положишься.

Ничего не сказав в ответ, она только улыбнулась и, помолчав, спросила тем же спокойным чарующим голосом:

— Отвечай мне не раздумывая: веришь ли ты в ад?

— Конечно же, нет! — вскричал он, теряя терпение.

— Поклянись!

Он решил покориться.

— Ну хорошо, клянусь.

— Так я и знала, — заметила она. — Ты не боишься ада, но боишься жены! Как же ты глуп!

— Замолчи, Мушетта, или уйди! — умоляюще сказал он.

— Уйди! Поди, жалеешь теперь, что давеча не отпустил меня? Лежала бы теперь твоя Мушетта на дне лягушачьего пруда, милый ротик ее был бы набит тиной, и она молчала бы, как рыба… Не плачь, большое дитя! Ты же видишь, я нарочно говорю шепотом. Жалкий трусишка! Ты ее, а не меня боишься.

Он взмолился:

— Какая тебе корысть в том, чтобы причинять боль?

— Никакой, решительно никакой. Я вовсе не хочу делать тебе больно. Но почему все-таки ты

не боишься меня?

— Ты добрая девушка, Мушетта.

— Еще бы! С ней ты делишь одно наслаждение! Разве ты не доказал этого только что, ну, признайся? Ребенок от Мушетты? Упаси боже!

Ребенок не мой! — завопил он, теряя власть над собой.

— Допустим. Но я и не прошу тебя признать свое отцовство.

— Но ты требовала, чтобы я совершил поступок, противный моей совести!

— Сейчас мы потолкуем о твоей совести, — заметила Мушетта. — Не пожелав оказать мне услугу, ты окончательно открыл мне глаза. Не дожидайся, я не стану ссориться. Я люблю тебя не за красоту — взгляни-ка на себя! — и не за торопливость — уж не обессудь, но ты прижимист-таки! Так что же я люблю в тебе? Не делай круглых глаз! Порочность твою... Скажешь, что это все из книжек? Если бы ты знал... то, что узнаешь скоро... ты понял бы, что я точно скатилась на самое дно и стала вровень с тобой... Оба мы сидим в одной яме... Мне нет нужды лгать тебе... Ты думаешь, что мною движет чувство мести, но ты не понимаешь моей души... Нет, мой милый! Но сегодня я могу быть откровенной до конца, я

должна высказаться — или теперь, или никогда! Я загнала тебя в угол, бедный мой котик! Тебе от меня не улизнуть… Да я об заклад готова биться, что ты в полный-то голос побоишься говорить!.. Так-то!

Она сама говорила так тихо, что он простодушно-бессознательным движением склонял голову к ней, чтобы лучше слышать. Привычная складность речи и пониженный до полушепота голос Жермены, неторопливые шаги Зеледы наверху, голос Тимолеона, возившегося со своими кастрюлями и напевавшего какую-то дурацкую песенку, совершенно рассеяли тревогу Гале. Однако он все еще не смел смотреть в глаза Жермене, хотя и чувствовал на себе ее взгляд… "Вот ведь неприятность!" — думалось ему.

Но роковой знак уже начертался на стене.

Мушетта глубоко вздохнула и повела речь:

— Если я решилась теперь говорить, то единственно ради тебя, ради твоего же блага… Суди сам. Мы встречаемся уже не первую неделю, и никто не знает о том, ни единая душа… Мадемуазель Жермена здесь, господин депутат там… Плохо ль мы таимся? Плохо ль бережемся чужого глаза? Господин Гале живет с шестнадцатилетней девчонкой, а кому это придет в голову? Да хотя бы и

твоей жене? Признайся же, старый развратник, уже одно то, что ты изменяешь ей прямо здесь, под самым носом у нее, прямо-таки под самыми ее усами (есть, есть у нее усы!), составляет уже половину твоего счастья. Я-то знаю тебя, ты любишь мутную водицу. В том прудике в Вору, о каком я тебе сказывала, водятся престранные, диковинного вида твари, нечто вроде сороконожек, только подлиннее… Поплавают в прозрачной воде у поверхности и вдруг нырнут, и на том месте, где они были, поднимается из глубины облачко мути. Так вот эти козявки похожи на нас! Между дурачьем и нами тоже стоит такое вот облачко. Тайна. Великая тайна… И когда ты узнаешь ее, меж нами будет такая любовь!

С этими словами она откинулась и рассмеялась беззвучно.

— Забавно! — проронил Гале.

Она легонько выпятила губы, состроив подетски обиженную рожицу, и некоторое время наблюдала его с выражением беспокойства, но вскоре лицо ее прояснилось:

— Ты прав, я действительно много болтаю, — призналась она, — от страха, в сущности. Болтаю, просто чтобы что-нибудь сказать. А что, если бы сейчас сюда вошла Зеледа? Любопытно

знать, испытала бы я чувство облегчения или, напротив, досады? Подожди! Подожди! Выслушай прежде!.. Так вот, ребенок не твой. Догадайся — чей?.. Маркиза… да, да… Господина маркиза де Кадиньяна!..

— Забавно! — повторил Гале.

Губы Мушетты задрожали.

— Поцелуй мне руку, — неожиданно велела она, — да… поцелуй мне руку… Я хочу, чтобы ты поцеловал мне руку!

Голос не повиновался ей совершенно так, как у актрисы, которой не удался задуманный эффект: она теряет самообладание, но упрямо твердит свое. Произнося эти слова, она совала руку к губам своего любовника, потом внезапно отстранилась и проговорила необыкновенно напыщенно:

— Ты целовал руку, убившую его!

— Презабавно! — в третий раз повторил доктор Гале.

Мушетта хотела презрительно рассмеяться, но сдавленный звук, вырвавшийся из ее горла, был так страшен и так мучителен, что она умолкла.

— У тебя душевная болезнь, — рассудительно изрек кампаньский лекарь. Любой врач тотчас нашел бы все ее признаки. Но ты девушка нервическая, с тяжелой наследственностью: в роду

были алкоголики, всего два-три года как достигшая половой зрелости и страдающая к тому же от преждевременной беременности. В подобных случаях такое состояние не редкость. Извини меня за то, что я так говорю: я взываю к твоему рассудку, к здравомыслию твоему, ибо знаю, что больные такого рода никогда не верят до конца собственным бредовым измышлениям. То была шутка, признайся? Пусть далеко зашедшая, но все же шутка, какую от всякого можно услышать? Скверная шутка.

— Шутка, — с трудом выговорила она наконец.

Невыразимый гнев тяжело бился в ее груди, но она подавила его. В пламени жестоко уязвленного самолюбия сгорели последние остатки безумного и жестокого отрочества. Она ощутила вдруг в своей груди одетое несокрушимой броней сердце, а в голове холодный и рассудительный ум женщины, несчастной сестры девочки.

— Не пытайся спрятаться в кусты, когда дело приняло такой оборот,воскликнула она, — или настанет твой черед плакать! Думай что угодно: может быть, я устала носить в себе тайну, может быть, раскаиваюсь, а может быть, просто боюсь… Как и всем, мне знаком страх. Думай, что тебе угодно, но не отпирайся от своей доли. Отсту-

пать поздно, я и так слишком много сказала. Да, я убила его. Когда? Двадцать седьмого числа… В котором часу? В час ночи без четверти (как теперь, вижу стрелку часов)… Я сняла его ружье, оно висело на стене под зеркалом… Скорее всего, я не была совершенно уверена в том, что оно заряжено. Но оно оказалось заряжено. Я надавила спуск, когда дуло коснулось его. Он повалился едва не на меня… В туфлях было полно крови — я отмывала их в пруду, а чулки выстирала дома, в тазе… Вот так! Ну что, убедила? — спросила она с ребячливой самоуверенностью. — Может быть, тебе нужны еще доказательства? (А между тем она не привела ни единого.) Будут и другие, ты расспроси меня.

Невероятно! Ни на мгновение Гале не усомнился в ее искренности. Он поверил ей с первых же произнесенных ею слов, ибо глаза ее были еще красноречивее слов. Однако он был настолько поражен, что лицо его не выразило ужаса, которого ожидала Мушетта. Когда безумный страх, объемлющий труса, не находит сильных внешних выражений, он стократ увеличивает темные силы его души, рождая в получеловеке-полузвере, где разум едва тлеет, почти безграничную способность таиться и лгать. Не ужас перед

убийством пригвоздил Гале к месту, но молнией мелькнувшая в его мозгу мысль, что он останется навечно связан со страшной своей подругой не как соучастник преступления, но как посвященный в жуткую тайну. Возможно ли будет когда-либо открыть ее, не выдав себя? Но коль скоро признание слетело с ее уст, он будет отрицать! Что еще оставалось ему делать? Нет, нет и нет! Пусть против самой очевидности! Нет! Нет! Нет! — вопил животный страх. Ему нестерпимо хотелось ударить ее своим "нет" по рту, только чтобы не слышать страшных, бичующих слов. Но погоди... Следствие закончено, состава преступления не найдено... Но, может быть, он еще не все знает? Что, если Мушетта держит про запас какое-нибудь доказательство? Пусть выложит все, а уж он отведет удар! Свойственная судьям недоверчивость, необычность преступления, забвение, уже коснувшееся памяти о человеке, некогда внушавшем страх и ненависть, уважение к семейству Малорти, наконец, свидетельство врача — члена парламента, — всего этого было достаточно, чтобы положить конец всяким колебаниям суда. Лихорадочное возбуждение Мушетты и бредовые выдумки, на которые она вполне способна в ослеплении гнева, давали

все основания предполагать приступ безумия, действительно грозивший ей в скором времени, в чем Гале, кстати, не сомневался… Но что же еще наговорит коварная девчонка, будь она безумна или в здравом рассудке, прежде чем за ней захлопнется обитая войлоком дверь отделения для буйнопомешанных? Как бы скоро ни мелькали в голове бедняги путаные мысли, он вновь пустил в ход свою крестьянскую хитрость и сказал без тени насмешки:

— Я боялся, что ты рассердишься… Не берусь судить о твоем поступке, даже если ты действительно его совершила. Совратителю пятнадцатилетних девочек не всегда безопасно заниматься своим промыслом… Хорошо, я расспрошу тебя, тем более что ты сама настаиваешь на том. Перед тобой друг… исповедник (он невольно понизил тревожно звучавший голос)… Стало быть, ты не ночевала дома в ночь с двадцать шестого на двадцать седьмое?

— Что за вопрос!

— А отец?

— Разумеется, спал. Незаметно уйти из дому не составляет никакого труда.

— А вернуться?

— И вернуться, разумеется… Да в три часа утра

его пушкой не разбудишь!

— А что было на следующий день, дорогая, когда они узнали?..

— Как и все, они решили, что это самоубийство. Папа поцеловал меня. Накануне он виделся с господином маркизом, и тот ни в чем не сознался. "А все-таки он струхнул!" — сказал папа, и еще он сказал: "С малышом что-нибудь придумаем — у Гале длинная рука". Они хотели с тобой посоветоваться, но я не захотела.

— Значит, и ты ни в чем не созналась?

— Нет!

— И тотчас по совершении своего... деяния... ты скрылась?

— Я только сбегала к пруду и вымыла туфли.

— Ты что-нибудь взяла с собой, унесла оттуда?

— А что бы я могла взять?

— Что ты сделала с туфлями?

— Сожгла в печи вместе с чулками.

— Я видел... я осмотрел труп, — продолжал Гале. — Полное впечатление самоубийства. Выстрел был произведен с такого близкого расстояния!

— Да, под самый подбородок, — подтвердила Мушетта. — Я была намного ниже его, а он шел прямо на меня... Он не боялся.

— Уби... покойный имел при себе какие-нибудь

мелкие предметы... письма?

— Письма? — Жермена пренебрежительно пожала плечами. — Какие еще письма?

"Весьма правдоподобно", — подумал Гале и удивился, услышав свой собственный голос, произносящий эти слова.

— Вот видишь! — торжествующе вскричала Мушетта. — Я-то не сомневалась, что все это чистая правда. Пусть теперь приходит твоя Зеледа, вот увидишь, я буду вести себя, как паинька. "Здравствуйте, Жермена". (Она встала и сделала перед зеркалом реверанс.) — "Здравствуйте, сударыня..."

Но врач уже не в силах был сдерживаться. Тиски страха вдруг разжались, и он выпустил на волю ложь, как обложенный псами зверь изливает непроизвольно мочу, когда преследователи оставляют его наконец в покое.

— Твой рассудок помешался, — сказал он, испустив долгий вздох.

— Как?! — изумилась она. — Ты...

— Я не верю ни единому слову.

— Можешь не повторять, — проговорила она сквозь зубы.

Улыбаясь, он делал успокоительные движения рукой.

— Послушай, Филогон, — умоляюще начала она (выражение ее лица менялось еще быстрее, чем звук голоса). — Я лгала тебе, просто храбрилась. Да, я не могу больше ни жить, ни дышать, ни даже видеть свет дня, когда окружила себя такой чудовищной ложью. Ну вот, теперь все! Поклянись, что я сказала все!

— Тебе привиделся страшный сон, Мушетта.

Она взмолилась вновь:

— Ты сводишь меня с ума. Если уж и в этом я стану сомневаться, во что же тогда мне верить? Но что я говорю! — перебила она сама себя, и голос ее зазвучал пронзительно. — С каких пор отказываются верить слову сознающегося в своем злодеянии и кающегося убийцы? Я каюсь!.. Да, да, я буду каяться, буду! Тебе никуда не деться от этого! И если ты не поверишь мне, я пойду и расскажу всем мой сон, преследующий меня сон! Твой сон!

Она рассмеялась. Гале узнал этот смех и побледнел как полотно.

— Я зашел слишком далеко, — пролепетал он. — Успокойся, Мушетта, успокойся, оставим этот разговор.

— Я напугала тебя, — сказала она уже не так громко.

— Немного, — признался он. — Ты теперь так возбуждена, так необуздана… Довольно об этом, мне все ясно.

Она вздрогнула.

— Во всяком случае, тебе нечего опасаться. Я ничего не видел, ничего не слышал. Вообще говоря, ни я, ни кто бы то ни было… — неосторожно начал он.

— Что ты хочешь этим сказать?

— Я хотел сказать, что твой рассказ, независимо от того, сказала ты правду или солгала, походит на сон…

— То есть?

— Кто видел, как ты выходила из дому? Кто видел твое возвращение? Какие могут быть против тебя улики? Ни единого свидетеля, ни единого вещественного доказательства, ни единой записки, ни пятнышка крови… Вообрази, что я объявляю себя убийцей. Ну и что? Мне тоже никто не поверит. Доказательств-то нет!

И тут Мушетта поднялась перед ним во весь рост. Нет, она не была бледна — напротив, лоб, щеки и самая шея ее пылали так ярко, что под тонкой кожей на висках резко обозначились синие жилы. Сжатые кулачки были угрожающе подняты, но в глазах несчастной девочки отра-

жалась невыразимая тоска, словно она молила о пощаде. Потом и этот свет угас, и в зрачках Жермены заметалось безумие. Она открыла рот и закричала.

Непрерывный звериный вой, звучавший то выше, то ниже, наполнил домик, где уже слышался повсюду невнятный говор и топот ног. Врач отшвырнул далеко от себя тщедушное окостенелое тельце и теперь пытался зажать воющий рот, заглушить вопль. Он боролся с ним, как убивец борется с живым, бьющимся под его пальцами сердцем. Если бы по случайности его долгие руки натолкнулись на содрогающуюся шею Жермены, она несомненно была бы удавлена, ибо всеми своими движениями обезумевший от страха трус походил на убийцу. Он сдавил, стеная, маленькую челюсть, и никакая сила в мире не заставила бы его ослабить хватку… Зеледа и Тимолеон появились в одно время.

— На помощь! — взмолился он. — Мадемуазель Малорти… приступ буйного помешательства… необыкновенно тяжелый… Да помогите же, боже мой!..

Тимолеон схватил руки Жермены и придавил их к ковру, раскинув крестом. Помешкав немного, мадам Гале взялась за ноги. Освободив наконец

руки, Гале накинул на лицо безумицы смоченный эфиром платок. Жуткий вой приглушенно звучал еще некоторое время, постепенно стихая, и, наконец, оборвался. Побежденная девочка потеряла сознание.

— Сбегай за простыней! — приказал врач супруге.

Они спеленали неподвижное тело. Тимолеон побежал известить о случившемся пивовара. Вечером того же дня Жермену перевезли автомобилем в психиатрическую лечебницу доктора Дюшемена. Она вышла оттуда месяц спустя, родив там мертвое дитя и совершенно излечившись от своего недуга.

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ
Искушение отчаянием

I

— Дорогой мой каноник, старый друг мой, что сказать вам? — заключил аббат Деманж. — Хотя мне теперь и трудно считать ваши сомнения основательными, меня тяготит наше расхождение во мнениях… Я весьма склонен был бы полагать, что изощренный ум ваш обратился на пустяки, когда бы не знал вашей осмотрительности и твердости суждений… Все же вы придаете чрезмерное значение молодому неотесанному священнику…

Ничего не ответив, аббат Мену-Сегре зябко оправил одеяло на коленях и, низко клонясь вперед, потянулся руками к очагу. Наконец он нарушил молчание и заговорил не без затаенного лукавства, мгновенно блеснувшего в глазах:

— Среди всех тягот преклонного возраста опыт стоит не на последнем месте, и мне не хотелось бы, чтобы упомянутая вами осмотрительность увеличивалась в ущерб твердости. Нельзя, разумеется, положить предел рассуждениям и предположениям, но жизнь есть прежде всего выбор. Признайте же, друг мой, что старых людей пугают не столько ошибки, сколько сознание, что они могут ошибиться.

— Вы верны себе! — с нежностью в голосе проговорил аббат Деманж. — Как мало изменилась душа ваша! В моих ушах все еще звучит ваш голос, когда во дворе Сен-Сюльпис вы спорили о мистических состояниях бенедиктинцев — о святой Гертруде, святой Мельтгильде и святой Хильдегерде — с беднягою де Лантиви. Помните, он еще возражал вам: "Что вы мне толкуете о третьем мистическом состоянии, вы, самый щеголеватый среди всех находящихся здесь и более любого из них грешащий чревоугодием!"

— Помню, — проговорил настоятель, и, обычно такой спокойный, голос его едва заметно дрогнул. Он с трудом повернул утопавшую в подушках голову, обводя взглядом просторный покой, где уже сгустились сумерки, и сказал, указывая глазами на милую его сердцу мебель: — Надо было избавиться. Всегда надо избавляться.

Но голос его тотчас окреп, и в нем зазвучал вызов — так случалось всякий раз, когда Мену-Сегре хотел подтрунить над самим собой, смущая свою великую душу:

— Нет лучшего средства, чем ревматизм, ежели хотите понять и почувствовать, что значит свобода.

— Вернемся к нашему подопечному, — с неожи-

данной резкостью сказал аббат Деманж, не сразу решившись посмотреть в глаза своему старинному другу. — Мне нужно будет уйти от вас в пять часов. Я охотно повидался бы с ним.

— К чему? — спокойно возразил Мену-Сегре. — Или за целый день мы не насмотрелись на него? Он истоптал грязными ножищами мой бедный старый смирнский ковер, едва не сломал ножки самого дорогого и хрупкого стула, на который не преминул взгромоздиться со столь присущей ему находчивостью… Чего вам еще надобно? Уж не собираетесь ли вы взвесить и измерить его, как новобранца?.. Поверьте, одному богу ведомо, сколько я пережил за неделю из-за милых моих безделушек, к которым так дурацки привязан, с замиранием сердца глядя на этого нескладного, во все черное одетого верзилу!

Но аббат Деманж слишком хорошо знает товарища своей юности, чтобы удивляться его настроению. В старое время, в бытность свою личным секретарем магистра де Таржа, он знал решительно все о некоторых трудностях, выпавших на долю Мену-Сегре и последовательно преодоленных ясным и прозорливым умом его. Неукротимая независимость сего ума, необоримое, если можно так выразиться, здравомыслие,

неизменное следование которому не может иной раз не показаться выражением некоей жестокости, производящей на людей чувствительных впечатление, еще более удручающее оттого, что аббата отличала самая изысканная любезность, свойственное ему презрение к суесловию, преклонение перед жизнью духовной в наиболее высоком смысле слова и в то же время нежелание довольствоваться умозрением, возбудили на первых порах недоверие епископа. Благодаря мягкому, но упорному заступничеству юного Деманжа и в особенности безукоризненной воспитанности будущего настоятеля кампаньской церкви, отправлявшего в те поры обязанности соборного викария, Мену-Сегре снискал — увы, слишком поздно — благорасположение человека, явно чувствовавшего себя польщенным, когда его называли последним дворянином в духовенстве, и скончавшегося на другой же год, оставив магистру Папуену, любимцу министра духовного ведомства, которого тот прочил в преемники епископа, наследство довольно щекотливого свойства. На первых порах аббата Мену-Сегре вежливо держали в стороне, затем, после того как провалился на выборах в парламент депутат-либерал, за которого аббат, видимо, не очень-то

хлопотал, его постигла настоящая опала. Победа радикала — доктора Гале лишила Мену-Сегре всякой надежды преуспеть на духовном поприще. Назначенный в кампаньский приход, впрочем бывший предметом вожделения многих, он покорился судьбе и с той поры мирно оберегал порядок в своих владениях, между тем как обе партии повадились сговариваться во вред ему, а министр духовного ведомства и епископ поочередно то порицали его, то выражали ему свое неодобрение. Эта игра забавляла Мену-Сегре, и более всякого другого он находил удовольствие в сей смене впечатлений. Наследовав порядочное состояние, аббат мудро распоряжался им, целиком предназначив его своим племянницам, довольствовался малым, хотя жил с достоинством опального вельможи, перенесшего в свое захолустье некоторые повадки и замашки царедворца, любопытного к чужой жизни, однако же совершенно чуждого злословия, искусного в умении заговорить любого, выведывающего тайну единым взглядом, как бы ненароком брошенным словом, улыбкой, чтобы потом самому же просить ничего не разглашать, настаивать на безусловном сохранении этой тайны, наделенного редкостным тактом и остроумным достоинством,

очаровательного гостя, учтиво отведывающего кушанья, умеющего быть словоохотливым из милосердной снисходительности к ближнему, воспитания столь безупречного, что простые священники из управляемого им округа, попавшись на эту приманку, почитали его за человека редкой мягкости, приятного и ровного в обхождении, проницательного, но не язвительного, от природы терпимого, правда, несколько скептического и, пожалуй, в известной мере подозрительного.

— Друг мой, — кротко ответствовал аббат Деманж, — узнаю вас. Вы обращаете против вашего викария удар, предназначавшийся мне. В глубине души вы пеняете мне то ли за непонимание, то ли за пристрастие, то ли еще за что-то. Да, весьма милосердно с вашей стороны думать так под рождество о бедном, отставленном от дел товарище, которому, прежде чем лечь в постель, придется, единственно от любви к вам, тащиться сегодня вечером за три лье! Ужели вы и впрямь думаете, будто я могу легкомысленно отнестись к сомнениям, о которых вы поведали мне?.. Но вы, как водится, не терпите колебания в других, когда сами во что-либо уверовали, подавляете людей своей уверенностью, хотя и с большею, нежели обыкновенно, любезностью… Вы требу-

ете от меня определенного ответа, но данные, которыми я располагаю…

— Вот как, данные? — перебил его настоятель. — Давайте уж начнем расследование, заведем дело, а? Когда решается исход сражения, годится все, что можно пустить в ход. Я не звал вас, покуда сам взвешивал все обстоятельства, но коль скоро укрепился в определенном мнении…

— Короче говоря, вы рассчитываете на мое одобрение?

— Именно, — невозмутимо подтвердил престарелый священнослужитель. — Я от природы несколько самонадеян, но достоинства мои столь ничтожны, старость моя столь малодушна, и я столь безрассудно привержен своим привычкам, слабостям и даже недугам, что в решительный час должен непременно видеть глаза и слышать голос друга. Вы дали мне все, в чем имел нужду! Я доволен. А остальное уж мое дело.

— О, упрямая голова! — воскликнул аббат Деманж. — Вы хотите заткнуть мне рот. Этой ночью, когда я вновь буду далеко от вас, я стану в слепой вере моей молиться об исполнении ваших желаний, и молитва моя будет такой горячей, какой не была еще никогда. Но прежде, хотите гневайтесь, хотите нет, я изложу вкратце, ради

спокойствия моей души, суть нашей беседы и подведу итог… Позвольте, позвольте же мне сказать! — воскликнул он, заметив нетерпеливое движение настоятеля. — Я займу немного вашего времени. Давеча я упомянул о данных из личного дела. Мне хотелось бы продолжить разговор. Разумеется, я не придаю особого значения оценкам успеваемости ученика семинарии…

— Какой смысл продолжать разговор? — прервал его Мену-Сегре. — Да, оценки посредственные, весьма посредственные, но одному богу ведомо, в чем причина! То ли ученик посредственный, то ли учитель!.. Однако вот что сообщает мне, между прочим, магистр Папуен в письме, которого я не читал вам… Благоволите передать мне бумажник — вон он лежит, на краю стола — и придвиньте, пожалуйста, лампу.

Сначала он с улыбкой на устах пробежал письмо взглядом, поднесши его вплоть к своим близоруким глазам, затем начал читать вслух: "Едва осмеливаюсь предложить вам последнего оставшегося у меня, недавно рукоположенного выпускника, с которым господин архиерей, получивши его от меня, не знает, что делать. Он исполнен всяческих достоинств, умаляемых, к сожалению, крайней несдержанностью и редким

упрямством, не получил порядочного воспитания и не умеет прилично держаться, весьма набожен, однако в вере выказывает более усердия, нежели мудрости, — словом, довольно еще неотесан. Боюсь, что человеку вашего склада… (здесь, как водится, колкость, обычная епископская колкость) что человеку вашего склада трудно будет приноровиться к дичку, который оскорбит вас сто раз на дню, сам того не желая".

— Что же вы отвечали? — полюбопытствовал аббат Деманж.

— Примерно следующее: приноравливаться не столь уж важно, ваше высокопреосвященство, довольно будет, ежели он станет полезен мне, или нечто в таком духе.

В голосе Мену-Сегре звучала лукавая почтительность, но в прекрасных, выражающих спокойную отвагу глазах искрился смех.

— Но ведь, по вашему собственному признанию, — нетерпеливо возразил Деманж, — этот малый совершенно таков, как вам его описывали!

— Хуже, — вскричал настоятель, — в тысячу раз хуже! Да что говорить, вы сами его видели. Вне сомнения, его присутствие в столь благоустроенном доме совершенно противно здравому

рассудку. Судите сами, старому канонику довольно уже осенних дождей, сентябрьского ветра, от которого ноют ревматические кости, раскаленной печи, воняющей вареным жиром, грязных следов, оставляемых гостями на коврах, ружейной пальбы последних охотничьих облав. В мои лета ждут бога, надеясь, что он тихо придет в будний день, никому не причинив беспокойства… Увы! Вместо бога к вам заявляется широкоплечий детина, полный столь простодушного рвения, что хочется скрипеть зубами, еще более несносный из-за своей робости, оттого что прячет свои красные ручищи, старается не греметь своими коваными сапожищами и приглушает раскаты своего трубного голоса, каким впору беседовать с конями или быками… Мой сеттерок с отвращением воротит от него нос, домоправительница измучилась, выводя пятна и зашивая прорехи на той из двух его сутан, какая сохраняет еще более или менее приличный вид… Воспитания никакого, грамоте знает ровно столько, сколько надобно, чтобы с грехом пополам читать из требника. Спору нет, обедню он служит с похвальным благочестием, но так медлительно, с таким неуклюжим прилежанием, что меня пот прошибает на хорах, хотя там чертовски холодно! От одной

мысли, что ему придется обращаться с кафедры к столь утонченным слушателям, как наши прихожане, у него делается такой несчастный вид, что я не смею его неволить и продолжаю надсаживать свою бедную глотку. Что еще? С утра до вечера таскается, как последний бродяга, по грязным проселкам и предлагает свою помощь возницам в тщетной надежде выучить их языку, не столь оскорбительному для слуха господа бога, и от него так несет хлевом, что верующие приходят в смущение. И, наконец, мне пока не удается научить его изящно проигрывать в триктрак. В девять часов вечера на него уже находит сонная одурь, и мне должно отказывать себе в сем удовольствии… Ну, что скажете? Не правда ли, предостаточно?

— Если таково существо ваших донесений епископству, мне жаль беднягу, немногословно отвечал аббат Деманж.

Улыбка тотчас исчезла с лица настоятеля, и необыкновенно живые черты его окаменели.

— Меня пожалейте, друг мой, — проронил он.

И в голосе его звучала такая тоска, такая неизбывная надежда, что сразу стало ясно, как стар настоятель, и величием смерти повеяло в безмолвии просторного покоя. Аббат Деманж

покраснел.

— Неужто положение столь тревожно, друг мой? — поспешно проговорил он с трогательным смущением, в благородном порыве дружеского участия. — Боюсь, что я обидел вас, сам не зная, чем.

Но Мену-Сегре с живостью возразил:

— Обидели? Меня? Это я по глупости огорчил вас. Не будем путать наших суетных забот с делами господними.

Улыбаясь, он некоторое время собирался с мыслями.

— Я слишком умен, вот где моя пагуба. Мне бы делом заняться, а я вместо того задаю вам загадки да тешусь вашим смущением. Ах, друг мой, господь тоже задает нам загадки!.. Я жил спокойно, вернее, мирно доживал свой век, но вот является этот мужичина — и все идет кувырком, и нет мне теперь покоя ни днем, ни ночью. Уже одно то, что он рядом со мной, вынуждает меня делать выбор. Поверьте мне, подвергаться искушению великого предприятия, когда охладевшая кровь едва сочится в жилах, есть жестокое испытание.

— Коль скоро дело представляется вам в таком виде, — молвил аббат Деманж, — скажу одно: позвольте старому другу вместе с вами нести

крест сей.

— Слишком поздно, — возразил настоятель, все так же улыбаясь. — Я буду нести его один.

— …Однако, говоря откровенно, по совести, — продолжал Деманж, — я не заметил в новичке ничего такого, что могло бы лишить душевного покоя такого человека, как вы. То, что я узнал о нем, лишь навело на меня сомнение, но отнюдь не убедило. Такого рода викарии весьма обыкновенны. Они докучливы в своем усердии, самой природою предназначены занятиям иного свойства, сопряженным с более тяжелым трудом, в первые же годы священничества тратят избыток силы, которая в суровой среде духовной семинарии…

— Ни слова более! — остановил его, рассмеявшись, Мену-Сегре. — Я могу возненавидеть вас. Неужели вы думаете, что меня не посещали сомнения такого свойства? Волей-неволей мне пришлось пройти через это. Кто же уступит без борьбы высшей силе, которой в себе не чувствуете, которая остается чуждой вам? Необузданность претит мне, и уж я не попадусь на столь грубую приманку. Не подумайте только, что я баба в штанах! В наше время, друг мой, мы не были приучены к нежностям, чтобы там ни воображало

дурачье… Здесь совсем другое.

Мену-Сегре запнулся и тоже покраснел, несмотря на преклонные лета свои.

— Я не произнесу этого слова, я со страхом жду чего-то от вас, и сердце у меня сжимается заранее. Да, друг мой, душа моя была покойна, я жил в смирении, и смирение было мне сладостно. Я никогда не был честолюбив: мне любезно повелевать, а не управлять. Мне хотелось, чтобы мои способности употребили с пользою. Но это уже не имело значения — к тому времени я слишком устал. Людская подлость, недоверие и ненависть ко всему высокому, которую эти несчастные называют осторожностью, наполнили сердце мое горечью. Я видел, как человека высоких достоинств травят, словно дикого зверя, как подтачивают исподволь душу возвышенную. Но мне ненавистны козни, суета, я люблю власть, благочиние. Я ждал часа, когда один из сих непризнанных попадет в зависимость от меня, когда я буду держать за него ответ перед Богом. Мне было отказано в сем, и надежда уже оставляла меня, как вдруг… когда уже почти не осталось сил…

— Разочарование ваше будет жестоко, — медленно проговорил аббат Деманж. — Другому заблуждение сие было бы неопасно, но мне

— увы! — отлично известно, что ежели вы решились на что-нибудь, то уж пойдете до конца. Вы разобьете собственную жизнь и, боюсь, жизнь несчастного простака, который последует за вами, не понимая вас… Однако во взоре вашем я вижу божественный покой.

Он безнадежно махнул рукой, как бы давая понять, что хочет прекратить столь странный разговор. Мену-Сегре понял его.

— Время минет, — молвил он, вынимая часы. — Искренне сожалею о том, что вы не можете провести со мной рождественскую ночь… В возке вы найдете добрую бутыль старой водки. Я распорядился хорошенько обвернуть ее, но дорога бойка, и вы поступите благоразумно, ежели присмотрите за ней.

Внезапно настоятель умолк. Старые богослужители молча переглянулись: от дороги доносился звук тяжелых мерных шагов.

— Извините меня,- проговорил наконец кампаньский священник с видимым смущением. — Мне нужно узнать, кончил ли принимать пришедших к исповеди мой собрат д'Эдлин и все ли готово к всенощной… Позвольте опереться о вашу руку. Мы перейдем залу, и я провожу вас к повозке.

Он надавил кнопку звонка. Явилась домоправительница.

— Попросите господина Дониссана прийти проститься с господином аббатом Деманжем, — сухо сказал ей Мену-Сегре.

— Господин аббат, — запинаясь, начала женщина, — я думаю… Мне кажется, что господин аббат вряд ли может… Во всяком случае, пока не может…

— Не может?

— Видите ли… кровельщики… словом, кровельщики хотели бросить работу… Они говорили, что придут после новогодних праздников.

— Наша колокольня действительно нуждается в починке, — пояснил настоятель. — Деревянный сруб едва не обрушился. Мне пришлось обратиться за помощью к десятнику из Морвер и нанять на месте неопытных плотников для исполнения опасной, в сущности, работы. Господин Дониссан…

Мену-Сегре обернулся к домоправительнице и сказал тем же сухим голосом:

— Просите его сойти к нам в том платье, какое на нем надето. Это не имеет значения…

— Господин Дониссан испросил у меня позволения помогать им… А уж если он помогает,

то помогает во всю мочь! На прошлой неделе я видел его однажды утром на подмостях. Он стоял на самом верху в своих сиротских штанах, намокших от дождя и липнувших к его коленям, и надзирал за подъемом балок, выкрикивая распоряжения сквозь шум порывистого ветра. Видимо, на своей высоте он чувствовал себя гораздо более уверенно, нежели в кресле высшей духовной семинарии в день четвертных испытаний… Надо полагать, он и сегодня там.

— Зачем вы позвали его? — спросил аббат Деманж. — Зачем унижать его? Ради чего?

Мену-Сегре рассмеялся и проговорил, положив ладонь на руку друга:

— Я люблю сводить вас. Мне нравится ставить вас лицом к лицу. Возможно, мною движет некое лукавство. Но это скорее всего последний раз. К тому же за этим лукавством таится очень сильное и нежное чувство, которым я обязан вам, — чувство милосердия божьего, благости господней. Сколь же велика и проникновенна, сколь властно утверждается в творении божием благость сия, которая столь разными путями, неприметно и тихо ведет ваши души к единению, к слиянию в единой сущей в свете любви! Сколь, в сущности, напрасны многотрудные ухищрения коварного

врага рода человеческого!

— Я думаю совершенно так, как вы, — отвечал аббат Деманж. — Извините меня, ибо то, что я хочу сказать вам, очевидно, покажется вам совершенно заурядным. Я полагаю, что благочестивый христианин пребывает озарен божественным светом без всяких к тому усилий, подобно тому как попавший в воду не тонет, ежели не будет делать никаких движений, благодаря тому, что объем и вес его тела необыкновенно искусно соразмерены и сохраняют удивительно постоянное соотношение. Так, святые наши, выключая немногих, постигнутых судьбою странной, мнятся мне могучими и кроткими великанами, чья сверхъестественная сила возрастает стройно, подчиняясь некоей мере, сокрытой от нашего невежества, ибо в невежестве нашем можем судить лишь о высоте препятствия, но не способны предопределить высоту и дальность прыжка. Ношу, что мы едва приподнимаем, кривясь и стеная от натуги, богатырь подхватывает, как перышко, не дрогнув ни единой мышцею лица, свежий и улыбающийся… Догадываюсь, что вы возразите мне, сославшись на вашего подопечного…

— Вот и я, господин каноник, — послышался сзади низкий сильный голос.

Оба обернулись одновременно. Тот, кому суждено было стать впоследствии люмбрским священником, стоял перед ними, храня важное молчание. Пока он не переступил еще порога сумрачной прихожей, его силуэт, удлиненный тенью, показался им огромным, но когда исчезло светлое пятно отворенной двери, он словно сжался вдруг, стал почти тщедушным. Грубые кованые башмаки, наспех отертые у входа, были измазаны известью, чулки и сутана забрызганы грязью, а широкие в кости руки, засунутые за пояс, испачканы землей. По лицу его, казавшемуся особенно бледным по сравнению с докрасна обветренной шеей, бежали струйки пота и воды, ибо, поспешив на зов г-на Мену-Сегре, он по пути наспех умылся в своей комнате. Неряшливость, вернее говоря, граничащая с непристойностью запущенность его будничного платья еще более поражала при виде новехонькой, коробом топорщившейся на нем душегрейки, которую он впопыхах натянул на себя так нескладно, что один рукав задрался и из него нелепо торчало узловатое, как старая лоза, запястье. То ли оттого, что долгое молчание каноника и его гостя совершенно смутило его, то ли оттого, что слышал — как пришло позднее на ум настоятелю — последние слова г-на Деманжа,

взгляд его глаз, от природы напряженный и даже тревожный, выразил вдруг такую печаль, такую мучительную униженность, что грубое лицо его словно озарилось вдруг.

— Вы напрасно отвлеклись от дела, — сказал Деманж, испытывая к нему чувство жалости. — Я вижу, вы не теряете времени зря и не гнушаетесь трудом… Я очень рад, что попрощался с вами.

Дружески кивнув головой, он тотчас отворотился с явно наигранным равнодушием. Они услышали на лестнице грузные шаги викария, может быть, более грузные, чем обычно…

Во дворе продрогший возница хлопал кнутом.

— Мне, право, жаль так рано покидать вас, — сказал на пороге аббат Деманж. — Да, мне хотелось бы, особенно хотелось бы провести рождественскую ночь подле вас. Но рядом с вами остается, друг мой любезный, существо более могущественное и мудрое, нежели я. Смерть мало чему может научить стариков, но дитя в колыбели!.. Какое дитя! Скоро жизнь начинается сызнова.

Бок о бок они сходили по ступеням низкого крыльца. Звуки упруго неслись к самому небу. В колеях хрустел ледок.

— Все возобновляется снова и снова, и так будет

вечно, до скончания веков! — произнес вдруг Мену-Сегре с невыразимой тоской в голосе.

От резких порывов холодного ветра щеки его покраснели, синеватые тени легли у глаз, и тут Деманж заметил, что старый товарищ его весь дрожит от озноба.

— Что я вижу! — вскричал он. — В такую ночь вы вышли из дому без пальто и не покрыв головы!

В самом деле, рассеянность кампаньского священника более красноречиво, нежели речи, свидетельствовала об ужасном смятении, владевшем душою его. Но еще более поразился Деманж, вернее, пришел в совершенное изумление, в первый, и последний, раз увидев слезу, катившуюся по тонкому лицу друга.

— Прощайте, Жак, — молвил настоятель, силясь улыбнуться. — Ежели существуют предвестники скорой кончины, то столь необычное отступление от моих домашних привычек, столь поразительное забвение простейшей осторожности есть, в сущности, роковое предзнаменование…

Им уже не суждено было свидеться вновь.

II

Аббат Дониссан вернулся домой лишь глубокой ночью. Лежавший с книгой в руке, но не читавший Мену-Сегре долго слышал мерные шаги викария, расхаживавшего по комнате. "Скоро настанет час решительного объяснения", думал старый священник. Он не сомневался в том, что объяснение совершенно необходимо, однако до сей поры избегал его, ибо в мудрости своей предоставлял викарию возможность первому начать решительное объяснение со всеми преимуществами его и неудобствами... Последние звуки стихли окрест, лишь слышались за стеной те же размеренные шаги. "Почему именно в эту ночь, а не завтра, не послезавтра? — думалось настоятелю. — Видно, я разволновался из-за разговора с Деманжем". Но, вопреки самым разумным и очевидным доводам, он с растущим тревожным волнением ждал чего-то необычного, что непременно должно было случиться. Вдруг в коридоре скрипнули петли, в дверь дважды постучали, и в комнату вошел Дониссан.

— Я ждал вас, друг мой, — сказал только Мену-Сегре.

— Знаю, — смиренно ответствовал гость.

Но он тотчас поднял голову, выдержал взгляд настоятеля и твердо проговорил без единой заминки:

— Мне должно ходатайствовать перед его преосвященством об отозвании моем в Туркуэн. Я надеюсь умолить вас поддержать мое прошение, не утаивая ничего из того, что вам известно обо мне, и не щадя меня даже в малости.

— ...Постойте... погодите... — перебил Мену-Сегре. — Вы сказали "мне должно ходатайствовать"? Должно... Почему должно?

— Мне не под силу исполнять обязанности приходского священника. отвечал аббат тем же голосом. — Так думал мой наставник, и, судя по всему, вы того же мнения. Даже здесь я мешаю творить добро. Последний селянин прихода устыдился бы столь неопытного, несведущего и не умеющего держать себя с истинным достоинством священника, как я. Возможно ль мне надеяться восполнить когда-либо недостающее, сколь бы усилий я ни прилагал к тому?

— Оставим это, — прервал его речь настоятель, — оставим это. Я понял вас. Бесспорно, ваши угрызения небезосновательны. Я готов просить его преосвященство о вашем отзыве, но дело

ваше щекотливого свойства. Лежащие на вас обязанности не доставляли вам, в сущности, много хлопот. Но, судя по всему, вам и это показалось многовато?

Аббат Дониссан потупился.

— Довольно ребячиться! — вскричал настоятель. — Возможно, вы сочтете меня бессердечным, но я и должен быть таким с вами. Приход слишком беден, друг мой, чтобы кормить бесполезного работника.

— Признаюсь,- едва пролепетал бедняга, — …правда, я еще не решил… в общем, я собирался… искать… искать где-нибудь в монастыре хотя бы временного пристанища…

— В монастыре!.. У таких, как вы, сударь мой, это слово с языка не сходит. Белое духовенство составляет гордость церкви, крепость ее. В монастыре! Монастырь не место отдыха, не приют, не дом призрения!

— Все это так, — хотел вымолвить Дониссан, но с уст его слетело лишь невнятное бормотание. Багровые, несмотря на необычайное волнение, щеки викария дрожали, и лишь дрожь эта выказывала ужасное смятение души его. Но когда наконец он обрел способность говорить, в голосе его слышалась даже некоторая твердость: — Так

что же мне делать?

— Что делать? — повторил настоятель. — Вот первое разумное слово, какое слышу от вас. Поелику вы признались в своей неспособности наставлять и вразумлять ближнего, возможно ли вам мудро распоряжаться самим собою? Сын мой, меня дали вам в наставники Господь и епископ.

— Это так, — согласился аббат, помедлив, — …и все же я умоляю вас…

Он не договорил. Властным манием руки настоятель принудил его к молчанию. С любопытством и страхом глядел Дониссан на престарелого, обыкновенно столь учтивого священника, ставшего вдруг надменно-невозмутимым, чей взор исполнен был теперь такой твердости.

— Дело трудное, — начал старец. — Ваше начальство допустило вас к рукоположению и, надо полагать, решило так по здравом размышлении. В то же время неспособность исправлять свои обязанности, в которой вы давеча признались…

— Позвольте, — заговорил снова несчастный викарий тем же неживым голосом, — но ведь гожусь же я хоть к какой-нибудь апостолической службе, соразмерной уму моему и способностям. К счастию, телесное здоровье…

Он умолк, пристыженный тем, что в своей

безграничной простоте противопоставил множеству красноречивых доводов столь жалкое возражение.

— Здоровье есть дар божий, — строго отповедал Мену-Сегре. — Увы! Мне более, чем вам, известна цена ему. Несомненно, дарованная вам крепость, самая ловкость ваша в некоторых ручных работах есть знамение призвания не столь высокого, как то, коему предназначало вас Провидение… Однако никогда не поздно, внявши совету достойных доверия людей, признать невольное заблуждение. Должно ль вам испытать себя еще раз либо, либо…

— Либо? — отважился переспросить Дониссан.

— Либо вернуться к сохе, — сухо заключил настоятель. — Обращаю ваше внимание на то, что пока оставляю вопрос без ответа. Слава богу, вы не принадлежите к числу тех впечатлительных юношей, на которых сказанное напрямик слово только нагоняет страху, не вразумляя. Вы-то головы не потеряете. Что же до меня, я лишь исполнил свой долг, хотя и несколько жестоко, как может показаться.

— Благодарю вас, — тихо молвил аббат странно отвердевшим голосом. — С самого начала нашего разговора Господь дал мне силу услышать от

вас жестокие истины. Ужель теперь он оставит меня своей помощью? Я умоляю вас ответить на предложенный вами же вопрос. Что толку откладывать?

— Боже мой, — тихо проговорил застигнутый врасплох настоятель. Признаюсь, несколько недель размышления… Мне хотелось бы дать вам время.

— Какой смысл, если мне не должно, да, признаться, я и сам не хочу быть себе судьею? Я хочу слышать ваше мнение, и чем скорее, тем лучше.

— Весьма возможно, что вы готовы выслушать его, друг мой, но, очевидно, не готовы принять его безоговорочно, — возразил настоятель с притворной резкостью. — В таких случаях желание ускорить наступление того, что внушает страх, есть не столько признак мужества, сколько выражение малодушия.

— Да, признаю! — воскликнул Дониссан. — Вы не ошиблись. Ничто во мне не сокрыто от вас. Взывая к вашему милосердию… нет, не к милосердию даже, а к чувству сострадания, молю нанести мне последний удар. Убежден, что, когда он обрушится на меня, я найду в себе силы… Не случалось доднесь, чтобы господь не поднял поверженного несчастного…

Мену-Сегре окинул викария пронзительным взглядом и спросил:

— Вы настолько уверены, что мнение мое вполне определилось, что в душе моей нет более сомнения?

Аббат Дониссан потряс головой:

— Много ли времени надобно, чтобы составить суждение о таком человеке, как я? Вы просто щадите меня. Но отдайте же мне по крайней мере должное и признайте перед Богом, что я повинуюсь вам безусловно, безоговорочно. Приказывайте! Велите! Не оставляйте меня в неведении.

— Похвальное поведение, — проговорил настоятель по некотором раздумий, — такая решимость заслуживает лестных слов. Намерения ваши благи, более того — мудры. Мне понятно нетерпение, с которым вы стремитесь решительным натиском побороть свою природу. Однако слова, которые вы жаждете услышать от меня, могут оказаться для вас непосильным искусом. Но вам угодно знать мой приговор — пусть будет так. Готовы ли исполнить мою волю?

— Мне кажется, да, — отвечал аббат глухим голосом. — Да и буду ли я когда-нибудь более, чем в ночь сию, готов возложить крест на плеча

мои и нести его? Час пробил. Да, отче, час пробил. Перед вами не просто невежественный, неотесанный, неспособный внушить любовь к себе священник. В низшей семинарии я был обыкновенным посредственным учеником, а в высшей совершенно измучил всех. Понадобилось непостижимое милосердие отца Деманжа, чтобы убедить директорат допустить меня к рукоположению в диаконство… Во мне нет никаких решительно достоинств, ни ума, ни памяти, ни даже прилежания… И все же…

Он запнулся, но, безмолвно поощряемый Мену-Сегре, с усилием продолжал:

— И все же мне не удалось совершенно побороть в себе некое упорство… упрямство… Справедливое презрение окружающих возбуждает во мне… такое недоброе… такое жгучее чувство… Говоря откровенно, я не могу справиться с ним обычными средствами!..

Он умолк, словно испугавшись собственной откровенности. Маленькие глаза настоятеля, выражавшие напряженное внимание, впивались в глаза Дониссана. Аббат заговорил вновь, и в голосе его слышалась мольба, почти отчаяние:

— Не станем же откладывать… Час настал… Поверьте мне, все решится сей ночью… Вы не

можете знать…

Мену-Сегре с такой живостью встал из кресел, что бедняга побледнел. Но старец в задумчивости сделал несколько шагов к окну, опираясь на посох, потом вдруг распрямил стан и молвил:

— Чадо мое, ваша покорность тронула меня. Я показался вам, вероятно, безжалостным — я вновь буду беспощаден. Мне не составило бы особого труда повернуть беседу в любое другое русло, но я предпочитаю говорить без обиняков. Вы отдали свою судьбу в мои руки… А знаете ли вы, в чьи руки?

— Прошу вас… — дрожащим голосом пролепетал аббат.

— Так я скажу вам: вы отдали свою судьбу в руки человека, которого не уважаете.

Лицо Дониссана побледнело до синевы.

— Которого не уважаете, — повторил Мену-Сегре. — Вы считаете, что я живу здесь, как богатый мирянин-рантье. Признайтесь, считаете? Вы стыдитесь моей полупраздности. В ваших глазах опыт, за который множество глупцов расхваливает меня, бесполезен душам верующих, бесплоден. Я мог бы выразиться еще яснее, но и этого довольно. Дитя мое, в столь сложном деле надобно пренебречь мелочной щепетильностью благо-

воспитанных господ. Верно ли я выразил ваше мнение обо мне?

При первых же словах сей необычной исповеди Дониссан возвел на грозного старца полный страха и замешательства взор и уже более не отводил его.

— Я требую ответа,- продолжал Мену-Сегре,- прежде чем выразить мнение о чем бы то ни было… Я жду от вас послушания и ответа. Вы имеете право отказаться от моей помощи. В нашем деле я могу быть вам судьей, но искушать вас отнюдь не стану. В ответ на предложенный мною вопрос скажите просто "да" или "нет".

— Мне должно ответить вам утвердительно, — сказал вдруг Дониссан спокойным голосом. — Вы подвергаете меня тяжкому испытанию — не надо продолжать.

Но тут слезы брызнули из его глаз, и последние слова Мену-Сегре едва расслышал. Несчастный священник жестоко пенял себе за робкую мольбу о снисхождении, почитая ее за слабость. Однако по недолгой внутренней борьбе он заговорил вновь:

— Я отвечал вам по долгу послушания, и, очевидно, теперь мне должно было бы ждать и молчать… Но… но я не могу… Господу не угодно,

чтобы я оставил вас в убеждении… По совести говоря, то была мысль… чувство, в котором я был не волен…

Видимо, Дониссан оправился от волнения и продолжал уже более твердым голосом:

— Я говорю так не в оправдание себе — вам ясно теперь непокорство духа моего… Волею Провидения нет более ничего во мне, что было бы сокрыто от вас… А теперь… теперь…

Он стал шарить в воздухе длинными руками, словно ища опоры, колени его подогнулись, и он рухнул ничком, как подкошенный.

— Мальчик мой! — вскричал Мену-Сегре с искренним отчаянием в голосе.

Он неумело отволок недвижное тело к дивану и с великим трудом перетащил его туда. Среди порыжелых кожаных подушек костистое лицо викария казалось бледным до синевы.

— Ну разве можно так… разве можно! — бормотал старик, пытаясь расстегнуть сутану негнущимися, подагрическими пальцами. Но обветшалая ткань первой поддалась его усилиям. Из-под разошедшегося ворота показалась грубая холщовая рубаха, испятнанная кровью.

Широкая выпуклая грудь уже дышала, мерно поднимаясь и опускаясь. Резким движением

настоятель распахнул сутану.

— Так я и знал! — проговорил он, страдальчески улыбаясь.

Тело викария от подмышек до пояса было стиснуто жестким чехлом, неловко сплетенным из самых толстых конских волос. Оба края страшной волосяной брони были так туго стянуты спереди узким ремешком, что Мену-Сегре лишь ценой больших усилий удалось развязать его. Обнажилась кожа, так воспалившаяся от причиняющего мучительную боль трения власяницы, словно ее разъело щелочью. Растертая местами до мяса, покрывшаяся волдырями величиной в ладонь, она являла вид огромной язвы, сочившейся кровянистой жидкостью. Отвратительное буровато-серое плетение было все пропитано ею. Складка кожи на боку была растерта еще сильнее, и из глубокой раны капала алая кровь. Чтобы остановить кровотечение, несчастный наложил комок трепаной конопли, и, едва сняв ее, Мену-Сегре отдернул тотчас обагрившиеся пальцы.

Викарий открыл глаза. Некоторое время он внимательно оглядывал незнакомую комнату, настороженно всматриваясь в углы, увидел настоятеля, и глаза его отразили сперва удивление, а потом крайнее замешательство. Вдруг он заме-

тил широко распахнутую на своей груди сутану и окровавленные повязки. Он резко откинулся на подушки и закрыл лицо ладонями. Но Мену-Сегре осторожным, почти материнским движением отвел руки от костистого лица.

— Мальчик мой, Всевышний доволен вами, — тихо молвил он с невыразимой нежностью.

Но тотчас в голосе его зазвучала та несколько высокомерная снисходительность, за которой он имел обыкновение прятать свое доброе сердце.

— Аббат, вы завтра же бросите в печь это ужасное изобретение, надобно придумать что-нибудь получше. Господь внушает мне не взывать к единому здравомыслию, ибо и в добре и в зле надобно немного безрассудства. Я хочу попенять вам за то, что вы умерщвляете плоть слишком уже заметно: молодому безупречному священнику должно носить белое белье… Встаньте, — продолжал дивный старец, — устраивайтесь поближе ко мне. Наша беседа не кончена, но самое трудное позади… Ну, что же вы? Садитесь здесь, я все равно вас не отпущу.

Он усадил викария в свое кресло и, продолжая говорить, словно ненароком сунул подушку под его разламывающуюся от боли голову. Затем уселся сам на низеньком стульчике, зябко натянул

шерстяное одеяло и некоторое время собирался с мыслями, устремив на огонь пристальный взгляд светлых смелых глаз, где плясали отсветы пламени.

— Дитя мое, — молвил он наконец, — в целом мнение ваше обо мне справедливо, но в одном вы заблуждаетесь. Я сужу себя — увы! — гораздо строже, нежели вы полагаете. Конец пути близок, а я так ничего и не сделал…

Он неторопливо пошевелил горящие поленья и продолжал:

— Вы удивительно не похожи на меня, вы перевернули привычные мне представления. Ходатайствуя за вас перед его преосвященством, я несколько простодушно мечтал заполучить… да, именно… молодого, не подающего особых надежд священника, лишенного природных, столь ценимых мною качеств, которого я намеревался приготовить по своему разумению к приходской службе… Видит Бог, тяжкое бремя я собирался взвалить на свои плечи под конец жизни! Но одиночество было мне слишком сладко, чтобы я мог спокойно умереть. Чадо мое, суд божий должен постигнуть нас среди трудов… Суд божий!

По долгом молчании он добавил:

— Но не я вас, а вы меня приготовляете…

Аббат Дониссан не пошевелился, даже когда прозвучало столь поразительное признание. В его широко отверстых глазах не появилось и тени удивления. Лишь по шевелению губ настоятель догадался, что викарий творил молитву.

— Они не признали наивеличайшего дара Духа Святого, — продолжал Мену-Сегре. — Они никогда ничего не признают. Господь нарекает нас, имя же, данное нам от людей, есть имя ложное… Чадо мое, дух силы обретается в вас.

Снаружи донеслись, как торжественная весть, три первых удара колокола, зовущего к заутрене, но они не слышали их. Прогоревшие головни осыпались углями в золу.

— И теперь, — говорил Мену-Сегре, — и теперь я нуждаюсь в вас. О нет! Не каждый, даже если бы он с такою же ясностью понимал все, решился бы говорить с вами так, как этой ночью говорю я. Но так нужно. Мы достигли той поры нашей жизни (каждый рано или поздно достигает ее), когда истина является нам как ослепительное озарение, когда довольно раскинуть руки, чтобы вознестись единым махом к светозарному пределу, к блистанию света божия. И тогда осторожность человеков есть единственно западня и нерассудство. Святость! — вскричал старец с

глубоким волнением. — Произнося слово сие перед вами, ради вас единого, я сознаю, какую боль причиняю вам! Вам ведом смысл его: призвание, зов. Вам должно подниматься и подниматься туда, где вас ждет Бог, либо погибнуть. Никто среди людей не поможет вам. Совершенно сознавая лежащую на мне ответственность и в последний раз испытав послушание и прямоту вашу, я полагаю, что верно поступил, державши перед вами такие речи. Усумнившись не токмо в силах своих, но и в том, что Господь отметил вас перстом своим, вы ступили на ложный путь, я же, на свой страх, наставляю вас на путь, вам предначертанный. Предаю вас тем, кто ждет вас, кому дадите пищу духовную… Да благословит вас Господь, сыне мой!

При последних словах Дониссан выпрямился, как выпрямляется бессознательно пораженный пулею воин, и рухнул наземь. Его лицо с упрямым лбом и тяжелой челюстью словно окаменело, уста безмолвствовали, и лишь взор бледных очей отражал мучительную внутреннюю борьбу. Глаза его долго блуждали, ни на чем не задерживаясь, остановились на стенном распятии, потом вперились недвижно в лицо Мену-Сегре и вдруг словно угасли. Теперь настоятель видел одну

слепую покорность, бросавшую отблеск величия на человека, в чей потрясенной душе не улеглась еще мучительная тревога.

— Я прошу позволить мне удалиться, — нетвердым голосом проговорил будущий пастырь люмбрского прихода. — Когда я слушал вас, мне казалось, что я вечно пребуду в смятении и отчаянии, но теперь все кончилось… Мне… мне кажется… что во мне есть то, на что вы уповаете… и что Господь не попустит, чтобы я не выдержал искуса.

С сими словами он вышел, и дверь бесшумно затворилась за ним.

С той поры водворился в душе Дониссана мир странный, который он сам на первых порах не дерзал постигнуть. Распались вдруг бесчисленные путы, сковывающие действие или препятствующие ему. Сей необычный человек, долгие годы плененный паутиной недоверия и малодушия, стоявших над ним, вырвался наконец на волю и расправил крылья. Он шел навстречу трудностям и преодолевал их приступом. По прошествии нескольких недель ничем более не сковываемая воля начала раскрепощать уже самый ум Дониссана. Молодой священник просиживал ночи напролет над книгами, которые

прежде закрывал в отчаянии и смысл которых постигал теперь не без труда, но с упорством, изумлявшим Мену-Сегре, как некое чудо. Именно тогда он проник в сокровенный смысл Священных книг. Знание не сразу обозначилось в его речи, по-прежнему бесхитростно будничной, но давало пищу его уму. Двадцать лет спустя он сказал как-то не без лукавства магистру Лередю:

— В тот год я спал семьсот тридцать часов…

— Как семьсот тридцать?

— Вот так, по два часа в ночь, да и то, между нами говоря, я немного плутовал сам с собой.

Наблюдая лицо викария, аббат Мену-Сегре мог следить за ходом внутренней борьбы, об исходе которой он боялся даже думать. Хотя бедняга по-прежнему трапезничал за общим столом и силился хранить на лице спокойствие, старый настоятель с растущей тревогой замечал день от дня все более заметные следы страшного напряжения воли, которого Дониссан мог наконец не выдержать. Сколь бы многомудр и проницателен ни был настоятель, а может быть, как раз от избытка одного из сих качеств, он лишь отчасти понимал причины духовного кризиса, с последствиями которого, как он опасался, уже нельзя было совладать. Слишком умный,

чтобы тратить власть бесполезными словами и тщетными призывами к благоразумию, которым Дониссан, без сомнения, не способен был внять, он искал повода для вмешательства и не находил его. Нередко умудренный опытом человек не властен над страстями, им же пробужденными в другом, и Мену-Сегре боялся сделать какую-нибудь глупость и лишь усугубить зло, от которого искал лекарства. Если бы на месте его странного питомца был кто-нибудь другой, он преспокойно ждал бы естественной реакции тела, изнуренного непосильным трудом. Но не был ли самый труд сей более лекарством, нежели злом, чем-то вроде занятия, в котором несчастный колодник исступленно ищет забвения неотступной мысли своей?

Впрочем, аббат Дониссан, по видимости, нимало не отступил от привычек своих и, как и прежде, исправлял сразу несколько дел. Каждое утро его видели восходящим быстрыми, несколько неуклюжими шагами по крутой тропинке, ведущей от дома к кампаньской церкви. Отслужив обедню и отчитав благодарственную молитву, краткость которой долгое время изумляла Мену-Сегре, он выходил на Бреннскую дорогу и, заложивши руки за спину и наклонясь всем телом вперед, неутомимо бродил по бескрайней равнине, обду-

ваемой пронизывающим ветром и пересекаемой скверными дорогами, которая спускается к морю от холмистой гряды, окаймляющей долину Канш. Редкие, далече отстоящие друг от друга хутора окружены пажитями, обнесенными колючей проволокой. Иной раз долго бредешь по скользкой холодной траве, податливо никнущей под каблуком, прежде чем доберешься до грязной лужищи, натекшей там, где землю выбила копытами скотина. Посреди лужи торчат неряшливо сколоченные из досок ворота, со скрипом поворачивающиеся на гниловатых вереях. Жилье таится где-нибудь за пригорком. Близость его угадывается по струйке голубого дыма, поднимающегося в сером воздухе, или по торчащим оглоблям телеги с сидящей на одной из них курицей. Крестьяне, народ насмешливый, наводили исподлобья недоверчивые взоры на рослого викария в подоткнутой сутане, являвшегося неведомо откуда из утренней мглы и старательно покашливавшего, приближаясь к их жилищу, чтобы выказать им дружеское расположение. Дверь неохотно приотворялась, впуская гостя, и обитатели дома, столпившись вокруг печи, терпеливо ждали, когда он наконец заговорит. Каждый с первого взгляда узнавал в нем землепашца, оставившего

соху, так сказать, блудного брата, к уважению и учтивости примешивалось снисходительное, несколько презрительное панибратство, и краткую проповедь викария слушали в убийственном молчании… О, эти мучительные возвращения поздним вечером в уже зажегший свои огни городок, когда в горле стоит горький ком стыда и сердце обречено вечно биться в одиночестве!

— Я творю больше зла, чем добра, — печально говаривал Дониссан.

Он испросил позволения прекратить на время свои обходы, которые из-за стеснительности викария выставляли его в дурацком виде и стали сущим мучением. Теперь же он вновь дни напролет ходил из дома в дом и даже настоял на том, чтобы Мену-Сегре оставил на его попечение самую унизительную заботу: сбор пожертвований на великий пост, который бедняки с уничтожающим бесстыдством называют "походом попрошаек"… "Ему и медяка не дадут", — с сомнением думал настоятель… Но каждый вечер чудаковатый проситель клал на край стола туго набитый мешок из черной шерсти. Мало-помалу Дониссан возымел над людьми ту необоримую власть, какую обретает человек, решивший идти напрямик, не заботясь о том, как бы располо-

жить людей в пользу своего предприятия. Ибо, в сущности, люди вооружаются хитростью и осторожностью, чтобы защитить себя, и наглый смех застревает в горле самого черствого человека, когда он видит, что жертва даже не пытается оградить себя от презрения.

"Хорош гусь!" — думали они, но им становилось как-то не по себе. Прежде несчастный викарий забивался в самый темный угол и, комкая шляпу в руках, долго и тщетно искал какого-нибудь удачного и ловкого предлога, томясь оттого, что никак не может вставить в беседу заранее придуманное словцо или целую фразу, и наконец уходил, так ничего и не сказав. Теперь же он слишком поглощен внутренней борьбой. Перебарывая себя, он не просто убеждает или очаровывает — он покоряет, приступом берет души. Как и прежде, он скоро шагает по двору какого-нибудь деревенского домика среди луж навозной жижи и испуганно разлетающихся кур. Тот же перемазанный карапуз, насупившись и засунув палец в рот, глядит на чужого дядю, пока тот шумно обивает у дверей облепленные грязью сапоги. Но теперь при его появлении все встают. Никто не знает, что таится в глубине этой жадной и в то же время пугливой души, отчаива-

ющейся от самого ничтожного препятствия, но вечно ненасытной. Он все тот же застенчивый до робости священник, которого простой улыбкой можно смутить до слез и который словно клещами выдирает каждое слово из своей пересохшей глотки. Но теперь это внутреннее борение никак уже более не отражается в его наружности. Лицо бесстрастно, высокий стан не гнется, лишь подрагивают долгие руки. Единым взглядом, неотступным взглядом умных тревожных глаз он отмещет пустую веселость, уклончивые речи. Он вопрошает, зовет. Самые обыкновенные, истрепавшиеся в обиходе слова постепенно обретают смысл, будят в сердце странные отзвуки. "Когда он почти шепотом, но с каким-то необыкновенным выражением произносил имя божие, у нас душа уходила в пятки, словно в небе ударял гром", — вспоминал двадцать лет спустя старый издольщик из Сен-Жиль. Никакого витийства, ничего похожего на те очаровательно-простодушные уловки, которыми станут позднее восторгаться люди пресыщенные и достоверность которых, за редкими исключениями, представляется сомнительной. Речь будущего люмбрского священника нескладна, порой он говорит сбивчиво, беспомощно ищет слов. Причина заключается в том,

что ему неведомо удобство употребления близких по смыслу слов и выражений приблизительно точных, неведомы блуждания мысли, поспешающей вослед словам и послушно, как воск, повторяющей все изгибы их. Он долго мучился от неумения сказать то, что чувствовал, от своей смехотворной неуклюжести. Но он не уклоняется более от опасности, встречает ее лицом к лицу; не страшится более унизительного молчания, когда, начав говорить, не знает, как кончить, и слова повисают в воздухе. Ему даже хочется, чтобы так было. От каждой новой неудачи лишь еще туже скручивается пружина воли отныне непреклонной. Без околичностей он приступает к предмету беседы, уповая на милость господню. Он прямо говорит то, что мыслит, и вскоре даже самые неотесанные насмешники внемлют ему, не противясь в душе, оставив намерение заведомо ничему не поддаваться. И все оттого, что невозможно представить себе, чтобы такой человек мог обмануть. Вы чувствуете, что он возвышается вместе с вами на том, пути, куда увлекает вас. Жестокая истина, поражающая в самое сердце тщательно выбранным словом, постигла его еще раньше. Вы ясно сознаете, что он вырвал ее из самого сердца своего. О нет, здесь

не найдется ничего любопытного для маститых богословов, ничего такого, что могло бы поразить их необычностью. Говорятся слова самые обыденные. Ему надо, чтобы люди просто сидели и слушали… Чайник приплясывает и свистит на печи, замызганный пес дремлет, положивши морду на лапы, на дворе гуляет ветер, дверь качается и скрипит петлями, в воздушной пустоте надсадно кричит галка… Они искоса поглядывают на него, стеснительно отвечают на вопросы, просят извинить их, оправдываясь невежеством или привычкою, и умолкают, когда молкнет он.

— Да что ж такое вы говорите нашим прихожанам? — допытывается Мену-Сегре. — Их словно подменили. Когда я говорю о вас, никто не отваживается смотреть мне в глаза.

Настоятель избегает предлагать викарию вопросы, на которые надо отвечать прямо: или да, или нет… Почему?.. Видимо, из осторожности, но также и потому, что в глубине души он боится… Чего же он боится? Благодать, низошедшая на сию смятенную душу, разбудила в ней силы столь необузданные, столь неистовые, что Мену-Сегре попросту растерялся. С той достопамятной ночи под рождество, когда кампаньский настоятель держал такие смелые речи, он не дерзает более

возобновлять разговор, при воспоминании о котором ему всякий раз становится неловко. К тому же викарий все так же прост, так же послушлив, неизменно и безупречно почтителен. Никто из близко знакомых с ним собратьев не заметил в нем сколько-нибудь заметных перемен. К До-ниссану относятся с прежней, несколько пренебрежительной снисходительностью, хвалят за усердие и благочестивость. Духовник викария, из прихода Ларье, добрый старичок сен-сюльписской закваски, исповедовавший его по четвергам, не заметил решительно ничего необычного, никаких тревожных признаков. Но как раз это обстоятельство, которое, казалось бы, должно было успокоить Мену-Сегре, огорчает его до совершенного расстройства.

Разумеется, он не единожды пытался укрепить свою пошатнувшуюся власть с помощью какой-нибудь хитроумной уловки, что-нибудь предлагал, советовал или требовал чего-нибудь с тайной надеждой услышать хотя бы одно возражение. Он готов был склониться перед более вескими доводами, лишь бы кончилось невыносимое молчание! Но и эта хитрость разбивается о смиренную покорность Дониссана. Стоит Мену-Сегре о чем-нибудь заикнуться, как викарий

уже готов повиноваться. Тщетно настоятель, жестокий мудрец, испытует то терпение, то робость несчастного Дониссана, неожиданно предлагая ему, например, возобновить воскресные проповеди после того, как сам на долгое время освободил его от них. В урочный день викарий, без единого упрека на устах, торопливо собирает листки, исписанные корявым мужицким почерком, поднимается на кафедру и без кровинки в лице на протяжении двадцати убийственно долгих минут толкует, ни на кого не глядя, подходящее к случаю писание из Евангелия, запинается, заикается, оживает мало-помалу, с отчаянным упорством сражается с собой и под конец начинает говорить с каким-то жалким, почти мучительным красноречием… Каждое воскресенье он неизменно появляется на кафедре, и всякий раз, как проповедь кончается, по рядам кресел бежит ропот, которого он один не слышит, словно глубокий, ни на что не похожий вздох, когда разряжается вдруг напряжение слушателей, очарованных колдовскою властью…

— Теперь дело идет лучше, — говорит после службы настоятель, — но все это еще настолько неопределенно… настолько смутно…

— Увы! — сокрушенно вздыхает аббат, и лицо

его кривится, как у готового заплакать ребенка.

За обедом у него еще дрожат руки.

Тем временем Мену-Сегре принял еще более важное решение, широко распахнув перед викарием двери исповедальни. В тот год настоятель Обюрденского округа взял на себя устроение покаянных собраний, где должны были проповедовать братья Марист, однако один из братьев заболел гриппом и вынужден был в первый же день страстной недели возвратиться в Валансьен. Тогда-то настоятель стал просить своего собрата из Кампани уступить ему аббата Дониссана:

— Он молод, трудолюбив, годен на всякое дело…

До того дня, следуя совету отца Дониссана, много толковавшего с ним о своем питомце, Мену-Сегре весьма умеренно использовал викария для исповедания кающихся. По неведению отец миссионер совершил вполне простительную оплошность, возложив часть своих обязанностей на будущего люмбрского священника, который теперь с четверга до субботы не выходил из исповедальни. Обюрденский округ, находящийся на самой окраине горняцкой области, простирается на обширное пространство. Тем не менее покаянные собрания имели огромный успех. Ра-

зумеется, никто из священников, облачившихся в великолепные белые стихари и собравшихся в день пасхи на хорах в то время, как являвшиеся несметными толпами верующие преклоняли колена у стола причастия, даже не взглянул на молчаливого молодого викария, впервые среди мрака и молчания отдавшего себя во власть своего повелителя-грешника, чьим слугою ему суждено было оставаться до конца дней своих. Никогда и никому не говорил аббат Дониссан о мучительном волнении или, быть может, неизъяснимой сладости, испытанной им при решающей встрече… Но когда Мену-Сегре вновь увидел его вечером пасхального дня, он был так поражен отрешенным, самоуглубленным видом Дониссана, что тотчас с необычной суровостью приступил к нему с расспросами, и немногословный ответ несчастного викария отнюдь не рассеял его тревоги.

Тем не менее одно замечание, много позднее слетевшее с уст аббата Дониссана, бросает странный свет на сию пору его жизни. Однажды в разговоре с г-ном Грозелье аббат признался:

— В юности я не понимал, что есть зло, и познал его лишь через покаянные речи грешников.

Так миновала неделя за неделей, жизнь вновь

обретала свою мирную размеренность, ничто не давало повода к особому беспокойству. Молчание, хранимое Дониссаном со времени последнего разговора в рождественскую ночь, причиняло Мену-Сегре жестокое разочарование, а покорность, подчеркнуто безропотная кротость викария отнюдь не избавили настоятеля от горького осадка какого-то недоразумения, причин которого он сам не понимал. Да и было ли то простое недоразумение? День ото дня бремя непостижимого страха все более гнетет многоопытного и многомудрого старца, отлично хорошо изучившего предательскую обманчивость внешних знаков. Взрослое дитя, всякий вечер опускающееся перед ним на колена, дабы получить благословение и удалиться в свой покой, ведает его тайну, ему же не ведома Дониссанова. Сколь бы пристально ни наблюдал викария Мену-Сегре, он не мог заметить какого-либо внешнего выражения униженной гордости или уязвленного тщеславия, мучительного внутреннего разлада, борения между верой и отчаянием, томления духа, знаки коего всегда столь очевидны… И все же… "Ужели навеки смутил я дух сей? — вопрошал он себя порою, стараясь поймать избегающий его взор. Чист ли пожирающий его внутренний огонь?

Поведение его примерно, безупречно. В благочестии своем он пылок, труды его не остаются праздны, и церковь видит уже пользу от него… За что же пенять ему? Сколь многие почли бы за счастие встретить старость, черпая духовную крепость в таком человеке! Обликом походит на святого, но что-то в нем отталкивает, возбуждает недоверие… Нет в нем радости…"

Но радость была ведома Дониссану. Радость не быстролетная, изменчивая, то бьющая через край, то сякнущая вдруг, но непреходящая, непременная, неизбывная, как бы необоримая, подобная особливой жизни в жизни обычной, все более сильному ощущению новой жизни в себе. Сколь бы отдаленное прошлое ни приводил он на ум, память не сохранила ничего похожего на то, что происходило с ним теперь. Он не мог даже вспомнить, чтобы когда-либо предчувствовал это состояние или желал его. Даже теперь он наслаждался им с боязливой жадностью, словно погибельным сокровищем, которое неведомый владелец заберет с минуты на минуту и без которого жить уже невозможно.

Ничто во внешнем мире не предвестило сей радости, и казалось, что она будет длиться столь же непостижимо, как возникла, неведомо чем пи-

таемая, подобная свету, источник коего незрим, и всякая мысль канет в нее и глохнет, точно вопль единый под необъятными небесами, не могущий вырваться из первого круга безмолвия… То случилось в ночь, избранную кампаньским настоятелем для необычного испытания, в исходе рождественской ночи, при первом проблеске дня, в спальне, куда скрылся со смятенной душой несчастный викарий. Некая серая мгла, которую едва ли можно было назвать рассветом, вставала за окном, и в ней начинала брезжить бескрайняя, запорошенная снегом равнина. Стоя на коленях перед разобранной постелью, он вновь и вновь вспоминал сказанное во время того необычного разговора, пытаясь постичь смысл, но всякий раз, как в памяти всплывало вдруг с поразительной ясностью и точностью какое-нибудь слово, мысль его останавливалась со всего разгона. И он отчаянно боролся с новым, еще более опасным искушением. Тревога томила его, ибо он не ведал, в чем заключается опасность.

Святость! В своем величавом простодушии он решил покориться чужой воле и вознестись вдруг от самого низа на высоту. Он смиренно ждал своей судьбы.

"Вам должно подняться на высоту, куда зовет

вас Господь",- сказал старец. Его позвали. "Вознестись либо погибнуть!" Он погиб. Убеждение, что он недостоин такой судьбы, было столь незыблемо, что слова молитвы и те замирали на его устах. Воля господня пала на его бедную душу бременем нечеловеческой усталости. Нечто еще более сокровенное, чем даже самое жизнь, цепенело в нем. Ни пожилому живописцу, найденному мертвым у начатого полотна, в чьих глазах застыла тоска по недостижимому шедевру, ни безумцу, отбивающемуся, лепеча несвязные речи, от осаждающих его страшных видений, подобных вырвавшимся на волю диким зверям, ни ревнивцу, которому завязали рот и которому дано лишь взглядом выразить всю ненависть свою, когда насильник у него на глазах оскверняет разодранную плоть любимой женщины, не вонзалось столь глубоко в грудь предательское острие — тонкое жало отчаяния. Никогда еще несчастный не видел свою сущность более ясно (так казалось ему), не судил о себе более беспристрастно. Невежественный, трусливый, нелепый, на всю жизнь окованный подозрительной, узколобой благочестивостью, замкнувшийся в себе, не умеющий найти дорогу к чужой душе, одинокий, бесплодный умом и сердцем, неспособный

творить добро с расточительной щедростью, совершать великолепно неосторожные поступки — удел великих духом, самый заурядный среди людей. Увы! Не есть ли то, что наставник отличает в нем, остаток богатства, некогда дарованного и расточенного праздно? Омертвелые семена уж не прозябнут. Однако они были посеяны. В его уме толпятся воспоминания о детских годах, столь странно связанных с Богом, и о грезах, тех самых грезах, — о, бессильное отчаяние! — которые страшили его своей опасной сладостью и были мало-помалу заглушены усердною молитвою. Стало быть, он внимал тогда незабвенному голосу, звучащему лишь недолгие дни, прежде чем настанет великое безмолвие. Сам не ведая того, он бежал протянутой ему руки господней, самого укоризненного лика его, а потом не хотел слышать последнего зова, едва слышно, как слабый вздох, донесшегося из-за холмов. С каждым новым шагом он все далее вступает в землю изгнания, но по-прежнему несет на челе своем печать, замеченную служителем Бога.

"Я мог бы… Я должен был…" Страшные слова! Если бы он хотя на миг одолел их власть над собою, он вновь стал бы господином себе — так побежденный герой диктует близким свои вос-

поминания, без конца считает и пересчитывает и воскрешает прошлое, дабы заглушить будущее, еще не погибшее в его сердце. Крепкие духом во всем доходят до крайности. Едва преступлена некая черта, как несокрушимое здравомыслие обращается ярым нерассудством. Человек, который в продолжение сорока лет будет обращать к заблудшим взор Иисуса Христа, чьей веры не возмогут поколебать даже самые закоренелые в неверии, который подобно Схоласту, успел в столь многом оттого, что более других любил, настолько пал духом в тяжкий час, что не мог даже возвести очей к распятию, дающему силу всепобедительную. Ему даже не пришла на ум простая мысль сия — наипервейшее помышление всякого христианина, очевидно, неотъемлемое от свойственного нам чувства беспомощности и смирения истинного.

"Мы праздно иждили благодать божию, — твердил внутри него чужой, но удивительно похожий на его собственный голос, — есьмы осуждены и прокляты… Меня уже и нет вовсе — я мог бы стать!"

По миновании двадцати лет священник люмбрского прихода со слезами на глазах говорил отцу де Шарра, будущему аббату трапперской общины

в Эгбаль, горько сетовавшему перед ним на постигшее его духовное одиночество, заронившее в нем даже сомнение в спасении души:

— Прошу вас, замолчите!.. Вы не знаете, сколь сильно действуют на меня иные слова. Даже на смертном одре, даже в руце божией мне нельзя будет слышать их безнаказанно.

И когда святой отец стал настаивать, просить, чтобы его выслушали, взывая к чувству милосердия к ближнему, Дониссан порывисто встал с места: взор его блуждал, рот сжался и отвердел, рука судорожно ухватилась за спинку соломенного стула.

— Молчите! — громко сказал он таким голосом, что пораженный гость его окаменел. — Я приказываю вам молчать!

Некоторое время он безмолвствовал, все еще бледный и трепещущий, потом привлек себе на грудь голову отца де Шарра, охватил ее дрожащими руками и молвил с трогательным волнением:

— Чадо мое, истинная сущность моя порою выходит наружу… Несчастные души ищут утешения у еще несчастнейшей! Мне выпали испытания, о коих не дерзаю никому говорить, боясь, как бы люди, в непостижимой ко мне снисходительности, не нашли в моих несчастьях нового повода к

славословию… Мне так нужно, чтобы за меня молились, но вместо молитв слышу одни похвалы!.. Просто они боятся извериться во мне.

Настал день. В печальном свете декабрьского утра стал виден беспорядок убогого жилища: некрашеный дощатый стол, заваленный книгами, придвинутая к стене койка, откуда свешивалась до пола простыня, ужасные выцветшие обои… Некоторое время бедняга озирал столь близко обступившие его стены казалось, они давили ему грудь — и вдруг в невыразимом ужасе вскочил на ноги, чувствуя, что руки его ослабели, а на лбу выступила ледяная испарина. Его пронзило страшное ощущение, какое испытывает человек, попавший в западню, бегущий по коридору, откуда нет выхода.

И тут опустилась тишина.

Так бывает, когда по несметному людскому скопищу прокатывается гул и все вдруг замирает в напряженном ожидании. Низкий ропот, постепенно стихая, какое-то время еще колышет воздух, и вот огромное живое море только что полное тысячеголосого шума, погружается внезапно в молчание.

Так и чудовищная разноголосица, сатанински гремевшая, свиставшая и скрежетавшая в душе

Дониссана, смолкла разом. Искушение не ослабело — оно исчезло. Когда Дониссан уже изнемогал, препятствие, которое силилась сокрушить воля аббата, неожиданно перестало существовать, и чувство внезапной легкости было столь поразительно, что несчастный ощутил его всем телом, как если бы провалился вдруг в пустоту. Но последнее испытание длилось лишь краткий миг, и человек, совсем недавно бившийся отчаянно под все отягощавшимся бременем, пробудился с душою более легкой, чем у малого дитяти, и чувствовал столь блаженную пустоту, что исчезло, казалось, самое ощущение жизни. То не был душевный покой, ибо покой есть просто равновесие сил, из коего возгорается вера в себя. Обретший мир ничего более не ждет, а Дониссан ждал чего-то, что нарушило бы безмолвие. Не было то и отдохновением истерзанной души, достигшей последней степени муки людской, ибо Дониссан желал большего. Не было то и крушением великой любви, ибо когда расточатся узы, пленившие существо человека, сердце в нем еще живо и хочет давать более, нежели получает… Он же не хотел ничего — он ждал.

Вначале он ощутил вкрадчивую неуловимую радость, — словно проникнув извне, она овладе-

ла им мгновенно и более не оставляла, рождая в нем чувство почти досадливое. Чего опасаться, чего ждать от неясной, расплывчатой мысли, от желания невесомого, как летучая искра? И все же, подобно тому как дирижер чутко уловляет в бушевании оркестра первую, едва слышную дрожь фальшивой ноты, но уже не в силах отвратить грядущего взрыва, викарий не сомневался в том, что неведомое, которого ждал, уже случилось.

Через запотелые стекла едва очертивший-ся окоем виделся мглистым, а в комнатушке викария зимний рассвет стоял недвижно молочным, исполненным безмолвия сиянием, словно сочащимся сквозь воду. И Дониссан постиг с неколебимой уверенностью, что радость сия есть нисшедший на него Дух. И едва отступила мучительная тревога, на ум снова стали приходить мысли, столь недавно еще рождавшие ее, но даже самые эти мысли не могли более причинить ему страдания. Вначале он ужаснулся, потом стал с боязливой осторожностью ворошить их в уме, наконец, дал памяти волю и с упоением ощутил, что они все более покорны ему, послушны, стали смиренными прислужницами его неизъяснимой отрады. И в мгновенном озарении он увидел себя способным к любому свершению, уже достигшим

головокружительных высот. Незримая десница единым махом столь высоко вознесла его из глубины бездны, где, казалось ему, он обречен был быть прикован навеки, что все его сомнения, отчаяние, самые заблуждения явились вдруг преображенными, возвеличенными. Он ступил за пределы мира, где каждый шаг вперед стоил мучительного напряжения, и теперь мета стремления его близилась с быстротою молнии. Все это ослепительно вспыхнуло перед его мысленным взором, и когда видение погасло, все вновь словно подернулось мглою, но отныне он жил и дышал, ослепленный тем благостным светом, и мелькнувшее перед ним и тотчас угасшее видение оставило по себе не убеждение, не жажду неутолимую, которая, как он сам понимал, сокрушила бы ему сердце, но предчувствие неисповедимое. Вознесшая его рука лишь едва отстранилась, она была рядом, готовая поддержать в любое мгновение, она не оставит его более своей помощью… Ощущение таинственного присутствия было столь сильно, что он быстро оглянулся, словно надеясь встретить взгляд друга. Но в радости есть нечто такое, чего не может заглушить пьянящий его восторг. Это нечто мешает ему, раздражает, оно похоже на последнюю узу, которую он не

решается порвать… Ибо когда связь пресечется, куда увлечет его поток?.. Порою уза ослабляется, и, подобно кораблю, ныряющему и рвущемуся на якорной цепи в бурную погоду, все существо его всколыхивается до самых глубин… Просто уза, не преодоленное еще препятствие? Нет, то, что противится в нем, не есть слепая сила. Оно чувствует, наблюдает, рассчитывает. Оно в борьбе отвоевывает себе место. Уж не сам ли он это нечто? Не пробуждается ли медленно в нем оцепеневший рассудок?.. Как удивительно точно выразился апостол, сказав, что предел радости положен разделением души и ума! Нельзя преступить сего предела и остаться живу.

Повернув голову, Дониссан вместо дружеского взора увидел лишь отражение своего бледного искаженного лица в зеркале. Он сразу опустил глаза, но было поздно. Он застиг врасплох самого себя в сем невольном движении и теперь пытался разгадать его смысл. Чего же он хотел? Сие вещественное воплощение тревоги, до той поры оставшейся неясным, неопределенным чувством, страшит его почти так же, как если бы нечто бесплотное обрело вдруг ощутимые, зримые черты. Теперь он не просто ощущает некую разлитую окрест себя сущность, но восприемлет

ее как нечто совершенно определенное, хотя словами неизъяснимое. Он более не один… Кто же рядом? Едва закравшись, сомнение всецело овладевает им. Первым его движением было броситься на колени и молиться. Но слова молитвы по-прежнему не идут с уст. Поверженный не вознесет смиренной мольбы о помощи, ибо не внял предостережению свыше. Вставшая на дыбы воля вырвалась из направлявшей ее десницы, и овладевает ею рука иная, не ведающая ни жалости, ни пощады. О, сколь силен и проворен тот, другой, сколь терпелив, покуда должно ждать, но реет, подобно молнии, когда настал его час!

Придет день, и люмбрский святой узрит лик врага своего. Теперь же он не выдержал первого нападения неведомого противника, получил первый удар от него. Какой стала бы жизнь сего удивительного человека, прошедшая вся в ожесточенном борении и закончившаяся столь печальной смертью, когда бы, отказавшись от сопротивления, он сразу воззвал к милосердию, взмолился о помощи? Стал бы он тогда в один ряд со святыми, чьи имена стали легендой, кроткими правителями земли, улыбающимися царственно-детской улыбкой?.. Но зачем гадать? В решающий час он принял бой, движимый не

самолюбием, но неукротимою отвагой. Ярость перед лицом супостата возгорается в нем не от страха, но от ненависти. Он рожден для ратных дел, и всякий поворот на его пути будет обильно полит кровью…

Но загадочная радость все теплится, лишь едва потускнев, как бы у крайнего предела сознания, словно слабый огонек, раздуваемый ветром… Против нее — о, безумство! — он и обратится теперь. Иссохлая душа, не ведавшая иной отрады, нежели безмолвие и смиренная печаль, сперва дивится, потом устрашается и, наконец, воспаляется гневом перед сей непостижимой сладостью. На первой ступени сверхъестественного вознесения у несчастного закружилась голова, и мужество оставило его, и он будет усиливаться, дабы избавиться от безвольной сосредоточенности, нарушить внутреннее безмолвие, кажущаяся праздность которого приводит его в растерянность. С каким искусством увертывается тот, кто столь ловко проскользнул между ним и Богом! Как проворно наступает, и отступает, и вновь теснит, осторожный, прозорливый, бдительный!.. Как точно ставит ногу в собственный след!

Бедному священнику еще только чудится западня, а страшные челюсти уже стиснули его и от

каждого нового порыва сжимаются еще крепче. Слабый огонек дразнит его в сумраке наступающей ночи… Дониссан бросает вызов, почти призывает всепроникающую, чудесным образом рассеявшуюся тоску. Не лучше ли уверенность, пусть даже в грядущей беде, нежели смятение замешкавшегося на распутье, в предательском мраке ночи? Беспричинная радость может быть только обманом. Столь сокровенная, глубокая, гнездящаяся в самых глухих тайниках души и столь внезапно возникшая надежда — надежда беспредметная, неопределимая — слишком похожа на самодовольство гордыни… Нет, милость божия не может быть столь пленительно-чувственна!.. Он должен истребить радость сию!

Едва решение было принято, он не колебался более. Мысль о жертвоприношении, которое должно свершиться тут же, сей же час, вздувает в ней иной огонь — пламя бесстрашного отчаяния, составлявшего силу и слабость сего поразительного человека и оружие, которое Дьявол столько раз еще вонзит ему в сердце. Исполненное теперь ледяного спокойствия лицо Дониссана сообщает его угрюмым глазам выражение готовности к расчетливому самоистязанию. Он подходит к окну, открывает его. Прихотью одного из пред-

шественников аббата Мену-Сегре выломанный железный прут, некогда перегораживавший оконный проем, был заменен бронзовой цепью, извлеченной из недр какого-нибудь ларя в церковной ризнице. Могучими руками Дониссан срывает ее с гвоздей, которыми она прикреплена на концах. Через мгновение необычный бич со свистом обрушился на его обнаженную спину.

О редкостных и своеобразных способах умерщвления плоти, к коим прибегал священник люмбрского прихода, можно лишь гадать по случайно оброненному слову, свидетельству немногочисленных людей, близко знавших Дониссана, или отдельным смутным признаниям, ибо святой отец держал все в строжайшей тайне. Нередко и лукавством сбивал он с толку любопытствующих, и какой-нибудь нашумевший писатель-человеколюб (как они сами изволят выражаться), нарочно приехавший ради такой диковины, отправлялся восвояси совершенно обмороченный. И если нам более или менее хорошо известны некоторые из употреблявшихся им приемов, например, посты, которых ужасающая строгость превосходит человеческое разумение, он унес в могилу тайну других, много более лютых самоистязаний. Последнюю свою просьбу

он обратил к одному из друзей, моля его сжалиться над ним и не звать врача. Бедная девица, ухаживавшая за ним и впоследствии ставшая игуменьей, известной под именем Марии Ангельской, а в те поры нанимавшаяся прислугой к обывателям городка Брес, сказывала, что низ шеи и плечи отца Дониссана были изборождены рубцами, из коих некоторые выпячивались валиком в мизинец толщиной… Еще доктор Леваль, во время одного из первых припадков неистовства у Дониссана, обнаружил на его боках глубокие рытвины от старых ожогов. Когда он мягко выразил свое удивление сим обстоятельством, святой промолчал, залившись краской смущения.

— И я делал глупости в свое время, — сказал он однажды аббату Даржану, когда тот читал ему из жития отцов пустынников.

И в ответ на вопросительный взгляд собеседника заметил, стеснительно и в то же время простодушно-лукаво улыбаясь:

— Молодость, знаете ли, не ведает сомнений, — ей надо дать перебеситься.

Теперь же, вставши в изножии узкой койки, он неутомимо, с холодным бешенством хлестал себя цепью. После первых ударов на вздувшейся коже выступило лишь несколько алых капель,

но вдруг кровь хлынула ручьем. С каждым новым взмахом руки цепь, изогнувшись на миг над его головой, со свистом впивалась ему в бок, виясь гадюкою. Он отдирал ее от тела и вновь расчетливо-мерно взметывал над собой, словно крестьянин, молотящий цепом снопы на гумне. Пронзительная боль, вначале исторгавшая из его груди глухие стенания, а потом лишь глубокие вздохи, словно гасла в потоках теплой крови, сбегавших по спине и рождавших в нем чувство мучительного упоения. У ног натекала рыжевато-бурая лужа, но он ничего не видел. Его помутившийся взор устремлялся сквозь розовую пелену к бледно-синему небу. Но вот исчезла красноватая мгла, а вместе с нею и запорошенная снегом грязь, и самый свет дня. Но он все хлестал и хлестал в этой внезапно наставшей мгле, — он готов был засечь себя до смерти. Мысли в голове, словно оцепеневшие от лютой телесной боли, ни на чем определенном более не задерживались, и было в нем лишь одно желание: разить и истреблять в мерзкой плоти своей самые корни зла. Каждое новое уязвление рождало другое, еще мучительнейшее, но ему все мало было, ибо достиг того исступления, когда обманувшийся в любови своей всю силу ее обращает к разрушению. Быть

может, он надеялся сокрушить и отторгнуть непомерно тяжкую часть своего существа, бремя нищеты человеческой, что не поднять горе? Или хотел покарать бренное тело, коего и апостол желал избыти? Но искушение только глубже проникало ему в сердце, и он ненавидел всего себя. Ненавидел, как может ненавидеть жизнь человек, чья мечта погибла… Но в руке своей он сжимал бесполезное орудие, праздно терзавшее плоть его.

Между тем, смежив веки, обливаясь потом и кровью, он бичевал себя неустанно, и, без сомнения, лишь неизъяснимая ярость еще давала ему силу держаться на ногах. В ушах тонко звенело, словно он камнем падал в глубину воды. Два или три раза он видел сквозь крепко сомкнутые веки мгновенные вспышки высоко взлетавшего пламени, потом сердце заколотилось в висках с такой силой, что голова задрожала от ударов, отзывавшихся в ней резкой болью. С каждым ударом стиснутая в окостенелых пальцах цепь становилась все изворотливее и злее. Она летала с легким посвистом, удивительно проворная и коварная. Никогда уже с тех пор тот, кого нарекли люмбрским святым, не отваживался попирать столь неустрашимо законы природы, никогда

более не бросал ей вызова столь дерзновенного. Вся поясница превратилась в жгучую рану, в кровавое, несчетное число раз изрубленное месиво, пузырящееся алой пеной, но боль от бесчисленных ран сливалась в единую муку — всеобъемлющую, невыразимую, хмельную, подобную судороге глаз, ничем не защищенных от яркого солнца, когда зрачок ничего не видит, кроме слепящей боли… Неожиданно слишком рано вздернутая цепь извилась в воздухе, едва не вырвавшись из руки Дониссана, и жестоко хлестнула его по груди. Последнее звено ее ударило под правый сосок с такой силой, что стесало кусок мяса, как рубанок стружку. Дониссан пронзительно вскрикнул не столько от боли, сколько от неожиданности, но тотчас, подавив вопль, вновь занес бронзовый бич. Глаза его пылали уже неземным огнем. Лютую ненависть, что питал он к себе, ничем нельзя было бы утолить в мире бренном, и если бы, дабы изгасить пламень сей, собрали воедино всю кровь людскую и разом излили ее, она оказала бы не более действия, нежели капля воды, упавшая на докрасна раскаленное железо… Но когда он, в который уже раз, опускал занесенную руку, пальцы разжались сами собою и рука упала без сил. В то же

мгновение спина его согнулась, и все мышцы тела разом расслабились. Медленно опустился он на колена, огромным усилием пытался встать, вновь пошатнулся, протянул перед собой руки, подобно слепцу, содрогаясь от лихорадочного озноба. Тщетно пытался он добраться до окна, до бледного света в нем, который видел, не узнавая, сквозь полусмеженные вежды. От страшной битвы осталось в сознании лишь неясное, смутно брезжившее воспоминание, словно полузабытый сон. Так человек, проснувшийся поутру в умиротворенном, сосредоточенно-бодром настроении, ощущает в глубине души какое-то смутное беспокойство, оставшееся от страшного сновидения, словно некую неосязаемую, невыразимую сущность… Дониссан сел в изножии кровати, голова его покатилась, и он уснул.

Когда он проснулся, комната была озарена солнцем. Он услышал колокольный звон, летящий в прозрачных небесах. Часы показывали девять. Долгое время его внимание занимало солнечное пятно на стене, потом он медленно обвел покой взглядом и с удивлением увидел большое блестящее пятно на еловых половицах и брошенную поперек цепь. И тут детская улыбка осветила его лицо. Свершился ужасный труд, и теперь все

кончено. Дело сделано. Минувшее безумство не оставило на сердце горечи, и по мере того, как в памяти вставали подробности, он гнал их прочь, не испытывая ни любопытства, ни гнева. Мысли его витали далече, в осиянном дивным светом пределе! Он чувствовал в себе такой покой и такую ясность духа, каких не знал доселе, и в то же время удивительную отрешенность от прошлого. Угнетенность, своего рода полуоцепенение, в каком он пробудился, уже рассеялась. Последние покровы спали, он постигал собственную сущность, исследовал себя взором прозорливым и пристальным, но с какой-то сверхчеловеческой отчужденностью.

Солнце стояло уже высоко. По дороге, скрипя ступицами, катился богренанский дилижанс. В садике слышался голос аббата Мену-Сегре, ему отвечала его домоправительница Эстелла… Дониссан напряг слух и дважды услышал свое имя. Непроизвольно он вскочил с койки, но, едва ступни ног коснулись пола, его опоясало такой нестерпимой болью, что он застыл посреди комнаты, с трудом сдерживая рвущийся из глотки крик. Чары мгновенно рассеялись. Что он сотворил над собой?

Какое-то время, согнувшись в три погибели и

не трогаясь с места, он пытался собраться с духом для нового усилия — второго шага, которого вся его трепещущая плоть ждала, как пытки. В настольном зеркале отобразился его наводивший ужас облик… Бока под висевшей лоскутами рубахой казались сплошной раной. Ссадина под грудью еще кровоточила. Но покрытую еще более страшными рубцами спину и поясницу пекло нестерпимо, словно огнем, и когда он попытался поднять руку, ему показалось, будто кончик пламени опалил ему самое сердце… "Что я наделал? — шептали его губы. — Что я наделал?" Еще более его удручало то, что в скором времени, сию минуту, ему придется выйти к аббату Мену-Сегре, что не миновать переполоха, что к нему пришлют врача, и многие другие картины, рисовавшиеся его воображению. Но ни разу этому поразительному человеку не пришло на ум сослаться в свое оправдание на пример тех служителей бога, которых тот же священный ужас понуждал терзать собственную плоть. Одна мысль вертелась в его голове: "Еще шаг, и раны откроются… Придется звать на помощь".

Опустив глаза, он увидел, что его грубые сапоги стоят в луже крови.

— Аббат! — послышался за дверью спокойный

голос. — Аббат!

— Да, господин настоятель? — отвечал он с тем же спокойствием.

— Мальчик мой, скоро в последний раз ударят к обедне. Пора, давно пора собираться!.. Уж не захворали ли вы?

— Подождите, пожалуйста, немного, я сейчас буду готов, — проговорил Дониссан тем же ровным голосом.

Решение было принято, жребий вержен. Как удалось ему, стиснув зубы, сделать еще один, решительный шаг к лохани, где он намочил жесткое холщовое полотенце? Каким чудом претерпел без единого звука мучительную боль в спине и боках, когда омочил раны ледяной водой? Как удалось ему обернуть истерзанное тело двумя старыми рубашками? Ему нужно было еще крепко стянуть их, чтобы остановить кровь, сочившуюся по капле, и с каждым движением складки ткани вдавливались все глубже. Он отмыл пол, потаил окровавленное белье, почистил щеткой обувь, навел в комнате порядок, сошел по лестнице и перевел дух только на дороге, где, по счастью, никого не встретил, ибо ему не удалось бы скрыть от Мену-Сегре лихорадочную дрожь, от которой его трясло так, что стучали зубы.

Зимний ветер хлестал его по щекам, и Донис-сан чувствовал, что глаза его горят в глазницах, как два пылающих угля. Сквозь студеное пространство, где носилась, сверкая разноцветными искрами, снежная пыль, он упорно глядел на осиянную колокольню. Празднично одетые четы кланялись ему по дороге, но он не замечал их. Чтобы преодолеть триста шагов, отделявшие его от церкви, ему пришлось двадцать раз призвать на помощь всю силу своего духа, но шел он все тем же мерным шагом, так что никто и понятия не имел, какая битва разыгрывалась в его душе, сколь расточительно он тратил силы, пригоршнями черпая их в недрах существа своего, тратил безвозвратно, ибо точною мерою отпускается всякому сущему на земле. У ворот небольшого погоста его кованые башмаки скользнули на кремнистой дорожке, и лишь сверхчеловеческим усилием ему удалось удержаться на ногах. До церковных дверей оставалось каких-нибудь двадцать шагов. С великим трудом он преодолел это расстояние. Но надо было еще добраться до низенькой дверцы ризницы через колыхавшееся перед его померкшим взором пространство, рябящее черными и белыми клеточками… В ризнице его ждет новое испытание. Здесь едко

пахнет смолой, ладаном и пролитым вином, вокруг копошащийся и жужжащий рой мальчиков из хора в красно-белых одеждах. Смежив веки, бормоча уставные молитвы и чувствуя горечь во рту, он бессознательно берет один за другим священнические наряды. Завязывая тесемки рясы, он застонал, и стон неслышно клокотал в его горле, пока он шел к алтарю. Бесчисленные и разнообразные звуки за его спиной отражаются от стен и летят под самые своды, сливаясь там в единый ропот — гулкая пустота, куда он бросит вступительные слова проповеди, простерев перед собою руки… Нащупывая ногами опору, он поднимается на три ступени и обращает взор к распятию.

О вы, познавшие от всего богатства мира лишь бесплотные краски и звуки, чувствительные сердца, томные уста, где горькая истина тает, как шоколадная начинка, слабодушные, изнеженные — зрелище сие не про вас! Ваше представление о кознях Дьявола под стать вашим слабым нервишкам, изнеженным мозгам, и Сатана нелепых обрядов ваших есть лишь ваш собственный искаженный образ, ибо набожный мирянин есть сам себе Сатана. Чудище склабится, глядяще на вас, но не вонзило емей своих. Его нет в ваших

суесловных книгах, в ваших богохульствах и нелепых проклятиях. Нет его и в ваших алчных взорах, в коварных руках ваших, в слухе вашем, где множится праздная молвь. Тщетно ищете вы его и в самой тайной плоти своей, обуянной жалким и неутолимым вожделением, и из губ, куда вонзаете вы зубы, сочится лишь пресная водянистая кровь… Но он существует… Он сущ в молитве скитника, в посте его и покаянии, в самозабвенном упоении и в безмолвии сердца… Им отравлена вода очистительных омовений, он горит вместе с воском священных светильников, излетает с дыханием девственниц, терзает плоть с власяницею и бичом, сбивает людей со всякого пути. Он приводил ложь на уста, едва отверстые ради слова истины, преследовал блаженного, возносящегося на небеси среди громов и молний, и не отставал, даже когда сам Господь принимал его в свои объятия… Зачем оспаривать у земли неисчислимых человеков, пресмыкающихся на ней, подобно скотам, если она поглотит их завтра? Стада темных разумом сами бредут навстречу уготованной им судьбе… Святых избрал он жертвой в злобе своей.

И тогда он обращает взор к распятию. Он не молился со вчерашнего дня и теперь скорее всего

не творит молитвы. Во всяком случае, не слова смиренного прошения поднимаются к его устам. Слишком долго противостоял он недругу в великой ночной битве, отвечал ударом на удар: воин, сражающийся насмерть ради самого живота своего, вперяет взор перед собой, но не обращает с надеждой к небесам, струящим безучастный свет равно на доброго и на злого. В измученном уме его теснятся воспоминания, но все сходятся воедино, подобно лучам света в увеличительном стекле, и рождают муку единую. Он обманулся или разочаровался во всем. Всюду грозит ему либо западня, либо позор. Из заурядности, где он томился, оставив всякую надежду, слово Мену-Сегре вознесло его на такую высоту, что падение было неминуемо. Не лучше ль было оставаться бесконечно одиноким, всеми на свете забытым, чем изведать предательскую радость? О, горечь разочарования поверившего на миг в бесконечную любовь к нему и возликовавшего! О, исступление вероломства! О, усмешка, о, лобзание предательства! Во взгляде, упорно устремленном — ни единого слова, ни единого вздоха — на бесстрастного Христа, отобразилась слитно вся одержимость сего неистового духа. Так глянет вдруг в высокое озаренное окно пиршественной залы недоброе лицо

нищего. Всякая радость есть зло, — говорит сей взгляд, — всякая радость от Лукавого. Никогда не стану достоин божественного избрания, понеже прельщается единственный друг мой. Не соблазняй более и не мани! Да пребуду в ничтожестве моем, да останусь послушною глиною в руцех твоих творящих. Ибо не алчу славы, ниже ищу радости! Самое надежда не надобна мне. Что могу дать? Что остается мне? Надежда единая. Возьми же ее! Отними! Когда бы я мог поступить так, не возненавидевши тебя, я отдал бы тебе и спасение моей души, обрек бы себя проклятию вечному ради душ, о которых оставил пещись мне, смеясь надо мною, презренным!

Так заглядывал он дерзновенно в бездну, так призывал ее торжественно, в чистоте сердца своего…

III

Сначала кампаньский викарий шел по Боленкурской дороге, потом полем спустился к Этаплю.

— Сущие пустяки, от силы три лье, — с улыбкой сказал ему при расставании Мену-Сегре. — Отправляйтесь пешком, ведь вы любите ходьбу.

Старому настоятелю было известно пристрастие бедняги к железной дороге. Однако на сей раз, вопреки своему обыкновению, Дониссан не покраснел и даже усмехнулся не без лукавства.

Настоятель Кампаньского округа посылал викария к своему коллеге в Этапле, которому очень несладко приходилось теперь, когда устраивались последние покаянные собрания. Оба искупителя, по три раза на дню в продолжение минувшей недели надрывавшие глотки и совершенно выбившиеся из сил, тоже запросили пощады. Представлялось совершенно немыслимым подвергнуть несчастных жестокому испытанию, засадив их на целые сутки в исповедальню. "Надеюсь, ваш юный помощник не откажется выручить нас с присущим ему рвением", — писал первосвященник к Мену-Сегре. И вот

аббат Дониссан поспешил на сей простодушный зов о помощи. Он широко шагал по пустынным лугам, орошаемым ноябрьским дождем. Слева, на самой грани земли, придавленной серым клубящимся небом, угадывалось незримое море; справа круглились последние холмы. Перед Дониссаном расстилалась плоская безмолвная равнина. Дувший от запада ветер облеплял ему ноги полами сутаны, поднимая временами в воздух соленую водяную пыль. Однако Дониссан подвигался вперед мерными шагами, ни на пядь не уклоняясь от своего пути, держа под мышкой свернутый ситцевый зонтик. Чего еще смел бы он желать? С каждым шагом близилась старая, уже завидневшаяся церковь, странно нахохлившаяся в неприютном одиночестве под кровлей своей. Он представляет уже в воображении стайку женщин, сгрудившихся у исповедальни и ловко протискивающихся, перебраниваясь, поближе к входу, их благочестиво-постные лица, хитрые глаза, поджатые с набожным смирением или злобно стиснутые губы, а несколько в стороне от шумливого сборища толпятся… мужчины, такие неуклюжие, такие напряженно-скованные, такие одеревенело-негнущиеся. Зрелище необычное — сказали бы мы при подобных обстоятельствах

— трогательное зрелище! От этой мысли молодой суровый священник чувствует волнение и какую-то тревожную нежность. Невольно ускоряет он шаги, и на губах его играет такая кроткая и печальная улыбка, что повстречавшийся на дороге возчик, сам не зная почему, снял перед ним шапку… Его ждут. Даже взор матери, грезящей на пути к дому о близком уже мгновении, когда станет с упоением ласкать восхитительное тельце своего дитяти, не отобразил бы столько нетерпения и чистой радости… Но вот обозначилось уже среди песков ложе горького потока, вознесся к небу бесплодный холм и высокая белая башня между черных елей.

В продолжение нескольких недель Мену-Сегре безуспешно пытался прочесть что-либо в тайниках сего замкнувшегося сердца. Угрюмое молчание викария минувшей поры казалось ему теперь более понятным, нежели неизменно ровное, почти веселое расположение духа, в котором пребывал он теперь. Не единожды расспрашивал он аббата Шапделена, священника прихода Ларье, исповедовавшего Дониссана по четвергам. Престарелый духовник не находит решительно ничего особенного в речах вверенного его попечению кающегося и добродушно посмеивается

над страхами своего коллеги. "Дитя, прямое дитя, — твердит он, — простак, каких мало! (От смеха у него на глазах навертываются слезы.) Вечно вам мерещатся, друг мой, какие-то редкостные случаи больной совести! (Сквозь смех.) Хотел бы я, чтобы вы послушали его исповеди. Полно! Все мы прошли через это, когда начинали. Немного волнения, мечтательность, чрезмерное увлечение проповедью... (Без тени улыбки.) Проповедь есть превосходная, великолепная вещь, но не надо ею злоупотреблять. Мы ведь не картезианцы, друг мой, мы имеем дело с простыми, малообразованными людьми, в большинстве своем забывшими школьный катехизис. Не надо залетать под облака, отрываться от грешной земли. (Новый приступ веселья.) Вообразите, он подверг себя бичеванию! Не стану говорить вам об орудии самоистязания, вы все равно не поверите. Я запретил ему прибегать к столь бессмысленно-жестоким приемам умерщвления плоти. Впрочем, он уступил сразу же, без единого возражения. Я уверен в том, что он подчинится. Не видывал еще такого послушания, удивительно покладистый человек!"

Мену-Сегре счел неуместным продолжать беседу и с присущей ему осторожностью сделал вид,

будто убежден столь вескими доводами. Но в голове его вертелась мысль: "Какого черта мальчик избрал себе в духовники этакого дурака?" В конце концов он совершенно запутался в собственных хитроумных предположениях. А между тем истина была так проста! Дониссан избрал, ничтоже сумняшеся, самого старого не из дерзости вовсе, не из желания выказать свое пренебрежение, но просто потому, что предпочтение возрасту казалось ему разумным, справедливым. И вот каждый четверг он слушает небольшое назидание г-на Шапделена. Лишь Дониссан способен внимать столь жалким речам и внемлет им с такой любовью, что несказанно удивленный и польщенный духовник сам начинает находить некий смысл в собственном невразумительном лепете.

…Посмел бы молодой священнослужитель признаться себе, что ищет благочестивую глупость ради нее самой? Вероятно. Ему так мало известно о великой распре, причиной которой был он сам! Противу всех ожиданий, он делает невозможное и даже не подозревает о том. Правда, торжественное предсказание Мену-Сегре смутило на время его душу, но с течением времени сердце его настолько закалилось в трудах и заботах иного свойства, что стало как бы неуязвимо для острого

жала отчаяния. В самом разгаре наижесточайшего сражения, какое человек вел когда-либо с собой, он не вопрошает себя, должно ли ему биться в одиночку, ибо в самом прямом смысле слова не нуждается в чьей-либо помощи. Что в ином казалось бы самоуверенностью, в нем проистекает от простоты: он введен в заблуждение своей силой, как другие бывают обмануты их слабостью. Он полагает, что творит самое обычное, заурядное дело. Ему нечего сказать о себе.

Городок темнеет, словно погружается за край земли. Дониссан убыстряет шаги. Поскорее бы забиться незамеченным в темный угол, где до самого ужина, а потом целую ночь он будет один — один за тонкой деревянной перегородкой, приклонив ухо к незримым устам! Его беспокоит лишь то обстоятельство, что прежде ему не миновать встреч с незнакомыми людьми. С архиереем, мельком виденным в минувший троицын день, двумя миссионерами, наверное, еще с кем-нибудь… На протяжение последних месяцев будущего священника люмбрского прихода удивляют некоторые взгляды, некоторые слова, смысл которых ему пока неясен, любопытство, которое он на первых порах принимал в простоте своей за недоверчивость или презрение

и которое мало-помалу создало вокруг него какую-то странную обстановку, вызывающую в нем чувство стыда. Тщетно старается он держаться в стороне, быть как можно незаметнее, избегает новых знакомств — самое его одиночество, кажется, привлекает к нему внимание самых равнодушных, его диковатая робость подстрекает их любопытство, а печаль притягивает, как магнит. Порою он сам вступает в разговор, когда случайно слетевшее с уст слово заденет живую струну в его возвышенной душе. И тогда он говорит, говорит с нескладным, запинчивым красноречием, стараясь изъяснить мысль, вослед которой слова влекутся, словно тяжкий груз, и вдруг замолкнет, заметив молчаливое изумление окружающих… Но чаще всего слушает в напряженном внимании, с выражением жадности и страдания во взоре, и творит немо шевелящимися губами молитву, пока старые суетные пастыри, ничего не подозревая, беззаботно болтают. Всех с первого взгляда поражает его странность, но никто, за единственным исключением, не угадывает в нем человека блистательной судьбы. Людям довольно уже того, что он сеет смуту и рознь.

Да и что можно разглядеть в сей необычной личности? Наблюдение ничего не дает, разве что

следить за ним. По приказу аббата Шапделена он беспрекословно отказался от умерщвления плоти, об ужасающей жестокости которого вряд ли догадывался доверчивый старец, хотя Дониссан с присущей ему откровенностью ответил на все его вопросы. Но самая откровенность его вводит в заблуждение. Для кампаньского викария случившееся есть не более, чем дела дней минувших, отдельное звено в цепи событий. Ему можно признаться без смущения. Он охотно признает, что рассекающего плоть бича не довольно, дабы укротить человеческое естество. Однажды, уже по прошествии долгого времени, люмбрский священник сказал: "Наша бедная плоть принимает муку с такою же неутолимой жадностью, как наслаждение". Нам довелось читать странное признание, начертанное его рукою на полях одной главы "Упражнений" святого Игнатия: "Ежели почтешь за благо наказать себя, бей сильно, но недолго". Он же говорил святым сестрам своим из Кармель-д'Эр: "Не будем же забывать, что Враг умеет обратить себе на пользу как слишком усердную молитву, так и непомерно жестокое умерщвление плоти". "Наш приятель совершенно теперь образумился", — уверял господин Шапделен. И то была сущая правда. Голова

его ясна и трезва, слова никогда не вводили в заблуждение, воображение довольно скудно, а от сердца остался один пепел.

В сумерках ветер стих, насыщенная влагой земля курилась паром. Только теперь викарий почувствовал усталость. Впрочем, он уже миновал Верлимон и до недалекой теперь церкви дойдет быстро и без помех. Все же он останавливается и садится передохнуть у перекрестка дорог, ведущих в Кампрене и Вертон. Бредущая мимо крестьянка глядит на его непокрытую голову, сложенные поверх огромного зонта руки, лежащую на земле шляпу. "Ну и чудак!" — говорит она вслух.

Случалось, он сгибался под тяжестью бремени, но порабощенная природа напрасно молила о пощаде. Он не запрещал себе слушать ее голос — он просто не слышал его. Во всяком случае, вел он себя так, как если бы силы его были неистощимы — может быть, они и в самом деле были неиссякаемы. Когда подчас руки его опускались, о едином отдохновении помышлял он: погрузиться в свою душу и воззреть на себя изнутри с удвоенной суровостью. Усталость для этого поразительного человека — просто дурное настроение. И вот он перебирает в памяти события минувших меся-

цев. Он действительно не жалеет, что отказался от самоистязания, в течение некоторого времени укреплявшего его дух. Еще прежде, чем аббат Шапделен потребовал положить ему конец, он уже осудил его в сердце своем. Разве оно не утешило, не облегчило его? Не возродило в нем источник радости, который ему хотелось осушить? Ныне он более чем когда-либо верен обету, однажды данному перед святым распятием и воскресшему вдруг в его душе в то незабвенное мгновение. Никто не дерзнет оспаривать то, что он избрал себе в удел, ибо ни один смельчак не заключал еще договора с силой тьмы. Если бы сам люмбрский святой не поведал с такой потрясающей простотой о том, что ему угодно было назвать страшной порой своей жизни, никто, разумеется, не поверил бы, что человек мог совершить, вполне сознательно и непринужденно, как самую простую и обыкновенную вещь, своего рода нравственное самоубийство, расчетливая, утонченная и глубоко скрытая жестокость которого повергает в ужас. Но сомнений быть не может, ибо на протяжении долгих-долгих дней человек, чье любовное и мудрое милосердие воскресило надежду в столь многих, навсегда, казалось, опустошенных сердцах, упорно истреб-

лял в себе самое надежду эту. Сие изощренное мучительство столь тесно сплелось с жизнью его, что стало неотделимо от нее.

На первых порах им владела неистовая жажда самоотрицания и самоотвержения. Книги, где он черпал прежде не только радость, но и силу, были заброшены, вновь раскрыты и вновь заброшены. Вняв дружескому упреку Мену-Сегре, он начал разбирать "Трактат о Воплощении" и составлять примечания к нему. Надо подержать в руках это редкое издание, одну из жемчужин книжного собрания кампаньского настоятеля, все поля которого исписаны крупным почерком аббата Дониссана! Нескладность замечаний, простодушная старательность, с которой многострадальный викарий отправляет читателя к источникам до смешного подробными ссылками, — все, вплоть до неправильных оборотов его убогой латыни, являет свидетельство столь ревностного труда, что самый безжалостный насмешник не посмел бы ухмыльнуться. К тому же, насколько нам известно, эти примечания представляют собою набросок несравненно более значительного и ныне утраченного сочинения, очевидно также оставшегося трудом напрасным, которое, вероятно, плесневеет где-нибудь в

ящике, как скорбный и косноязыкий свидетель блужданий возвышенного духа. Работа, вначале внушавшая ему просто отвращение, стала вскоре невыносимым рабством. Люмбрский священник всегда был заурядным метафизиком, и лишь на собственном опыте можно понять, какой мукой для человека, лишенного необходимых основ знания, может стать изнурительное копание в смутных богословских сочинениях. Предпринятый с неосмотрительной смелостью, труд его стал еще тягостнее из-за возникших вскоре нелепых осложнений. Целый день занятый исполнением своих обязанностей, аббат Дониссан освобождался лишь за полночь, проиграв Мену-Сегре очередную партию в безик. Догадливому настоятелю потребовалось немного времени, чтобы проникнуть в новую тайну Дониссана. По обыкновению своему, он не преминул несколько раз мягко намекнуть на сие обстоятельство, смущая бесхитростную душу викария. Тогда бедняга решил трудиться при свете ночника и начал вскоре страдать от боли в глазах, совершенно измучившей его, но не сломившей его упорства, ибо испытание это дало ему повод к новым безумствам.

До той поры Дониссан находил некоторое

отдохновение и отраду лишь в излюбленной молитве, скромной, читаемой вслух молитве. В течение долгого времени люмбрский святой в простоте своей сомневался, что способен творить молитву, хотя прибегал к ней всякий день и, можно сказать, ежечасно. И вот он вознамерился одержать над собой новую победу.

Нам, право же, совестно приводить столь сухие, невыразительные подробности, описывать обстоятельства до такой степени обыденно-скучные. Просидевши ночь за письменным столом, страдалец расхаживает взад и вперед по своему покою, опустив голову, скрестив руки на пояснице, стараясь ровно дышать, как борец, берегущий силы перед схваткой, и усиленно размышляя, размышляя по всем правилам… Он не отступает от темы, заранее выбранной и тщательно разработанной в строгом соответствии с методой отцов Сен-Сюльпис, покуда совершенно исчерпывает ее. Кстати, в своем новом предприятии он пользуется руководством, составленным безымянным священником в лето 1849 от рождества Христова и озаглавленным следующим образом: "Искусство молитвы в двадцати уроках, преподанное душам благочестивым". Каждый урок делится на три части: "Размышление", "Вознесение молит-

вы" и "Заключение", венчаемое жемчужинами богословской премудрости. В конце сборника помещено несколько стихотворений (положенных на музыку неким монахом, как утверждается в предисловии), в которых воспевается сладость и упоительные восторги небесной любви на лад, любезный госпоже Дезульер.

Можно подержать в руках, сжать пальцами эту ужасную книжонку. Переплет ее с великим тщанием обшит черным сукном. Затертые от частого пользования листы еще пахнут кислятиной и прогорклым салом. В левом углу скверной цветной гравюры мелким востреньким почерком надписаны выцветшими чернилами загадочные слова: "Моей дорогой Адолине, дабы вознаградить ее за неблагодарность некоторых особ". Очевидно, нетленное свидетельство обиды некоей богобоязненной души. Трудно представить себе, что сия жалкая писанина могла стать неразлучным спутником человека, говоря о котором даже самые самолюбивые люди не решатся утверждать, что могли без смущения выдержать его проникающий в самые тайные мысли взгляд, — спутником, другом, наперсником люмбрского святого! Чего искал он на сих, столь похожих одна на другую страницах, где всякая строка

напоена смертной скукой томимого праздностью священника?

Чего искал и главным образом что нашел там? Правда, аббат Дониссан не оставил нам ни единого богословского либо мистического сочинения, однако нам известны некоторые его проповеди, и память о сих совершенно необычных откровениях доднесь жива в сердцах кое-кого из прихожан. Никто из беседовавших с ним не усумнился в редкостном его здравомыслии, ясности ума и поразительной простоте решений. Никто более его не остерегался суемыслия, да никто с большей твердостью и суровостью не осуждал, как случалось ему. Сколь бы одинок он ни был, как принято думать, в ту пору своей жизни, возможно ли верить, что в сем благочестивом блудословии он черпал мысли для своих проповедей? Неужели он мог без отвращения произносить сии хвастливо витиеватые проповеди, обонять смрадную стряпню богобоязненных назиданий, проливать гаерские слезы? Молился ли он или, полагая, что молится, перестал уже, в сущности, молиться?

С чувством гадливости читатель захлопывает книжонку, испытывая неприятное ощущение от прикосновения засаленного сукна. Ему хотелось бы понять, найти в чьем-либо взоре разгадку

тайны той жалкой силы, что помрачила на время столь просветленный дух. Ужли возможно так обмануть самое благодать божию? Ужли каждый человек, оборачиваясь, неизменно будет видеть позади себя свою тень, своего двойника, зверя, принявшего его облик и безмолвно крадущегося вослед ему? О, сколь тяжка книжица эта!

Так врагу рода человеческого, впрочем неотступно преследовавшему бедного священника до последнего дня его жизни, удалось о той поре преуспеть в большинстве козней, против него устроенных. Вначале он понудил его предпринять труд и тяжкий и бессмысленный, который коварно изобразил ему в виде хитроумной системы жертвенности и самоотречения, лишив его, таким образом, возможности искать утешения вне себя, а теперь вознамерился погубить самое сущность его. С каждым днем ужасный труд свершается с меньшими усилиями и подвигается все спорее. Объятый яростью саморазрушения, упрямый крестьянин стал наконец довольно изощрен в искусстве обращать против самого себя доводы разума. Он изыскивает побудительные причины всякого поступка, совершенного им в своей смиренной жизни, и во всяком находит отображение некоей зловредной воли, презирает

и отвергает отдых, всякую печаль тотчас гонит от себя, усматривая в ней знак сожаления, ибо отныне все в нем и вне его несет печать гнева.

Но пришла, видно, пора, когда страшный труд должен был принести свои плоды, оказать самые гибельные свои следствия. Есьмы безумны, ибо усматриваем в собственной мысли, которую, однако же, слово беспрестанно делает доступной чувствам нашим, лишь некую невещественность, от которой нам не грозит никакая близкая, неминучая опасность! О, слепец, столкнувшийся лицом к лицу с чужестранцем и не узнающий себя в нем, в котором и взор и злобная складка рта уже дышат ненавистью к нему, слепец, не узнающий себя в глазах чужестранки!

Дониссан поднялся с земли, некоторое время пристально глядел на окрестность, затопленную сумерками, ощутил некое беспокойство, но без труда подавил его. Впереди дорога ныряла в лощину меж высоких откосов, поросших короткой редкой травой. То ли оттого, что откосы совершенно застороняли дорогу от ветра (задувшего вновь по заходе солнца), то ли по какой-либо другой причине, ни малейший звук не нарушал глубокой, глухой тишины. И хотя город отстоял недалеко, а час был еще не поздний, викарий

услышал, напрягши слух, лишь невнятный, едва различимый шелест земли, столь однообразный, что тишина казалась еще более поразительной. Впрочем, и этот смутный ропот вскоре умолк.

Быстрыми шагами он пустился по дороге, вернее, ему казалось, что он очень быстро идет по безупречно ровной, едва покатой дороге, мягко пружинящей под ногами. Усталость исчезла, и в исходе долгого пути он чувствовал себя удивительно свободным и легким. В особенности поразила его раскованность мыслей. Некоторые трудные задачи, над которыми он напрасно бился в течение долгих недель, решились сами собою, стоило ему напрячься и ясно представить их себе. Целые главы из книг, читавшиеся и толковавшиеся им с трудом превеликим и обыкновенно словно клещами, по частям, выдиравшиеся из памяти, явились вдруг ему в должном порядке, со всеми заглавиями и подзаголовками, со всеми параграфами, расположенными в точной последовательности, вплоть до примечаний на полях. Продолжая путь все тем же скорым шагом, почти бегом, он решил, дабы сократить дорогу, свернуть с большака и пробираться далее тропой по берегу Раванель, которая текла рядом с кладбищем и должна была привести его прямо к церковным

дверям. Не замедляя хода, он устремился по новому пути. По этой дороге, обыкновенно до середины лета изрытой глубокими, полными соленой воды колеями, редко кто ходил, кроме рыболовов да волопасов. К великому удивлению и радости Дониссана, почва показалась ему плотной и ровной. Хотя необычайная живость и вольное парение мысли словно охмелили аббата, он искал взглядом в ночном мраке знакомые приметы: темное пятно придорожного куста, крутой изгиб тропы, понижение устремленного к черному небу склона, хижину дорожного смотрителя. Однако, по прошествии изрядного времени, он, противу ожидания, ощутил под ногами отлогую понурость, перешедшую внезапно в крутой склон, потом густую луговую траву. Взглянув вперед, он узнал дорогу, оставленную им некоторое время назад. Быть может, сам того не замечая, он свернул на проселок, который неприметно привел его на то самое место, где он сошел с большой дороги, но теперь уже с противоположной стороны? Ведь он ясно различал (откуда такая ясность в глухую ночь?) первые дома окраины! "Вот так угораздило!" — подумал он без досады и раздражения и, не мешкая, вновь тронулся в путь, полный решимости не остав-

лять более главной дороги. Теперь он подвигался медленно, пристально глядя вперед и чувствуя, как под толстыми подошвами скрипит сырой от дождя песок. Стояла такая темень, что, сколь бы далеко ни простирал он взгляд, не видел нигде не только света, но хотя бы смутного мерцания, того неуловимого трепета, который даже в самую глухую ночь являет как бы ток, исходящий от живой земли, нечто вроде медленного умирания угасшего дня, длящегося до самого рассвета. Тем не менее Дониссан выступал с большей уверенностью, чем прежде, словно туго спеленатый непроглядною тьмою,- она расступалась перед ним и смыкалась позади, оставляя ему так мало места, что он как бы чувствовал ее теснение. Но он не испытывал от того ни малейшего беспокойства и шел твердыми неторопливыми шагами. Хотя обыкновенно, приближаясь к исповедальне, он чувствовал страх и нерешимость, его отнюдь не удивило то обстоятельство, что на сей раз в его душе не было ничего, кроме нетерпения почти радостного. Живость мыслей была такова, что он ощущал ее, казалось, во всем теле — нетерпеливое возбуждение, потребность расходовать напряжением мышц избыток мыслей и образов, лихорадочный подъем, столь хорошо знакомый

мыслителям и влюбленным. И вновь, незаметно для себя, он уторапливает шаги. Ночь все так же расступается перед ним и смыкается за его спиной. Дорога стелется под ноги и скользит назад — она словно несет его, прямая, удобная, едва покатая... Сам он проворен, бодр, легок, словно, прекрасно отдохнув, проснулся свежим утром. Вот и последний поворот. Нетерпеливо ищет он взглядом сложенный из розовых кирпичей домик на перекрестке большака и дороги, которую он, по всей видимости, только что миновал, не разглядев в потемках. Но взор его не различает ничего определенного, ни дороги, ни дома, а в близком городке не видно ни одного огня. Он останавливается, чувствуя не беспокойство, но удивление... И тогда, лишь тогда, он услышал в безмолвии частые твердые удары своего сердца и почувствовал, как по телу струйками течет пот.

В то же время питавшая его силы ложная уверенность исчезла вдруг, он сразу ощутил смертельную усталость: спину ломило, одеревеневшие ноги гудели, глаза, напряженно всматривавшиеся все это время в ночной мрак, закрывались сами собой.

"Взберусь-ка я на откос, — подумал он. — Не может быть, чтобы я не обнаружил того, что ищу.

Увидеть хотя бы одну примету, а там уж я выберусь на верную дорогу..."

С бессмысленным упорством он все повторял про себя эти слова, и когда, решившись наконец, стал карабкаться вверх по ледяной траве, упираясь ладонями и коленами, все тело его пронзила странная боль. Добравшись до верха, он со стоном распрямился, ступил несколько раз и стал вглядываться в темноту, поворачиваясь в разные стороны, пытаясь угадать черту окоема. К великому своему удивлению, он обнаружил, что находится на краю поля, смутно отсвечивающего пластами свежевспаханной земли. Поблизости росло показавшееся ему исполинским дерево, простиравшее над ним незримые ветви, которые угадывались во мраке по слабому шелесту листьев. Он перебрался через неглубокий ров и там, по более плотной и светлой почве и двум темным полосам, определил дорогу. И нигде ни малейшего намека на кручу, куда он давеча взлезал. Он не столько видел, сколько чувствовал окрест себя бескрайнюю, безлюдную пустыню, простершуюся до границ ночи.

Дониссан не испытывал страха и был скорее раздосадован, чем встревожен, но устал до такой степени, что холод начал пробирать его до

костей: он весь дрожал под намокшей от пота сутаной. Не в силах более держаться на ногах, он опустился на землю там, где стоял, и сомкнул веки. Внезапно он ощутил сквозь тяжкий сон некое беспокойство. Еще неясное, оно овладело всем его существом. Ему словно почудилось что-то страшное, и он сознавал, что ему грозит действительная опасность, и от сознания опасности постепенно, как бы порывами, освобождался из цепкого плена сна. Но, уже почти проснувшись, он боялся открыть глаза, потому что имел твердую уверенность, что стоит ему повести взглядом, как смутный, непонятный страх примет ясные черты. Какие? Отведши ладони от крепко смеженных глаз, он медлил открыть их, собираясь с духом, в ожидании чего-то необычного и жуткого. Но когда наконец быстро взглянул перед собою, то увидел лишь, что вторично вернулся на то же место.

Удивление его было столь велико и столь внезапно рассеялся оказавшийся ложным страх, что он некоторое время еще глупо сидел на корточках в холодной слякоти, не в силах пошевелиться или подумать о чем-нибудь. Потом ему пришло в голову разведать ближайшие окрестности. Низко пригнувшись, он бродил туда и сюда, от времени

до времени щупая руками землю, чтобы отыскать свои следы и по ним добраться до того таинственного места, где он, судя по всему, сбился с верного пути, покуда, незаметно для себя все забирая в сторону, пришел на то же место, описав полный круг. Хотя он и совладал со страхом, но уже не мог продолжать пути, не поняв причины загадочного явления. Он должен был разобраться, в чем тут дело. Двадцать раз пытался он разорвать круг, но неизменно терпел неудачу. В некотором удалении следы совершенно пропадали, из чего ему пришлось заключить, что он шел по обочине, поросшей довольно густой травою, где следов не могло остаться. Он заметил также, что земля вокруг него на расстоянии нескольких шагов совершенно истоптана. От какой-то глупой досады и почти детского отчаяния слезы навернулись ему на глаза.

Меньше, чем кого бы то ни было, люмбрского святого можно было назвать эмоциональной натурой, пользуясь выражением, заимствованным в странном наречии времен новейших. Мало-помалу он стал думать в своей простоте об обманах и мороке сей ночи как о препятствиях, кои ему должно преодолеть. Снова, в который уже раз, он трогается с места, спускается по от-

косу, идет сперва медленно, потом быстрее, еще быстрее и, наконец, бежит. Ему еще кажется, что он владеет собой, но не к цели своего путешествия поспешает он бежит мрака и страха ночного, бессознательно напрягает последние силы, спасаясь от них. Но ведь ему давно уже пора добраться до недостижимого городишки! Каждая новая минута промедления кажется ему новой неразрешимой загадкой.

Вновь возникают два черных, уже знакомых склона, понижаются, повышаются, потом пропадают совершенно, и тогда он угадывает вокруг себя невидимую равнину, и ледяной ветер бесшумно сечет его лицо… Он уверен, что уже сбился с пути, хотя и не знает, когда именно. До-ниссан прибавляет хода, тем более что ноги сами несут его под уклон. Он торопится, сутуля спину, и сутана смешно задирается, обнажая тощие ноги, — нелепый призрак, бессмысленно суетящийся и размахивающий руками среди недвижных вещей. В своем слепом стремлении вперед викарий со всего маху натыкается выставленными перед собой ладонями на холодную мягкую преграду. Он медленно валится боком в грязь и закрывает глаза. Еще не открыв их, он знает, что вернулся.

Храня спокойствие, он поднимается с глубоким

вздохом, поводит плечами, как бы удобнее примащивая лежащую на них ношу, решительно поворачивается в ту сторону, откуда пришел, и вновь пускается в путь. Мерными шагами он покорно идет по раскисшей земле, липнущей к подошвам, переступая низкие ограды, перелезает через проволочную изгородь, ощупью обходит еще какие-то препятствия. Он бредет, не оборачиваясь, неутомимый, как в начале своих блужданий. Разум его ясен, а намерения бесхитростны — он принял свое столь странным образом прерванное путешествие как самое будничное событие и просто хочет вернуться как можно скорее, еще до рассвета, в свой кампаньский дом. Не мудрствуя лукаво, он решил совершить весь долгий путь в обратном направлении. Не может быть никаких сомнений в том, что если бы вдруг перед Дониссаном встал Мену-Сегре, викарий учтиво поклонился бы ему и в немногих словах поведал о случившемся как о досадной помехе.

Он перелез последнюю канаву и пустился по очень узкой, едва наторенной дорожке, пролегающей среди вспаханного поля. Кажется ему, что час, а может быть, два тому назад он уже вроде ходил здесь, но тогда, помнится, он был один…

Дело в том, что в какое-то мгновение (какой смысл скрывать) Дониссан обнаружил, что на дороге есть еще кто-то и этот кто-то идет рядом с ним. Судя по всему, спутник его мал ростом и на редкость подвижен — он идет то справа, то слева, то отстанет, то забежит вперед. Правда, Дониссан с трудом различает его. Первое время человечек семенит мелкими шажками в полном молчании. В такую темную ночь люди, вероятно, могут помочь друг другу. Есть ли нужда быть знакомыми, чтобы идти рядом среди мертвого безмолвия, в непроглядной тьме?

— Ну и темень, хоть глаз выколи, — заговорил неожиданно человечек.

— Да, сударь, до света еще далече, — отвечал ему Дониссан.

Видно, попутчик попался ему жизнерадостный — в его глуховатом голосе слышится сдержанная, удивительно располагающая веселость, совершенно успокоившая бедного Дониссана. Он даже начал опасаться, как бы немногословный ответ не обидел его веселого, полного доброжелательства соседа. Как отрадно вот так, неожиданно, услышать человечью молвь, как ласкает она слух! Аббат вспоминает, что у него нет друга. И тут вновь звучит голос маленького черного

пешехода:

— Я считаю, что темнота сближает людей. Это хорошо, очень хорошо. Когда на дворе темно, как в погребе, и с гордецов слетает спесь. Представьте, что мы повстречались бы с вами средь бела дня… Да вы бы и не взглянули!.. Вы, верно, из Этапля идете?

Не дожидаясь ответа, он проворно опережает Дониссана, приподнимает колючую проволоку невидимой ограды и вежливо придерживает ее вытянутой рукой, чтобы спутнику удобнее было подлезть. Затем он продолжает беседу веселым глуховатым голосом:

— Так, значит, вы из Этапля и, по всему видать, держите путь в Кюмьер?.. Или в Шалендр?.. Или, может быть, в Кампань?

— В Кампань, — отвечает викарий, решив говорить правду.

— До Кампани я вас, пожалуй, не стану провожать, — говорит человечек, рассыпавшись мелким дружелюбным смешком… — Двинем-ка мы лучше напрямик в Шалендр — я знаю тут все изгороди, с завязанными глазами найду дорогу.

— Благодарю вас, — с чувством отвечал преисполненный благодарности Дониссан. — Благодарю вас за любезность вашу и милосердие.

Вряд ли можно было мне надеяться на помощь чужих людей. Ведь немало таких, кому сутана внушает страх.

Человечек презрительно присвистнул:

— Невежды, неучи, деревенщина. Уж я на них насмотрелся по торжищам да по ярмаркам от Кале до Гавра. И каких только глупостей я не понаслышался! Вот уж убожество, вот темнота! Да брат моей матушки сам духовного звания, ежели хотите знать.

Тут он снова нагнулся над низкой живой изгородью из часто посаженных шиповатых кустов. Ощупав ее и исследовав проворными руками, он с замечательной быстротою увлек викария вправо, отыскал широкий лаз и посторонился, уступая дорогу Дониссану:

— Ну как, убедились? Мне и смотреть не надо. В такую ночь кто угодно будет кружить до утра на одном месте, а я эти края знаю как свои пять пальцев!

— Вы здесь живете? — почти робко спросил викарий (ибо, по мере удаления от города, так и не достигнутого им, терзавший его ужас отступил наконец, и теперь душу его наполняло смешанное чувство утихшего страха и стыда, как по нечистом сновидении, и Дониссан, испытывая

слабость и неуверенность, по-детски хотел, чтобы рядом был верный человек, который не покинет в беде, на чью руку можно опереться).

— В сущности, я нигде не живу, — признался собеседник. — Странствую по делам моей службы у одного конеторговца из Булонэ. Позавчера был в Кале, в четверг переберусь в Авранш. Поверьте, хлеб нелегко мне достается. Где уж тут корни пускать.

— Вы женаты? — снова спросил Дониссан.

Тот рассмеялся:

— На нужде! Помилуйте, это вдруг не делается, а откуда мне время взять? Сегодня здесь, завтра там — так и кочую. Разве иной раз позабавишься мимоходом.

Он умолк, потом проговорил со смущением в голосе:

— Вы уж извините, как-то неудобно толковать об этом с таким человеком, как вы. Забирайте покруче вправо, где-то здесь должна быть глубокая рытвина с водой.

Этот знак внимания снова трогает Дониссана. Теперь он шагает очень быстро, почти не чувствуя утомления. Но, по мере того как усталость исчезает, в душу ему вкрадывается, все более овладевает им новая слабость, обволакивая его

волю гаденьким, липким, как смола, умилением. Слова почти непроизвольно слетают с его уст:

— Господь вознаградит вас за ваш труд. Он навел вас на мой путь, когда мужество уже оставляло меня. Ибо ночь сия была мне долга и тяжка, более долга и тяжка, нежели вы можете вообразить.

Дониссан с трудом удержался, чтобы с безрассудным простодушием не поведать спутнику о своих ночных блужданиях. Ему хотелось рассказать обо всем без утайки, открыться этому человеку, увидеть в чужом, но дружелюбном и сочувственном взоре отражение своей тревоги, уже гложущих его сомнений, мучительного наваждения своего. Но, взглянув на идущего рядом человека, он увидел в его глазах не столько сочувствие, сколько удивление.

— Не очень-то приятно путешествовать безлунной ночью, — как-то неопределенно говорит пришелец. — От Этапля до Кампани почитай не меньше четырех лье скверной дороги, а если бы не я, пришлось бы идти еще больше. Мы сократили путь самое малое на два километра… А вот и дорога на Шалендр (бледная полоса прямо уходит в смутное пространство).

— Скоро мне придется расстаться с вами, — про-

должал он как бы с огорчением. — Вы в самом деле очень спешите?

— Я и так уже замешкался сверх всякой меры, — отвечал Дониссан.

— Я хотел предложить вам… можно было бы… даже лучше… дождаться рассвета у меня, в одной хорошо мне известной хижине на опушке леса Сонсери — такая добротная изба, срубленная углежогами, — там есть очаг и все необходимое, чтобы развести огонь.

Все это говорится как-то нерешительно, и колебание, которое чудится Дониссану в голосе, до той поры столь искреннем и ясном, больно его задевает. "Конечно же, он боится, что я приму приглашение, — печально думает он. — И он, он тоже спешит избавиться от меня, чтобы продолжить путь одному!" Будничная истина сия наполняет его горечью. Новое разочарование столь велико и столь внезапен, столь жгуч новый приступ отчаяния, что вопиющее несоответствие причины и следствия не может не беспокоить в нем остатки здравого смысла и рассудка, хотя его помрачившийся ум не способен уже трезво судить о происходящем (но если он в состоянии еще воздержаться от неосторожного слова, то как удержать слезы, ручьем бегущие из глаз?).

— Давайте передохнем, — предлагает барышник, из сострадания отводя взор от лица плачущего навзрыд священника. — Не надо стыдиться, это от усталости — просто вы дошли до крайности. Мне знакомо такое состояние: так или иначе это должно прорваться.

И немного погодя добавляет с тихим смешком:

— Не обижайтесь, отче, но, по всему видать, вы порядком-таки потрудили ноги. Пять-шесть лье, поди, отмахали!

Он расстилает на верху дорожной насыпи свой плащ из толстого сукна и почти насильно укладывает на нем своего спутника. Сколько заботы, сердечной теплоты и братского сочувствия в знаке внимания грубого самаритянина! Возможно ли не поддаться хоть немного сей неведомой Дониссану нежности? Возможно ли отказать в откровенности человеку, который ждет ее, глядя на него с таким дружеским участием?

Однако несчастный, жестоко униженный священник еще противится, призывая на помощь остаток мужества. Сколь бы ни были непроницаемы потемки вне его и в нем самом, он судит себя без снисхождения, пеняет себе за ребячливость и малодушие, казнит себя за то, что оказался в таком дурацком положении, за то, что так глупо

расплакался перед чужим человеком. Хочет он того или нет, трудно не заметить связь между этим приключением и, пожалуй, не менее загадочным обманом чувств, из-за которого несколько часов тому назад он останавливался на своем пути и непостижимым образом сбивался с дороги… Но может быть, с другой стороны, эта встреча есть ниспосланная ему помощь, прощение грехов его? Не должно ли ему смиренно ждать совета доброжелательного человека, который, помогая ему, творит, возможно не догадываясь о том, евангельское милосердие? Ах, слишком тягостно молчать, отталкивать протянутую руку!

Он берет руку, сжимает ее и сразу чувствует в сердце странное тепло. То, что совсем недавно казалось глупо безрассудным или опасным, представляется теперь разумным, нужным, необходимым. Может ли униженный гнушаться чьей-либо помощью?

— Не знаю, как объяснить вам, — начал викарий, — как просить у вас прощения… Впрочем, к чему?.. Так вам легче будет понять мое ничтожество!.. Увы, горестно думать, что мне, столь недостойному, такому малодушному, так скоро отчаивающемуся, вверено озарять светом веры душу ближнего, вселять в него мужество… Когда

Господь оставляет меня…

Он помотал головой, усилился подняться на ноги и снова тяжело опустился наземь.

— Вы совсем выбились из сил, — мягко проговорил чужестранец. — Надо набраться терпения. Терпение доброе лекарство, аббат… Не такое спорое, как многие другие, но намного более верное!

— Терпение!.. — простонал Дониссан с мукой в голосе. — Терпение!..

Почти бессознательно он склонил голову на плечо своего необычного собеседника, не выпуская уже привычную ему руку. Головокружение сжимало ему виски мягким обручем, но давление его постепенно и неумолимо усиливалось. Мгла окутала его сознание, и он заговорил, как сквозь сон, глядя перед собой широко открытыми глазами:

— Нет, усталость так не измучила бы меня!.. Я выносливый, силен, могу долго бороться… Но не со всеми и, правду сказать, не так…

Ему мерещилось, будто он тихо скользит под уклон в безмолвие. Вдруг он испугался медлительного падения: ему ясно представилась глубина пропасти… Невольным движением, таким же внезапным, как испуг его, он ухватился

обеими руками за чужое недрогнувшее плечо.

Вновь послышался дружелюбный голос, но теперь он громом отозвался в ушах Дониссана:

— Это ничего, просто дурнота… Обопритесь на меня, не бойтесь!.. Да, сколько же вы исходили!.. Как же вы устали! Я давно уже следую за вами, наблюдаю за вами, друг. Я был позади вас, когда вы ползали на четвереньках, в поисках этой самой дороги, ай-ай-ай!

— Я не видел вас, — прошептал Дониссан. — Неужто правда? Вы в самом деле были там? Не могли бы вы сказать…

Он не кончил, потому что вновь заскользил вниз, все быстрее и быстрее, падая камнем. Мрак, куда он погружался, свистел в ушах, словно Дониссана поглощала водяная пучина. Расставив руки, он ухватился за каменные плечи спутника, вцепился в них что было мочи. Туловище, к которому он припал, было твердо и узловато, как дубовый ствол. Оно не шелохнулось, когда аббат всей тяжестью навалился на него. Своим лицом несчастный священник ощутил неровности и тепло чужого лица.

На мгновение, неуловимо краткое мгновение сознание покинуло его. Осталось лишь ощущение опоры, плотности и незыблемости преграды,

удерживающей его на краю воображаемой бездны. Всем телом он прижался к ней, испытывая острое, пронзительно-радостное чувство безопасности. Дурнота, словно плавясь в груди от жара неведомого пламени, медленно вытекала из жил.

Именно тогда и совершенно неожиданно, хотя столь внезапно открывшаяся истина не сразу проникла в его сознание, именно тогда, повторяю, кампаньский викарий понял, что встретился наконец с тем, от чего спасался в продолжение всей жуткой ночи.

Испугался ли он, поверил ли, объятый отчаянием, что произошло наконец то, чему должно было случиться, что неминуемое настало? Или же вкушал горькую отраду приговоренного, которому нечего больше доказывать и не на что надеяться? А может быть, просто провидел жребий люмбрского священника? Как бы то ни было, викарий без особого удивления услышал слова:

— Крепче держитесь, не падайте… Сейчас вам полегчает. Я друг вам, товарищ и всем сердцем люблю вас!

Спутник обхватил его рукой и медленно, все крепче и крепче привлекал к себе. Дониссан совсем поник головой на плечо лошадника, тесно

прижался щекой к его шее, так тесно, что чувствовал тепло дыхания на лбу и лице.

— Почий на груди моей, возлюбленное дитя, — говорил между тем ласковый голос, — прильни ко мне крепче, глупая скотина, бедный священник мой, товарищ мой. Отдохни! Я долго искал, выслеживал тебя — и вот ты здесь. Как ты любишь меня! Но возлюбишь еще сильнее, ибо я уже не оставлю тебя, ангелочек, бритолобое убожество, навеки неразлучный спутник мой!

Впервые люмбрский святой слышал, видел и осязал омерзительное существо, с которым неразрывно была связана его мученическая жизнь, и, если верить словам немногих людей, ставших поверенными или свидетелями тайного искуса, ему суждено было еще не раз слышать голос искусителя, прежде чем душа разлучилась с телом. Впервые Дониссан повстречал его и все же узнал без труда. Мало того, в то мгновение он не мог даже усомниться в своих чувствах и рассудке, ибо не принадлежал к числу тех, кто простодушно полагает, что неразлучный наш истязатель, сущий во всякой нашей мысли, вскармливающий нас с мудрым терпением ненавистью своей, имеет повадку и речь сказочного воителя… Любой другой человек на месте

кампаньского викария, даже наделенный столь же ясным умом, не мог бы сдержать в подобных обстоятельствах невольного движения страха или по крайней мере отвращения. Он же, весь сжавшись от гадливости, смежив вежды, словно чая в себе обрести духовную крепость, обуздывая бесплодное волнение чувств, силился победить страх свой, обнажив перед лицом врага волю, как выхваченный из ножен клинок.

Но когда, словно кощунственно глумясь, гнусные уста прильнули к его устам и исхитили дыхание их, ужас великий объял его, так что самое биение жизни замерло в нем и сердце как бы опустошилось в лоне его.

— Еси приял лобзание друга, — покойно молвил барышник, осушая рот тылом руки. — И в мой черед есьм наполнил тя собою, хранилище мощей Христовых, милый мой простачок! Да не убоишься малости сей, не тебя бо единого лобзал, но многих. Знай же, есьм лобзал всех вас, бодрствующих и спящих, мертвых и сущих на земле. Се истина. Отрадно мне быть с вами, человечки-боги, странные, странные, о, столь странные созданьица! В сущности, мы никогда не разлучаемся, ибо вы носите меня в темных недрах вашей плоти, меня, чей свет бысть в начале вещей, в кре-

пости, трижды свершенной двумя властителями мира на ваше бренное тело, меня, Люцифера. Я веду вам счет, никто меня не минет. Я распознаю по запаху каждую овцу в своем стаде.

Он отвел руку, все еще крепко обнимавшую Дониссана, и несколько отстранился, как бы для того, чтобы тот мог упасть. Мертвенно-бледным, словно застывшим лицом викарий походил на труп. Вся мука его отобразилась в страдальчески приподнявшихся уголках рта, словно тронутого жуткой усмешкой, в крепко зажмуренных глазах, в напряжении всех черт лица. Он лишь едва склонился на сторону и продолжал сидеть на поле плаща в каком-то страшном оцепенении.

Попутчик искоса взглянул на него, тотчас отвел глаза и не мог сдержать едва заметного удивленного движения. Потом шумно потянул носом, вытащил из кармана большой платок и, нимало не смущаясь, отер им шею и щеку.

— Довольно шуток, господин аббат! В эту мерзкую пору года под утро делается чертовски холодно,- он дружески пихнул Дониссана в плечо, точно так, как забавы ради толкают неустойчивый предмет, как дети опрокидывают под радостные клики снежную бабу. Но кампаньский викарий не пошатнулся, только медленно

раздвинул веки и, храня то же напряженное выражение на лице своем, устремил перед собой недвижный взгляд непроглядно черных глаз. — Эй, аббат! Господин аббат! — громко окликнул его лошадник. — Да вы, никак, кончаетесь, дружочек? И похолодел уже… Эй, очнитесь!

Он забрал обе руки викария в свою широкую ладонь, а другой стал похлопывать по ним.

— Вставайте, поднимайтесь же, черт возьми! Подымайтесь, будь вы неладны! Право слово, кровь стынет в жилах от такого холода.

Он сунул ладонь ему под сутану, желая убедиться в том, что сердце бьется. Затем быстро следующими одно за другим, непроизвольными, если можно так выразиться, движениями коснулся сначала его лба, потом глаз и, наконец, губ. Проделав все это, он снова взял его руки в свои и стал согревать дыханием. Каждое его движение выдавало какую-то лихорадочную поспешность, торопливость мастерового, которому не терпится кончить тонкую художественную работу и который боится, что не управится до рассвета или что ему помешает не ко времени случившийся гость. Вдруг он спрятал руки в складках одежды у себя на груди, задрожал крупной дрожью, как если бы медленно опускался в глубокую ледяную воду, и

проворно вскочил на ноги.

— Холод мне нипочем, — проговорил он. — Мне не страшен ни зной, ни стужа. Но даже мне удивительно видеть, как вы сидите в промерзшей грязи и не шелохнетесь. Диву даюсь. Как только вы еще не закоченели… И то сказать, немало пришлось вам поколесить по дороге, дружище… А я, признаться, так совсем продрог. Мне всегда холодно. Уж поверьте, от меня не всякий это услышит… Но это так… Я есьм холод, сущность моего света есть нестерпимый холод… Но оставим это — вы видите перед собой бедного человека со всеми достоинствами и недостатками, присущими людям его круга… посредника по торговле нормандскими и бретонскими клячами… барышника, как у них принято говорить… Но и об этом довольно! Думайте только о том, что рядом с вами друг, спутник в безлунную ночь, добрый товарищ… Нет, нет, никаких вопросов! Не надейтесь многое выведать у меня об этой нечаянной встрече. Я хочу лишь услужить вам и чтобы вы меня тотчас забыли. Но я-то вас не забуду: ваши руки причинили мне жестокую боль… И лоб ваш, и глаза, и губы… Мне ни за что не отогреть их — от них оледенел мой мозг, промерзли мои кости. Причина тут, верно, в вашем елее, в ваших треклятых свя-

щенных мазях, во всей этой вашей ворожбе. Но довольно… отпустите меня! Мне идти да идти, и у меня есть еще силы. Расстанемся здесь и пойдем каждый своей дорогой.

Он беспокойно расхаживал, раздраженно размахивал руками, но не удалялся более чем на несколько шагов. Дониссан не сводил с него сумрачного взора, и губы уж не шевелились на окаменелом лице.

Впрочем, оно выражало теперь не столько страх, сколько ненасытное любопытство. Можно было бы сказать — ненависть, но ненависть воспламеняет взор. Можно было бы сказать — омерзение, но омерзение бездейственно, и никогда вопль ужаса или отвращения не разжал бы челюсти, сомкнутые неколебимою решимостью. И праздная жажда знания тоже не может сообщить человеку столь несравненное достоинство. Кампаньский викарий не спешил торжествовать победу, с каждым мгновением все более полную и очевидную, ибо знал, что победа над таким противником всегда сомнительна, ненадежна, недолговечна. Мало проку в том, что неприятель повержен на миг к твоим ногам и молит пощады, когда сражаешься с губителем душ и нужно вырвать у него хотя бы одну из тайн его.

Вдруг чудной непоседа стал как вкопанный, словно порывистыми своими движениями совершенно опутал себя незримыми узами, подобно связанному быку. Голос его, достигший самого пронзительного звучания, принял сразу обычное выражение, и он довольно буднично произнес следующие слова:

— Отпусти меня. Твое испытание кончилось. Я не знал, что ты так силен. Может статься, мы еще и свидимся, но если ты того пожелаешь, мы никогда больше не встретимся. Я утратил власть над тобой.

Он снова извлек из кармана обширный платок и судорожно отер лицо и шею. Тяжелое дыхание со свистом слетало с его уст.

— Перестань бормотать молитвы, замолчи! От твоих заклинаний нет никакого проку — воли твоей не мог я сломить. Чудные же вы создания!

С растущим беспокойством он поворачивал голову то направо, то налево, оглянулся вдруг и стал пристально вглядываться в мрак за своей спиной.

— Мне делается не по себе от этой мартышки, — промолвил он, сильно передернув плечами. — Худо мне в чехле из кожи… Вели, и от меня не останется и следа, самого духа не останется!..

Долгое время он стоял недвижно, закрыв лицо ладонями, словно собираясь с силами. И когда он поднял голову, Дониссан посмотрел ему в глаза и восстонал.

Если бы он висел на самой вершине мачты, привязанный к ней обеими руками, и, перестав понимать, где верх, где низ, увидел бы, как под ним то проваливается, то вздувается не море, не звездная пучина, а пена рождающихся галактик кипит на триллионы километров окрест среди безбрежных пустых пространств, сквозь которые он будет падать бесконечно, то и тогда в груди своей не ощутил бы он такого сосущего замирания. Сердце его заколотилось о ребра как безумное и остановилось. Неодолимая тошнота подступила к горлу. Пальцы — единственное, что оставалось еще живого в окованном ужасом теле, заскребли землю, как звериные когти. Меж лопаток побежали ручейки пота. Неустрашимый муж, казалось сломленный, исторгнутый из лона земли неодолимым зовом бездны, видел уже себя погибшим безвозвратно. Но и в сей страшный миг всеми помыслами его владело одно непостижимое желание: не сдаваться.

Сразу, словно от толчка, застывшая было в нем жизнь вновь ринулась по жилам, кровь засту-

чала в висках. Вперенный в него взор походил на любой человечий взгляд, и знакомый голос звучал в ушах, словно не смолкал никогда.

— Я покидаю тебя, больше ты меня не увидишь. Единожды в жизни видят меня. Пребуди в глупом твоем упорстве. О, если бы люди знали, какую награду уготовал им господин их, ты не был бы столь великодушен, ибо мы одни, только мы — слышишь? — не дались в обман и, избирая между любовью его и ненавистью, предпочли, ведомые высшей мудростью, недоступной вашему ничтожному мозгу, ненависть его… Да что мне проку вразумлять тебя, пес, припавший к земле, покорная скотина, раб, творящий во всякий день господина своего!

Наклонившись с необыкновенным проворством, он подобрал валявшийся на дороге камень, поднял к небу, сдавивши рукою, произнес чародейные слова и радостно заржал… Все произошло во мгновение ока. Отголоски дикого хохота покатились до самых дальних пределов земли; камень заалелся, потом побелел и воссиял вдруг неистовым светом. С тем же смехом лошадник швырнул его себе под ноги в грязь, где он погас с оглушительным шипением.

— Это так, забава, — молвил он, — детская по-

теха. Тут и смотреть не на что… Однако же час настал, и нам должно разлучиться навсегда.

— Ступай, никто тебя не держит, — отвечал святой.

Голос Дониссана был тих и покоен, но слышался в нем легкий оттенок жалости.

— Нас встречают в страхе великом, — отповедал другой так же тихо, — но разлука грозит бедою тому, кто расстается с нами.

— Ступай же! — кротко повторил кампаньский викарий.

Чудище подскочило, закружилось с немыслимой быстротой, простерши перед собой руки, и отпрянуло вдруг, словно налетев на непреодолимую преграду, — с трудом оно восстановило равновесие и устояло на ногах. Сколь бы нелеп ни был сей внезапный прыжок, строгая последовательность движений, рассчитанная сила их и, в особенности, неожиданная остановка были столь поразительны, что отнюдь не казались смешными. Очевидно, незримое препятствие, на которое наткнулся витязь тьмы, было огромно, ибо, хотя он и избежал его с ловкостью непостижимой, земля содрогнулась неслышно до самых недр и гулом отозвалось в ней среди глухого безмолвия.

Понурившись, лошадник медленно попятил-

ся и тихонько, словно смирившись, уселся на землю.

— Но вы же не пускаете меня, — молвил он, пожимая плечами. — Что ж, пользуйтесь своей властью, покуда не вышел отпущенный вам срок.

— Я не имею никакой власти, — печально ответствовал аббат. — Зачем искушать меня? Нет, не от меня исходит сила сия, и тебе ведомо о том. Однако я некоторое время наблюдал тебя и извлек из того некоторую пользу. Твой час настал.

— Я вижу мало смысла в ваших словах, — мягко возразил собеседник. — О каком часе вы толкуете? Разве существует мой час?

— Мне дано видеть в тебе, — раздельно проговорил святой. — Я вижу в тебе, насколько дано видеть человеку. Я вижу твою нестерпимую муку, длящуюся бесконечно до избавления через смерть, но в милосердии смерти тебе будет отказано. О, тварь, обреченная муке вечной!

При сих словах чудище свалилось с насыпи на дорогу и стало кататься по грязи в ужасных корчах. Потом затихло вдруг, в мучительном напряжении выгнув спину так, что опиралось лишь затылком и пятками, подобно пораженному столбняком. И тут вознесся его голос — пронзи-

тельная жалоба:

— Довольно! Довольно! Священный пес! Палач! Кто научил тебя, миропомазанный зверь, что более всего на свете страшна нам жалость? Делай со мной все, что захочешь, но если ты доведешь меня до крайности…

Кто из людей мог бы без содрогания услышать сей жалобный вопль, изреченный на их языке, но звучащий из мира иного? Кто не испугался бы за свой рассудок? Но люмбрский святой, потупив очи, думал лишь о рассудке тех, чьи души были погублены чудищем…

Все время, пока Дониссан творил молитву, ночной спутник стонал и скрежетал зубами, но все тише и тише, и когда викарий встал на ноги, совсем умолк и лежал подобно трупу.

— Что тебе нужно было от меня этой ночью? — спросил Дониссан так спокойно, как если бы обращался к кому-нибудь из своих знакомых.

От недвижного тела восстал голос:

— Отныне и впредь до твоего смертного часа нам дозволяется испытывать тебя. Только при чем здесь я? Я просто исполнял волю более могущественного. О праведник, не мучь меня боле!

— Чего ты хотел от меня? — повторил Дониссан. — Не пытайся лгать — у меня есть средство

принудить тебя говорить правду.

— Я не лгу и готов отвечать на твой вопрос, только ослаби силу молитвы. К чему молитва, когда я простои исполнитель? Он послал меня испытать тебя. Хочешь знать — как? Скажу. Кто смеет ослушаться тебя, о мой повелитель?

— Молчи! — отвечал Дониссан с тем же спокойствием. — Испытание посылает мне Господь. Я буду ждать, не стараясь что-нибудь разведать, тем более у тебя. В годину сию Господь послал мне силу, какой тебе не одолеть.

В то же мгновение стоявший перед ним расплылся, вернее, очертания его тела как-то странно задрожали и стали смутны, словно слившиеся в мглистый круг спицы быстро вертящегося колеса.

И тут викарий узрел перед собою двойника своего, столь совершенное, столь искусное свое подобие, что оно походило не так на зеркальное изображение, как на то неповторимое, единственное в своем роде, необыкновенно сложное представление, которое каждый имеет о самом себе.

Дониссан увидел свое бледное лицо, измазанную грязью сутану, невольное движение руки, прижавшейся к сердцу; увидел свои глаза и страх

в них. Никогда его собственное сознание при всей его привычке к самосозерцанию не могло бы столь поразительно раздвоиться. Даже самый тонкий наблюдатель, исследующий свой внутренний мир, может постичь в единое время лишь одну из его сторон; то же, что явилось теперь тому, кто назван был впоследствии люмбрским святым, было одновременно и совокупность и части, ее слагающие, его мысли, причины, их породившие, и следствия их, переплетение бесчисленных нитей, их связующих, тончайшие оттенки своих желаний — так в узоре кровеносных сосудов нагого тела видно биение жизни. Образ сей, единый и многоликий, подобный той картине, которая представилась бы человеку, способному видеть мир сразу в трех измерениях, был столь совершенен, что бедный священник увидел себя не только в настоящем, но и в прошлом и в будущем, увидел всю свою жизнь… Господи, ужли человеки столь прозрачны взгляду Лукавого, неусыпно их стерегущего? Ужли столь беззащитны мы пред ненавидящим нас разумом его?

Некоторое время они стояли так друг против друга. Чувства Дониссана обмануты были столь тонко, что он даже не испугался. Несмотря на все

свои старания, викарий не мог отличить себя от двойника, но все же сохранял отчасти ощущение своей целостности. Нет, то был не испуг, но смятение столь великое, что ему казалось бессмысленным приказывать призраку, как если бы ему противостоял враг, облеченный его собственной плотью. Наконец он отважился.

— Сгинь, Сатано! — произнес он, стиснув зубы.

Слова застряли у него в глотке, и рука дрожала, когда он поднял ее на самое себя, но он схватил это плечо, ощутил его плотность и не умер от страха. Он сдавил его, желая сокрушить, и, внезапно взъярившись, стиснул пальцы, что было силы. Он видел перед собой свое собственное лицо и свои глаза, ощущал свое дыхание на своей щеке и тепло своего тела на ладони… И тут все исчезло.

От жалкой развалины, все еще валявшейся в дорожной грязи, вновь послышалось стенание:

— Ты ломаешь, грызешь, пожираешь меня. Что же ты за человек, коли уничтожил столь дивный образ, даже не разглядев его как следует?

— Не это мне надобно, — сказал Дониссан. — Зачем мне знать себя? Бедному грешнику довольно простого самосозерцания, другого знания ему не нужно.

Так говорил он, хотя ему было мучительно жаль пропавшего видения. Он задыхался, чувствовал в себе головокружительную пустоту от неистовой жажды познать сверхъестественное, которая навсегда, бесповоротно останется неутоленной. Но казалось ему, что он близок к исполнению своего намерения.

— Пришел конец твоим козням, — молвил он, спихивая ногой с дороги трепещущий остов. — Как знать, много ли еще у меня времени? Надо спешить, спешить!

Он низко склонился над телом не столько оттого, что хотел лучше слышать, сколько от владевшего им бессознательного желания скорее кончить дело.

— Отвечай! (Он осенил крестом не неподвижное тело, но самого себя.) Ужли Господь отдал в твои руки жизнь мою? Должно ли мне умереть здесь?

— Нет, — отвечал голос с тою же мукою. — Мы не вольны распоряжаться тобой.

— В таком случае мне нужно вырвать у тебя тайну, сколько бы мне ни оставалось времени жизни: один день или двадцать лет. Я вырву ее, даже если мне придется отправиться туда, где живет твое племя. Я не боюсь тебя, нет во мне

страха! Да, я снова перестал понимать тебя, но я видел твои страдания, о обреченный вечному мучению! Тебе мало погубленных тобою душ? Тебе нужны новые жертвы? Ты в моих руках. Я попытаюсь свершить то, что внушает мне Господь наш. Я изреку слова, повергшие тебя в ужас, затворю тебя в круге молитвы, как зловещую сову, ежели не отступишься от пагубных умышлений противу вверенных мне душ.

К его великому изумлению, в тот самый миг, когда речи его должны были, казалось, возыметь наибольшую силу, валявшийся на краю дороги дряблый куль заворочался, движимый неодолимою силою, стал пухнуть, принял вновь человечье обличие, и уже знакомый Дониссану веселый спутник взговорил:

— Мне не так страшен ты со своими молитвами, как тот… (Начав со смешком, он произнес последние слова с ужасом в голосе.) Он близко, я чую его. О, как беспощаден тот господин!

Он затрясся всем телом, потом голова его склонилась к плечу, а лицо прояснилось, как если бы ему послышались удаляющиеся шаги недруга своего. Он заговорил снова:

— Ты спешил расправиться со мной, но власть твоя кончилась. Ты хотел помешать моим коз-

ням? Безумец! Нет, я не напился еще христианской крови! Сегодня тебе оказали милость, но ты дорого заплатил за нее и заплатишь еще дороже!

— Какую милость? — воскликнул Дониссан.

Он тотчас пожалел о сказанном, но собеседник уже ухватился за сорвавшиеся с его уст слова. Его гадкие губы покривились от злорадства.

— Ты видел самого себя (в первый и последний раз), а теперь увидишь… увидишь… хе-хе-хе!..

— Что ты мелешь, лгунишка? — вскричал викарий.

Как если бы невольное восклицание снедаемого любопытством Дониссана совершенно ободрило и успокоило странное создание, несмотря на учиненную ему обиду, оно медленно поднялось с земли, уселось с показным спокойствием и неторопливо застегнуло пуговицы кожаной куртки. Пикардский барышник сидел на прежнем месте, словно и не сходил с него. Поднятая рука святого бессильно опустилась. Странное дело! Ему, не устрашившемуся сонмища видений, то причудливых, то пугающих, стоило немалых усилий глядеть на безобидное существо, добродушного малого, удивительно похожего на многих других. Трудно было бы изъяснить словами чудовищное несоответствие между этим знакомым ртом с

озорною складкою в углах губ и страшными речами, слетавшими с них.

— Погоди, не увиливай! Уж больно ты падок на наши тайны! Сейчас сам увидишь, лгал я или нет. Кстати, если бы ты потрудился посмотреть хорошенько на то, что я показывал тебе, ты не стал бы хулить меня (он употребил другой глагол). Ты видел самого себя, теперь увидишь еще кое-кого… Какая жалость, что такой дар ниспослан такому пентюху, как ты!

— Б-р-р, — сказал он и подул в сложенные ладони, как делают сильно продрогшие люди. Глаза под полуопущенными веками смеялись на красноватом лице. Необыкновенно живые, они могли выражать и насмешку и презрение, но теперь в них светилась откровенная радость.

— Хо-хо-хо! Как мы смущены! Какое красноречивое молчание! — заикаясь, проговорил он. — А сколько прыти в нас было! Ну прямо гроза для бесов! Ах ты, заклинатель, колдунчик, святенький мой!

При каждом взрыве хохота Дониссан вздрагивал и снова впадал в отупелую неподвижность, ибо оцепеневший мозг его не мог уже породить ни единой мысли.

А тот крепко потирал руки.

— Какую милость, какую милость! — язвительно повторял он, передразнивая свою жертву. — В битве с нами очень просто сделать неверный шаг. Из-за своего любопытства ты на время оказался в моей власти.

Он подошел ближе и доверительно продолжал:

— Да что вы знаете о нас, самодовольные тупицы? Мы так терпеливы в своем неистовстве, так мудры в твердости! Да, мы исполняем Его волю, ибо нельзя не подчиниться Ему. Да, конечно, — какой смысл отрицать? — наше ночное приключение кончилось, судя по всему, моим посрамлением… (О, когда давеча я усилил волю против тебя, мысль Его сосредоточилась на тебе, и даже твой ангел-хранитель вострепетал в блеске огненных сполохов!) Но твои незрячие очи ничего не разглядели!

Он фыркнул от смеха, более похожего на конское ржание:

— Го-го-го! Среди всех, отмеченных одною печатью, ты самый неповоротливый, самый тугодумный, самый тяжеловесный!.. Ты вздираешь борозду, словно вол, и кидаешься на врага, как козел… сверху — ничего не скажешь, удобное положение!

Лихорадочно дрожащий Дониссан по-прежнему смотрел на него в безмолвном ужасе. В то же время нечто подобное молитве, хотя и неопределенное, смутное, расплывчатое, вертелось у него на уме, и он никак не мог вспомнить. И казалось ему, что болезненно сжавшемуся сердцу становится немного теплее в груди.

— Уж мы возьмемся за тебя с умом, — продолжал между тем другой. Можешь вредить нам — мы в долгу не останемся. Не было еще на свете деревенщины, из которой мы не извлекли бы выгоды. Уж мы с тебя сгоним жирок, пообтешем!

Он приблизил свою круглую голову, пышущую жаром полнокровия:

— Я прижимал тебя к груди, баюкал на руках — сколь же раз ты будешь неговать меня, воображая, что прижимаешь к сердцу другого! Сей печатью еси отмечен, такова на тебе есть печать ненависти моея!

Он положил ладони на плечи Дониссана, нудя его стать на колена, но викарий бросился на него — и нашел лишь пустоту и мрак…

Тьма вновь сгустилась окрест и в нем самом. Он не чувствовал в себе силы пошевелить хотя бы пальцем. Вся жизнь сосредоточилась в слухе едином, ибо внимал словесам, произносимым

вокруг него, но звучавшим призрачно, словно рождавшимся из воздуха, в бесплотном мире сонных видений. Он усилился гораздо над собой и определил связь между ними и некими живыми существами, двигавшимися подле него. Одно из сих существ, мнимых иль истинных, отдалялось, и он слышал, как стихал его голос и хруст песка под ногами. Потом он почувствовал, что дюжая рука, больно сдавив плечо, обхватила его и поднимает от земли. Затем что-то сильно прижалось к его губам и зубам. Огненная струя обожгла ему горло и грудь. Стена мрака, куда упирался его взгляд, расступилась, слабый свет проник в глаза, источник света медленно обозначился, и Дониссан узнал большой фонарь того рода, какие носят с собой ловцы в ненастные ночи, стоявший на земле в некотором отдалении. Незнакомый человек приподнимал его, обняв за плечи, и поил из горлышка солдатской фляги.

— Раненько же вы сегодня встали, господин аббат!.. — промолвил незнакомец.

— Чего вы хотите? — с трудом выговорил Дониссан.

Он старался произносить слова как можно медленнее и тверже, но видение еще стояло перед взором его. Человек отпрянул то ли от неожидан-

ности, то ли от испуга, чем привел в недоумение измученного викария.

— Я Жан-Мари Буленвиль, брат Жермены Дюфло из Кампани. Занимаюсь извозом в Сен-Пре. Я вас знаю. Вам лучше теперь?

От неловкости и великой жалости он старался не смотреть на священника.

— Я нашел вас на дороге, вы лежали без чувств. Один славный малый из Мареля, конеторговец, наткнулся на вас еще раньше меня, возвращаясь с ярмарки в Этапль. Вдвоем мы и перенесли вас сюда.

— Вы видели его? — возопил Дониссан. — Так он здесь?

Он вскочил на ноги так стремительно, что толкнул возчика, и тот пошатнулся. Но простой человек на свой лад истолковал столь удивительную порывистость и спросил:

— Может быть, вам нужно что-нибудь сказать ему? Хотите, я его кликну? Должно, он не успел еще далеко уйти.

— Нет, друг мой, — остановил его викарий, — не ворочайте его. К тому же я чувствую себя лучше… Давайте-ка я сам пройдусь немного.

Пошатываясь, он тронулся с места, и чем далее, тем тверже становились его шаги. Вернулся он

уже успокоенный.

— Так вы знаете его? — спросил он возчика.

— Это кого же? — удивился тот, но тотчас весело воскликнул: — А, парня из Мореля? Еще бы я его не знал: в прошлом месяце на ярмарке в Фрюж он продал мне двух жеребят. Так-то!.. А не пройтись ли нам вместе, господин аббат, ежели вы не прочь? От ходьбы вам сразу полегчает. Я как раз иду в каменоломню Вай — работаю я там — по пути увидите. Если вам станет хуже, то у Скворца, что держит корчму "Сорока-воровка", можно достать повозку.

— Идем же, — ответствовал будущий святой. — Силы вернулись ко мне, я чувствую себя прекрасно, дружище!

Некоторое время они шли в молчании. И тут Дониссан постиг истинный смысл недавно сказанных ему слов: "Сейчас увидишь, лгал я или нет".

Сначала медленно, потом все прибавляя ходу, они шли по довольно бойкой дороге, которая в осеннюю пору бывала настолько изрыта колдобинами, что по ней отваживались ездить лишь в крепкие заморозки. Вскоре им стало невозможно идти рядом. Извозчик шагал впереди, а викарий следом, глядя себе под ноги, чтобы выбрать

место получше, стараясь тверже ставить ноги, обутые в тяжелые башмаки, и помышляя лишь о том, чтобы не отстать от провожатого. Хотя его знобило еще от усталости и лихорадки, он в своей пагубной простоте почти забыл о мрачных дивах странной ночи, но не по легкомыслию или от умственного отупения, вызванного крайним упадком сил, — он умышленно не думал о них, что не требовало, впрочем, от него особых усилий. Он простодушно откладывал раздумья до более благоприятного случая, например, до ближайшей исповеди. Сколь многие на его месте пребывали бы в величайшем смятении, не зная, было ли случившееся плодом их помутившегося рассудка, либо они подверглись тягчайшим испытаниям, став жертвой могучих сверхъестественных сил! Он же, едва оправившись от испуга, покорно ждал новых происков нечисти и сошествия на него столь необходимой ему благодати. Не все ли едино, одержим он бесами или безумием, стал ли он игралищем собственного воображения или нечистой силы, коль скоро благодать сия есть нечто само собою разумеющееся и непременно сойдет на него! Он ждал прихода Утешителя с простодушною уверенностью дитяти, которое, едва настанет час трапезы, возводит взор на

отца своего, ибо несмышленое чадо Николи не усомнится в том, что даже в крайней нужде будет напитано хлебом насущным.

Они покрыли уже более трех четвертей расстояния, отделявшего их от каменоломни в Айи. Дорога была неведома Дониссану, отчего он всячески остерегался уклоняться вправо или влево. Порою он скользил, и жидкая грязь брызгала ему в лицо, залепляла очи. Непрерывное умственное напряжение в сочетании с каким-то внутренним сопротивлением, бессознательным стремлением оберечь и без того переутомленный мозг мешали ему сосредоточиться на новом невыразимом ощущении, в котором ему трудно было бы разобраться, даже если бы он желал того. Но мало-помалу это ощущение стало настолько сильно, вернее столь неотвязно, столь настоятельно (оно наполняло его удивительной сладостью), что он пришел наконец в смущение. В нем самом или вне его находился источник? В груди разливалось какое-то неземное тепло, несказанное блаженство. Но было еще что-то, острое чувство чего-то находящегося совсем рядом, настолько властное, что он подумал, что занимается рассвет или на небо вышел месяц. Но отчего же не смел он поднять очей?

Он шел, все так же глядя себе под ноги, почти смежив веки и не видя вокруг ни малейшего признака света, ни малейшего проблеска, кроме едва приметного мерцания грязных луж. Тем не менее он готов был поклясться, что его окружало кроткое ласкающее сияние, словно облако золотой пыли. Сам себе в том не признаваясь, да, может быть, и не веря в то, он боялся, что, стоит ему поднять глаза, наваждение рассеется и вместе с ним радость. Радость сия не пугала его. Он чувствовал, что нельзя бежать ее, не изведавши сначала, как поступал уже не раз. Он не ощущал насилия — его приглашали, его звали. В сущности, он не противился и не пенял себе за то, уверенный, что рано или поздно покорится могучей благотворной силе "Сделаю еще десять шагов, не глядя вперед, — твердил он себе, — потом еще десять... Еще десять..." Возчик камней весело стучал каблуками по иссохшей затверделой дороге, и Дониссан с чувством умиленной растроганности слушал звук его шагов. Мало-помалу в нем зрело убеждение, что человек сей есть друг его, что их соединяют и, очевидно, искони соединяли тесные узы неземного братства, узы божественного прозрения. Слезы навернулись ему на глаза. Так ясным утром встретились в

райском вертограде два избранника, рожденные друг для друга.

Тем временем они достигли перекрестка двух дорог. Одна из них отлого сбегала к селению, другая же, разбитая тяжело груженными дрогами, спускалась к каменоломне. Издали доносились пение кур и человечья молвь — по всей видимости, говор камнетесов, торопившихся добраться к месту работы еще до света. И тут Дониссан решился.

Ужли спутник его стоял перед ним? Он не сразу поверил глазам своим. Возможно ль, чтобы человек, представший взору его, с ослепительной ясностью напечатлевшийся в очах его, был смертным из плоти и крови? Вряд ли мог разглядеть он в ночном мраке недвижный стан, но чудилось Дониссану, что светит ему тот кроткий, ровный, живой свет, озаривший мысли его, свет истинно нездешний. Впервые будущий святой стал очевидцем свершавшегося в безмолвии чуда, ставшего впоследствии столь привычным ему. Вероятно, ему стоило некоторого усилия уверовать в то, что чувства не обманывают его. Так, прозрев внезапно, слепорожденный простирает к неведомому свету дрожащие персты и дивится, что не может осязать ни плотности его, ни очер-

таний. Да и мог ли молодой священник принять без внутренней борьбы новый способ познания, недоступный другим? Он видел спутника своего, не мог усумниться в том, что видит, хотя не различал черт его и тщетно пытался разглядеть лицо и руки... Однако, не ведая страха, с верою нерушимою, пристально и спокойно созерцал он дивное сияние не ради того, чтобы проникнуть в него взором, но в убеждении, что сам им проникнут. Ему казалось, что прошло много времени, но в действительности все длилось какой-то миг. И вдруг он понял.

"Как видел самого себя", — сказал страшный свидетель. Так оно и было. Он видел, видел своими смертными очами то, что пребывает сокрыто от самой мудрой прозорливости, самой изощренной догадливости, самой просвещенной образованности: человеческую сущность. Конечно, отчасти мы сознаем свою природу и, несомненно, несколько лучше разбираемся в собственной душе, чем в душе ближнего, но всякому должно погрузиться в себя, и чем более мы погружаемся, тем более сгущается мрак, пока наконец достигнем самых глубин своего "я", где мятутся тени предков и ревет, как подземная река, звериное естество. И вот... вот бедный священник

очутился неожиданно в самой сокровенной глубине другого человека, проникнув в нее так далеко, как проникает взор высшего Судии!

Дониссан сознавал, что свершалось чудо, и был восхищен тем, что свершалось оно так просто и тихо. Теперь, когда произошло проникновение в чужую душу, что любому трудно представить без громов и молний, оно не страшило его более. Вероятно, он лишь подивился тому, что таинство столь поздно открылось ему. Хотя он и не умел выразить этого чувства словами (впрочем, ему ни разу не удалось этого сделать), у него было ощущение, что знание сие соответствует его природе, что ум и способности, которыми гордятся люди, не имели бы здесь особого значения, что было оно попросту могучим приливом, бурной, всепоглощающей волной милосердия. Искренне полагая себя недостойным столь редкой, исключительной милости, он готов был в смирении своем винить себя за то, что мало любил ближних, коль скоро не знал душу их. А все, в сущности, так просто, и цель так близка, как только избран путь! Научившись пользоваться возвращенным ему чувством, прозревший слепец не удивляется более тому, что достигает взором далекой небоземи, куда прежде добирался он с великим трудом,

оступаясь и продираясь сквозь терновник.

Камневоз с прежним спокойствием шествовал впереди. Дониссан ощутил вдруг сильное желание окликнуть его, догнать, но подавил искушение. Он проникся уважением и любовью к внезапно открывшейся ему душе. То была простая, бесхитростная, заурядная душа человека, обремененная жалкими будничными заботами, не озаренная, словно божественным сиянием, светом кротости неземной. Каким уроком для несчастного, измученного, истерзанного страхом священника стало познание сего праведника, безвестного всем и ему самому, покорившегося своему жребию, долгу своему, хранящего верность всему, что любил в своей будничной жизни перед Богом, глядящим с небесного престола! И тут викария осенила мысль, от которой к уважению и любви примешалось какое-то опасение: "Не от сего ли человека, и его одного, бежал ты?"

Ему хотелось остановиться, не разрушив хрупкого пленительного видения, но тщетно искал он слов. Впрочем, ему казалось, что любое слово было бы недостойно: перед величием сей чистой души немели уста. Не диво ль, что сей ревнитель Бога, сей нищий среди нищих, замешавшийся в людской толпе, живущий бок о бок с самыми

невежественными простолюдинами, видящий столько пороков, но не осуждающий их в простоте своей, сохранил бесхитростную прямоту и младенческую чистоту души, что приводил он на ум образ другого труженика, столь же загадочного и столь же безвестного, образ деревенского плотника стража владычицы ангелов, праведника, представшего Искупителю,- чья рука крепко держала рубанок, ибо первейшей заботой его было добросовестно исполнить заказ и честно заработать свой хлеб.

Увы! Урок сей отчасти окажется напрасен, ибо, призванный вселять мир в души, сей пастырь не вкусит его сам. О единых грешниках назначено ему пещись, и путь свой люмбрский святой продолжит в тяготах и слезах.

Лишь когда они достигли распутья, Дониссан нашел наконец нужные слова. Он вкушал эту сладость, впивал ее с жадностью неутолимой, ибо предчувствовал, что она станет одной из редких отрад его бедной радостями жизни. Тем не менее он готов уже был отказаться от нее так же просто, как получил, лишиться ее без единого слова.

Камнетес остановился и сказал, поглаживая свой картуз:

— Вот мы и пришли, господин аббат. Вам идти

прямо еще полторы версты. Ну как, доберетесь сами? Не то я провожу вас к Скворцу.

— Нет нужды, друг мой, — отвечал викарий. — Напротив, мне стало лучше от ходьбы. Так что мы с вами простимся здесь.

Некоторое время он раздумывал, не разыскать ли ему позднее этого камнетеса, но решил, что лучше будет положиться на ту же волю, что свела их и, может быть, даст свидеться вновь. Ему хотелось благословить своего провожатого, но он не осмелился.

В последний раз обратил он к нему взор свой, вложив в него всю силу любви, какой дарил столь многих. Но смиренный путеводитель его не видел взгляда. Расставаясь, Дониссан ощупью нашел в темноте его руку и пожал.

Вновь перед ним лежала знакомая дорога. Он шагал по ней быстро, очень быстро. Первым побуждением его было безмолвно возблагодарить Господа за то, что ему дано было увидеть. Он шел, словно окутанный еще тем дивным сиянием. Ощущение близости исчезло, но то, что он испытывал, было не просто воспоминание. Так замирают, отдаляясь постепенно, звуки песни.

Увы! То действительно были постепенно стихавшие отголоски таинственного гимна, которого

уже никогда, никогда он не услышит! Недолговечно оказалось счастье его. С каждым шагом все более отдалялось это блаженное чувство, а когда, по детской простоте своей, он остановился, желая удержать его, стало ускользать еще быстрее. Он ссутулился и зашагал прочь.

Смутно видевшаяся в предрассветных сумерках местность мало-помалу обретала все более знакомые очертания. С грустью глядел он. Чем больше знакомых предметов видел он вокруг, тем скорее возвращался в русло привычных мыслей и забот, тем более смутным и сомнительным казалось ему великое ночное приключение. Утрачивая постепенно подробности, происшествие окутывалось мглою, таяло в дымке сонных грез гораздо скорее, чем он мог предполагать. В таких размышлениях Дониссан пересек деревню Помпон, миновал хуторок Брем, взобрался на последний косогор. Под собой, в лощине у подножия холма, он увидел неожиданно близкие путевые огни, горевшие близ кампаньского вокзальца.

Он стоял наверху с непокрытой головой, тяжело дыша, дрожа под своей заскорузлой от грязи сутаной и не понимая, отчего его знобит: от холода или от стыда. В ушах у него шумело.

И тут повседневная жизнь так внезапно и с

такой силой прихлынула к нему, что на какое-то время столь недавнее еще событие совершенно изгладилось в его памяти, не оставив там никакого следа. Столь неожиданное забвение сильно огорчило его главным образом потому, что он чувствовал себя так, словно его обокрали.

"Неужели мне все приснилось?" — думал он, вернее, пытался беззвучно проговорить эти слова в уме, чтобы заглушить другой голос, который внутри него произнес гораздо громче и необыкновенно раздельно: "Неужели я сошел с ума?"

О, человек, чувствующий, что его воля, внимание, а затем и сознание утекают, словно вода через решето, в то время, как окутанная мраком внутренность его является вдруг на свет, словно изнанка вывернутой рукавицы, терпит муку жестокую в краткий миг, которого не измерить ходом часов. Но коли сей страдалец — о, злосчастный пастырь! — усумнился, то не в себе только, но и в едином уповании своем. Теряя себя, он утрачивает большую драгоценность, достояние божественное, самого Господа и при последнем проблеске рассудка зрит черную пропасть, куда канет его великая любовь.

Он всегда будет помнить место, где разыгралось новое сражение. На вершине последнего

холма дорога круто изгибается, взору предстает узкая полоса земли, где растет древний вяз. Селение остается справа, в лощине, образованной последней складкой возвышенности, у самого подножия ее. В небе, над красными и зелеными огнями станционных семафоров, стоит смутное зарево пламени, полыхающего в пекарне Жозюэ Гириона. Рассветные сумерки все еще медлят в вышине.

По левую руку от Дониссана неясно обозначается низбегающий по крутому склону проселок, ведущий к службам замка Кадиньяна. Едва начавшись, проселок, поросший по сторонам чахлыми кустиками, уходит в землю и более напоминает овраг или глубокую промоину. Там чернеется мрак еще более густой, нежели объемлющий окрестность. Викарий невольно заглянул в рытвину. Налетавший порывами ветер то шелковисто шуршал вкруг древесных стволов, то поникал. Время от времени выбитый ногою из размокшей земли камень катился с шорохом вниз. И тут ухо Дониссана уловило в ропоте ветра легкий шум, который невозможно спутать ни с каким другим: шелест одежд человека, встающего на ноги и идущего к вам…

— Эй, вы там! — слышится женский голос, очень

молодой, но глуховатый и немного дрожащий. — Хватит уж, я давно слышу вас… Значит, вы все-таки вернулись? Значит, вы все-таки вернулись?

— А вы сама кто будете? — мягко спрашивает викарий.

Он стоял на краю откоса, его высокий стан едва проступал на слабо светлеющем небе, где текли клубящиеся облака. Печальным и словно обращенным внутрь взором он наблюдал, как на дне яра, меж глинистых обрывов копошится маленькая тень. Он ничего не знал о том, кем была эта загадочная, шевелившаяся в нескольких шагах от него и неуклонно близившаяся тень, но уже ощутил в себе тихую, чуждую всяких сомнений, росшую в полном безмолвии уверенность, что это, взбиравшееся по склону к нему и с негромким плеском ступавшее по грязной жиже, было последним и самым важным действующим лицом сей незабвенной ночи…

— А, это вы! А я-то думала… — сказала мадемуазель Малорти, как-то болезненно покривившись.

Чтобы лучше разглядеть его, она привстала на цыпочки, так что ее лицо пришлось вровень с его плечами. Оно выражало жестокое разочарование. Гнев, вызов, бесстыдное горе чередой пробежали по нему с молниеносной быстротой и

так четко, так пронзительно резко отпечатлелись на чертах ее, что детское личико сразу постарело. Тут ее глаза встретились со странным, приковавшимся к ней взглядом. Она с трудом выдержала его. Взор ее еще пылал, а опустившиеся уголки круто изогнутых губ отразили тревогу, смешанную с гневом.

Ибо взгляд сей не отрывался от ее лица. Сохранив, несмотря на безумие, осторожность, она напряженно, с присущей ей недоверчивостью всматривалась в эти глаза, пытаясь разгадать их выражение. До сей поры молодой священник, который, по выражению доктора Гале, "кружил слабые головы в Кампани", был ей в высшей степени безразличен, и она была поражена, повстречав его здесь в такую пору. Но, по причинам другого свойства, она была разочарована не менее того. Она-то была уверена, что если бы и не напугала его своим появлением, то по меньшей мере рассердила, но во взгляде его прочла одну невыразимую жалость.

Не ту жалость, что есть лишь скрытое презрение, но жалость мучительную, жгучую, хотя и соединенную со спокойствием и вниманием. Она не увидела никаких признаков ужаса или изумления, ни малейшего замешательства на немного

склоненном на сторону лице — к одному этому лицу был прикован взгляд Мушетты. Глаза его были прикрыты веками, ей хотелось заглянуть в них, и тогда она почувствовала, что все теснее прижимается к его груди, как если бы божий человек, равнодушный к праздному блеску зениц, прозревал людей через биение сердца.

Она ошибалась лишь наполовину. Он вновь услышал тихий и властный зов. И тогда, словно сокровенный свет, в нем воссиявший, словно заструившаяся в нем светозарная вода несякнущего родника, неведомое ощущение, необычайно тонкое и чистое, чистоты бесподобной проникло понемногу в тайная тайных его существа, достигнув самого начала жизни и обратив начало сие как бы плотью его тела. Подобно умирающему от жажды, который всем существом наслаждается острой свежестью влаги, викарий не мог бы сказать, что пронзило его: блаженство или боль.

Знал ли он в тот миг цену дара, ему преподнесенного? Знал ли, каков был дар сей? Человек, который в продолжение всей своей жизни, в беспрерывной изнурительной борьбе с собой, когда подчас казалось, что воля его слабеет, сохранил редкую прозорливость, вероятно, сам никогда ясно не сознавал в себе такое качество.

То, что происходило с ним теперь, не имело ничего общего с медленным накоплением опыта, когда люди идут от наблюдения к наблюдению и, осаждаемые сомнениями, почти неизбежно останавливаются на полпути, а иной раз попадаются на приманку собственной мудрости. До-ниссан прозрел нечто внутренним оком еще прежде, чем в уме возникло какое-либо предположение, и видение это властно им овладело. Дух викария был постигнут внезапным откровением, но разум его, уже плененный им, лишь начинал медленно, окольным путем, постигать причину сей уверенности. Так человек, пробудившийся в незнакомой местности, сразу охватывает ее взглядом при свете полуденного солнца, в то время как сознание еще только освобождается постепенно из плена сна.

— Что вам нужно? — резко спросила мадемуазель Малорти. — По-вашему, сейчас подходящее время, чтобы останавливать людей?

Она недобро посмеивалась, но смех был неискренний, и он это понимал. А может быть, он и не слышал его, ибо громче самого зычного голоса вопила в его ушах лютая боль, терзавшая молодую женщину.

— Я шла по Сеннекурской дороге,- словоохот-

ливо продолжала она, — а потом сделала крюк в сторону Кюрзарг. Вы удивлены, я вижу, только тут нет ничего странного: мне не спится по ночам… Другой причины нет… Ну, а уж вам, — распалилась она вдруг гневом,- святому человеку, служителю бога, не пристало подстерегать девушек, спрятавшись под кустом… Впрочем, может быть…

Она высматривала на спокойном лице малейший признак досады или смущения, который дал бы ей новый повод для смеха, но смех застрял у нее в горле, потому что она не увидела ничего, решительно ничего, что свидетельствовало бы о том, что ее хотя бы слышали. И когда она заговорила вновь, взгляд ее выражал совсем не то, что голос, звучавший все так же насмешливо:

— Видать, шутки вам не по душе. А что особенного? Я люблю посмеяться… Это что, запрещено? Уж я посмеялась за свою жизнь.

Она вздохнула и сказала уже другим голосом:

— Ну ладно. Кажется, нам больше не о чем толковать…

Мадемуазель Малорти пошла было вперед, но на дороге была выбоина, нога ее скользнула, она ухватилась цепкими пальчиками за рукав черной сутаны.

Что побудило ее остановиться вновь? Какое сомнение удерживало? И главное, отчего сказала совсем не то, что хотела, тотчас осудив себя в душе?

— Небось думаете, идет от любовника, спешит возвратиться до света?.. В некотором смысле вы правы.

Она украдкой оглянулась. По правую руку могучие норвежские пихты с черной хвоей гудящими черными громадами возвышались на побледневшем небе. В который раз уже слышала она их угрюмое ворчание!

Дониссан мягко положил ей руку на плечо и бесхитростно сказал:

— Хотите, пройдемся немного?

Он сошел по склону и решительно направился в сторону деревеньки Тьер, удаляясь от замка Кадиньяна и от городка. Понемногу дорога сузилась настолько, что по ней невозможно стало идти рядом. Никогда еще сердце не стучало так громко в груди Мушетты, как в то мгновение, когда она, слишком ослабевшая, чтобы сохранить мужество, а тем более хитрость, услышала позади себя топот грубых кованых башмаков. Так шли они некоторое время в молчании. При каждом шаге викарий отмеривал добрую сажень

и буквально наступал ей на пятки, понуждая прибавлять ходу. По прошествии некоторого времени такое поторапливание показалось ей столь невыносимо, что пропал сковывавший ее страх. Легко вскочивши на придорожную насыпь, она движением руки пригласила его пройти вперед.

— Да вы не бойтесь, — стал успокаивать ее Дониссан,- я не собираюсь навязываться вам! Я не любопытен, просто мне приятно было встретить вас этой ночью, когда столько дней минуло бесполезно. Ну, ничего, еще не поздно!

— Скорее рановато! — пошутила мадемуазель Малорти, делая вид, будто подавляет визгливый смешок.

— Я не искал вас, — возразил викарий, — не сердитесь на меня. Прежде чем встретить вас, я долго кружил, очень долго, очень странно. Надеюсь, вы не станете возражать против того, чтобы мы немного поговорили, ибо наша беседа, несомненно, принесет большое утешение и вам и мне?

Она пожала плечами и не тронулась с места. Однако она колебалась, какое-то беспокойство удерживало ее. Лишь некоторое время спустя она поняла, что в ней шевелилась тайная надежда.

Накануне Мушетта гостила у своих братьев в

Реманже. Около семи часов вечера ее высадили из автомобиля у Фо, где она хотела поужинать у своей подруги Сюзанны Рабурден в корчме "Юная Франция", а оттуда собиралась пройти пешком четыре или пять километров, отделяющие Фо от Кампани. Хотя роды ее были окружены тайной, кое-кому из родственников было известно, что после болезни девушка страдала тяжелыми приступами "черной хвори". Добрые люди считают "черную хворь" неизлечимой, а страдающих ею окончательно и бесповоротно помещают в разряд несчастных, у которых, пользуясь грустным и трогательным выражением, употребляемым в подобных случаях, "не все дома". По этой именно причине в последние месяцы редко случалось, чтобы кто-нибудь противился ее причудам. Итак, она покинула харчевню "Юная Франция", отвергнув общество брата своей приятельницы. Хотя и поздно пустившись в путь, она без особых усилий добралась бы до Кампани ранее десяти вечера. Однако, достигнув большой дороги, ведущей в Этапль, и повинуясь уже глубоко вкоренившейся привычке, она забрала немного в сторону, чтобы пройти мимо парка Кадиньяновой усадьбы. Неизвестно, сколько времени, без страха в душе, она простояла в грязи, прислонившись к изго-

роди и уткнув подбородок в стиснутые кулаки, привычно перебирая в уме воспоминания и взвешивая "за" и "против", чувствуя холодную трезвость в голове и жгучее пламя в груди. Побежденная, изгнанная из мира грез, ставшая отныне для всех несчастной девицей, одержимой призраками, обреченной на вечное сострадание, у которой отняли все, даже злодейство ее. Единственным утешением ее маленькой мятежной души осталась эта дорога, куда она приходила в тот же незабвенный час и по которой шла в ту неповторимую ночь, запертые отныне ворота, таинственный изгиб садовой дорожки и высокие безмолвные стены там, в отдалении, где бодрствовал бесполезно покойник, бессловесный свидетель.

Викарий долго ждал ответа, не выказывая ни малейшего нетерпения, но и ни малейшего сомнения в том, что ему должно повиноваться. И в то время, как голос его звучал все смиреннее, почти робко, лицо становилось все более властным. Внезапно он произнес, не меняя выражения голоса, нежданные слова, словно взорвавшиеся в сердце мадемуазель Малорти:

— Я просто хотел увести вас отсюда. Вам-то должно быть известно, что мертвец, которого вы

ждете здесь, не воскреснет уже!

Как громом пораженная Мушетта не издала ни звука, лишь вздрогнула всем телом, но тотчас овладела собой. И когда она проговорила первые пришедшие ей на ум слова, голос ее дрожал не от страха:

— Мертвец? Какой мертвец?

Все так же шагая вперед в то время, как она покорно трусила следом, он отвечал с прежним спокойствием:

— Мы плохие судьи себе и нередко внушаем себе веру в некие мнимые прегрешения, лишь бы не замечать того, что совсем разъело нам душу и должно быть выброшено ради нашего же спасения.

— Какой мертвец? — снова спросила Мушетта. — О каком мертвеце вы говорите?

Бессознательно хватаясь за полу сутаны, задыхаясь и лепеча, она едва поспевала за ним, заносясь на обочину каждый раз, как он делал новый шаг. Эта нелепая гонка, унизительное выпытывание, почти мольба, больно ранили ее самолюбие. Но она чувствовала в то же время какую-то тайную радость. Она без конца твердила одно и то же и вдруг заметила, что, удалившись от дороги, они вышли в чистое поле. Она сразу

узнала место.

То было неширокое, окруженное живыми изгородями и обсаженное на старый лад чахлыми липами пространство метрах в двухстах от Трилли, где сходилось несколько дорог. В первое воскресенье августа, на праздник местного святого, ярмарочные торговцы съезжаются сюда на своих убогих колымагах с товаром, а парни и молодицы иногда устраивают гулянье с плясками.

Снова, как при встрече, они стояли лицом к лицу. На востоке разгоралась печальная заря, и при таком освещении рослый викарий показался ей еще выше, когда властным движением, исполненным неизъяснимой силы и кротости, воздел над ее головой широкий черный рукав:

— Не удивляйтесь тому, что я скажу вам. Знайте, в моих словах нет ничего, что могло бы вызвать в ком-нибудь удивление или любопытство. Я всего лишь бедный человек, но когда мятежный дух обуял вас, я узрел божье имя, начертанное в вашем сердце.

Опустивши руку, он дважды перекрестил большим пальцем грудь Мушетты.

Она легонько отскочила с выражением тупого удивления на лице, не найдясь что сказать. И когда в ней смолк отзвук голоса, пронзившего ее

кротостью, отеческий взор викария поверг ее в совершенное замешательство.

Сколько отеческой ласки было в нем! (Ибо и он вкусил отравы и изведал неизбывной горечи ее!)

Человеческий язык, как ни бейся, не может изъяснить в выражениях отвлеченных истинность присутствия Бога, ибо все, что ни полагаем за несомненное, есть истина опосредствованная, и для большинства тех, кто прожил долгую жизнь и клонится к закату, опыт есть не что иное, как итог многолетних блужданий вокруг собственного ничтожества. Разум не рождает истин, кроме истин умозрительных, человеку дано познать лишь мир, разъятый на роды и виды. Единое пламя божественное способно сокрушить и расплавить ледяную скорлупу человеческих понятий. И то, что о сей поре открылось взору Дониссана, не есть внешний знак или личина, но душа живая, сердце, распахнутое перед ним, но накрепко запечатанное для всякого другого! Ныне, как и в час столь необычной их встречи, он не был бы в состоянии изъявить словами немеркнущее сияние, льющееся извне и растворяющееся с внутренним переполняющим его светом. И столь ярок и чист был первоначально запечатлевшийся образ девочки, что мир, распахнувшийся перед ним, не

сразу можно было отличить от трепетавшей в нем радости: все краски и облики жизни разом вспыхнули в ликующем свете.

Когда впоследствии у него допытывались о сем даре читать в душах, первым его побуждением было неизменно отрицать, отрицать упорно. Правда, иногда, страшась лжи, он высказывался более определенно, но с такой щепетильностью, столь простодушным стремлением к точности, что вопрошавшие лишь испытывали новое разочарование. Так толковал бы благочестивый селянин о блаженстве и слиянии с Богом святой Терезы и святого Иоанна Крестителя. Причина же в том, что жизнь представляется беспорядком и великой путаницей лишь тому, кто наблюдает ее извне. Но человек, наделенный сверхъестественным даром, хранит спокойствие, сколь бы высоко ни вознесла его любовь, жизнь духовная отнюдь не повергает его в смятение, коль скоро он обретает чудесные способности, которые он не дает себе труда истолковать иль обозначить словом.

Святого вопрошали: "Что вы видите? Когда? Какой знак? Какое знамение?" Он же в ответ твердил голосом прилежного школьника, забывшего простое слово: "Я жалею... просто жалею!.." Когда

он увидел на обочине дороги мадемуазель Малорти, едва различимую во мраке тень, душу его объяла неизъяснимая жалость. Не так ли матерь пробуждается в ночи, в совершенной уверенности, что ее дитяти грозит опасность смертельная? Видимо, милосердие великих духом, невыразимое чувство сострадания дают им проникнуть мгновенно в самую сокровенную глубину чужой души. Милосердие есть орудие познания наравне с разумом. Оно также имеет свои законы, но истина является ему, словно грянувший с небес гром, а рассудок, следующий его путями, видит лишь блеск молнии.

У любого другого на месте Мушетты, верно, подогнулись бы колена от устремленного сверху взора святого. Да и она ощутила на мгновение как бы нерешительность и нечто вроде умиления. Но тут приспел на помощь — о, на него можно всегда положиться! — властитель, день ото дня все более бдительный и неумолимый — образ, некогда едва различимый среди прочих, побуждение не более властное, чем иные желания, голос среди множества других голосов, звучащий теперь ясно и внятно; товарищ и мучитель, то жалкий, изнемогающий, льющий слезы, то требовательный, жесткий, не терпящий возра-

жений, в решительную минуту становящийся неумолимым, беспощадным, чья сущность вся заключена в горькой, страдальческой ухмылке, бывший прежде слугой, а ныне господин.

Это вспыхнуло в ней внезапно: слепая ярость, неистовое желание бросить вызов этим очам, замкнуть перед ними душу, унизить, оскорбить, осквернить сострадание, простершееся над ней. Она не бросилась к ногам судьи, хранящего величавое молчание, но восстала дерзновенно, вся трепеща, перед лицом его.

Она не сразу нашлась что сказать. Да и были ли слова, которые могли бы выразить сей исступленный порыв? В ее мозгу мелькали лишь с невероятной быстротой необыкновенно четкие воспоминания о жестоких разочарованиях ее короткой жизни, словно сострадание священника было их завершением и венцом… Наконец она пролепетала коснеющим языком:

— Ненавижу вас!

— Не надо стыдиться, — промолвил он.

— Держите ваши советы при себе! — выкрикнула Мушетта. (Но удар пришелся так точно, что гнев ее как бы отвлекся от своего предмета.) Я просто не понимаю, о чем вы говорите!

— Можете не сомневаться, что вас ждут новые,

еще более тяжкие испытания…

Помолчав, он спросил:

— Сколько вам лет?

Взгляд Мушетты выражал удивление, к которому примешивалась досада. При последних словах Дониссана она сделала над собой большое усилие и усмехнулась:

— Вам-то должно быть известно. Ведь вы столько знаете!..

— До сего дня вы жили, как неразумное дитя… Как можно не пожалеть ребенка? Хороши же отцы в мире сем! Но Господь помогает нам даже в безумстве нашем, и когда человек восстает на него, дабы проклясть, один он поддерживает немощную его руку!

— Дитя! — воскликнула она. — Дитя! Я не из тех девочек, что поют на церковных хорах, о нет! Чтобы отпустить все их грехи, вам не понадобится много святой воды. Не пожелала бы я вам испытать то, что изведала сама.

Последние слова она произнесла с какой-то забавной напыщенностью. Викарий спокойно ответствовал:

— Что вы нашли в грехе такого, ради чего стоило бы столько переживать и мучиться? Конечно, стремление к злу и исполнение греховного по-

мысла доставляет какую-то гнусную радость, но знайте, что некто до вас вкусил уже ее и испил чашу сию до дна.

Аббат Дониссан еще на шаг приблизился к ней. Ничто в его облике не обнаруживало особого волнения или желания произвести впечатление, но слова, слетевшие с его уст, пригвоздили Мушетту на месте и громом раздались в самом ее сердце:

— Забудьте об этом. Перед Богом вы неповинны в сем убийстве, и это так же верно, что теперь вы движимы чужою волею. Вы игрушка, детский мячик в руках Врага.

Он не дал ей времени ответить, да, впрочем, она сама не знала решительно, что возразить. Продолжая говорить, он увлек ее на Деврскую дорогу, широко шагая среди пустынной равнины. Она пошла за ним, не могла не пойти. Он говорил так, как никогда прежде не говорил и как ему уже никогда не суждено было говорить, даже в Люмбре, в пору полного расцвета его дарования, ибо она стала первой его добычей. То, что ей довелось услышать, не было приговором судьи, и не было в речах его ничего такого, что оказалось бы недоступно ее разуму дикого зверька. То была беспощадно кроткая повесть о ней самой, правдивая повесть о Мушетте, в которой рассказчик нигде

не сгустил красок, ничего не преувеличил, добавив причудливых, поражающих воображение подробностей. Напротив того, созерцая жизнь ее изнутри, выкинув из нее все второстепенное, несущественное, он изложил самое главное, так что стала очевидна вся пустота ее. О, как мало места оставляет жизни снедающий нас порок! На ее глазах огонь слов испепелил ее самое, всю без остатка, ибо ничто не могло избегнуть жгучего пламени бесхитростной правды, проникающего в самые глухие закоулки души, в каждую клетку тела. Разящий голос, потрясший Мушетту до самых недр, то усиливался, то замирал, и тепло жизни то приливало, то отливало в ней. Сперва сначалу голос сей глаголел внятно, словами обычными и являлся ей, сраженной страхом, подобно лицу друга среди пугающих снов; однако мало-помалу он все теснее сплетался с голосом, звучавшим внутри нее, с мучительным ропотом совести, возмущенной в самых глубоких истоках ее, и, наконец, оба слились в единый стенающий вопль, словно ударила вверх струя алой крови.

И когда голос умолк, она увидела, что жива еще.

Молчание было долгим. Во всяком случае, невозможно было бы определить, сколько време-

ни оно продолжалось. Нет меры, которой можно было бы измерить его. Голос зазвучал вновь, но из какой дали донесся он!..

— Отдохните, пощадите свои силы. Вы и так довольно сказали.

— Довольно сказала? Что сказала? Я ничего не говорила!

— Мы говорили, — продолжал голос, — и говорили весьма долго. Взгляните, небо уж светлеет, скоро ночь кончится.

— Неужели я говорила? — снова спросила она с мольбою в голосе.

И вдруг Мушетта вскричала (так при пробуждении в уме вспыхивает с неумолимой очевидностью воспоминание о совершенном накануне):

— Говорила! Говорила!

В серых рассветных сумерках она разглядела наконец лицо кампаньского викария. Оно выражало безграничную усталость, а глаза, где пламень угас, словно пресытились созерцанием тайного.

Мушетта чувствовала себя такой слабой, такой беспомощной, что, казалось ей, не была бы в состоянии сделать ни одного шага вслед ему или прочь от него. Некоторое время она пребывала в нерешимости, потом проговорила:

— Возможно ли?.. По какому праву?..

— Я не имею на вас никаких прав, — мягко ответствовал викарий. — Если Господу…

— Господу! — начала было она, но не могла кончить. Мятежный дух словно оцепенел в ней.

— Как вы бьетесь в его руке,- печально молвил Дониссан. — Удастся ли вам вырваться? Не знаю…

Он умолк, затем с невыразимым смирением сказал:

— Пощадите меня, дочь моя!

Викарий был ужасающе бледен. Протянутая к ней рука неловко упала, он отвел глаза.

А Мушетта уже зло стиснула кулачки.

Он увидел ее такой, какой неясно различал в потемках, час тому назад, увидел искаженное судорогой, неузнаваемое лицо преждевременно состарившейся девочки. От сознания тщетности усилий, бесплодного расточения сокровищ милосердия, от предчувствия неотвратимого у него заныло сердце.

— Господь! — снова вскричала она, злобно смеясь.

Над землей вставал бледный рассвет, но они видели лишь отражение его на своих лицах, ставших какими-то торжественно-значительными.

По правую руку от них едва проглядывала сквозь утреннюю мглу убогая деревенька, приютившаяся меж холмов. Единственным вестником жизни среди раскинувшейся насколько хватал глаз равнины была тонкая струйка дыма, курившегося над незримою кровлею.

Мушетта перестала смеяться, зыбкий огонек в ее глазах погас. Неожиданно она взмолилась снова, жалкая, измученная, упрямая:

— Я не хотела оскорбить вас… Ведь вы солгали мне? Я ничего не говорила, да и что я могла бы сказать? Мне кажется, я спала… Я спала?

Казалось, он не слышал ее. Она продолжала:

— Не отталкивайте меня… Вы должны ответить… Я исполню все, что вы ни прикажете мне!

Никогда еще голос странной девицы не звучал столь приниженно и просительно.

Однако и теперь он ничего не сказал.

Она отступила на несколько шагов, нахмурилась, долго глядела на него исподлобья пылающим взором и вдруг выкрикнула:

— Я во всем созналась! Вы знаете все!

Но сразу спохватилась:

— Впрочем, не все ли равно — когда? Я ничего не боюсь… Какая разница!.. Скажите только… прошу вас, скажите, что такое вы сделали? Прав-

да, я говорила во сне?

Мушетта была измучена до крайности, но неодолимое любопытство толкало ее к новой затее. Щеки ее зарделись, в очах снова зажегся мрачный огонь. Викарий смотрел на нее с состраданием, может быть даже с презрением.

Ибо, к великому его изумлению, видение померкло, растаяло. Слишком свежо и ясно было оно еще в памяти, чтобы можно было усомниться. В ушах еще звучали сказанные ими друг другу слова. Но вот мрак сгустился вновь. Почему не послушался он тогда внутреннего голоса, велевшего ему без промедления замкнуться в себе? Ибо перед собою он зрел лишь жалкое создание, наспех чинившее порвавшееся вдруг сплетение лжи… Но разве сам он, в почти божественном порыве, не освободился на краткое мгновение — целую вечность! от пут своей природы? Ужель отчаялся он, утратив сие могущество? Иль овладело им безумное желание вернуть его? Иль обуял гнев, когда жалкая девчонка, совсем еще недавно бывшая совершенно во власти его, восстала вновь? Он пожал плечами, и было в этом движении что-то в высшей степени оскорбительное.

— Я видел тебя! (Она затрепетала от бешенства, услышав это "ты".) Видел с такой ясностью, с

какой никогда, быть может, на грешной земле не являлись человеческому взору создания, подобные тебе! Я видел тебя так, что, при всей твоей хитрости, ты не ускользнешь теперь от меня. Уж не вообразила ли ты, что грех твой пугает меня? Не думай, что оскорбляешь Бога более, чем оскорбляют его обыкновенные скоты. В своем уме ты лелеяла лишь мнимые злодейства, подобно тому как утроба твоя могла носить лишь плод свой. Ищи, разрой скверны твои! Порок, коим кичишься, давно смердит там, и сердце твое преисполнилось омерзения во все дни твои. Твоя природа наделила тебя одними праздными мечтаниями, и они развеялись прахом. Ты веришь, что убила человека… Бедная девочка! Ты просто избавила его от тебя самой. Ты собственными руками уничтожила единственную возможность твоего омерзительного освобождения. А несколько недель спустя ты пресмыкалась у ног человека, который не стоил того. Он ткнул тебя лицом в грязь. Ты его презираешь, он же ненавидит тебя. Но ты в его руках.

— Я… в его… руках… — с трудом вымолвила Мушетта.

Ужас и бешенство ее были таковы, что на поразительно подвижном, а теперь словно застывшем

лице ее отобразилось какое-то зловещее спокойствие.

— Нет, я могу освободиться, я знаю, — проговорила она наконец. — Стоит мне только захотеть. Меня сочли безумной, но я ничего не сделала, чтобы разубедить их. Я ждала, когда буду готова, вот и все.

Он так нажал рукой на ее плечо, что она покачнулась.

— Ты никогда не будешь готова. Лишь непотребство свое таишь ты от Бога, грязь, которой сочится твоя душа. Дьявол! Ты думаешь, что свободна? Лишь в Боге ты обрела бы свободу. Твоя жизнь…

Он глубоко вздохнул, словно борец, готовящийся к схватке, в глазах его снова сверкнул свет сверхчеловеческого прозрения, но теперь в них не было жалости. Итак, он снова обрел свой грозный дар, отвоевав его в сражении, ценой безумного порыва. Он был готов свершить насилие, восстать против самого неба. Милость божия стала зрима его смертным очам, ибо видел отныне перед собой единого врага, затаившегося в своей жертве. И на бледное, словно съежившееся от страха лицо Мушетты легла печать сего прозрения, чей ужасающий свет вспыхивал по-

очередно в их слившихся взорах.

— Твоя жизнь есть точное повторение других жизней. Жизнь, прожитая на брюхе, когда люди видят не дальше края корыта, из которого жрет зерно их скот. Да! В каждом твоем деянии угадывается один из тех скупых, похотливых и лживых трусов, кто породил тебя на свет. Я вижу их, Господь сподобил меня видеть. Говорю тебе, я видел тебя в них и их в тебе. О, сколь тесно и опасно пространство жизни нашей в юдоли сей! Сколь узок путь наш!

И далее он держал речи еще более необычные, понизив голос и с кротостью великою.

Как передать их здесь? То была все та же повесть о Мушетте, чудесным образом переплетшаяся со сказом о других, давно забытых, а может быть, оставшихся совсем безвестными людях. Еще прежде, чем Мушетта поняла, сердце ее сжалось, словно она проваливалась куда-то, и еще она чувствовала робость, какую испытывает даже самый отчаянный человек, стоя на пороге огромной таинственной обители. Потом ее слуха коснулись уже слышанные, знакомые либо что-то неясно, но настойчиво напоминавшие ей имена; множась и множась, они озаряли друг друга, так что, наконец, стала обозначаться самая

суть повести: будничные, ничем не примечательные события повседневной жизни, обросшие извечной злобой людской — словно каменья, облепленные присохшей грязью, скучные тайны, скучная ложь, скучные изветы порочных уст, скучные приключения, вспыхивающие вдруг в памяти от произнесенного имени, словно в свете маяка, чтобы тотчас кануть во тьму, где разум бессилен что-либо различить, но в которой некий благоговейный ужас помогал угадывать сонмы бессмысленно копошащихся человеческих существ. Теперь, когда Мушетту влекла, вопреки ее воле и разуму, сила необоримая, сей ужас жил и думал за нее, ибо у пределов незримого мира страх служит человеку шестым чувством, а боль сливается с восприятием. Мушетта узнавала на лету некоторые имена, произносимые голосом, обретшим властную силу: Малорти, Брисо, Поли, Пишон, деды и пращуры, безупречные торговцы, почтенные домоправительницы, любившие имение их. Никто из них не умер, не оставив завещания, все они были гордостью торговых палат и нотариальных контор (твоя тетка Сюзанна, твой дядя Анри, твоя бабка Адель, и Мальвина, и Сесиль…). Но мало кому доводилось слышать то, о чем говорил ровный голос

сей: о человеческой жизни, постигнутой изнутри, о самом тайном в нем, запертом за семью печатями, не о том, какой она представляется с ее замысловатым переплетением причин и следствий, поступков и намерений, но о жизни, сведенной к немногим наиважнейшим явлениям, к наитягчайшим ошибкам, совершенным в продолжение ее. Разумеется, одним разумом своим Мушетта не много поняла бы из рассказа, ошеломительная сжатость которого оказалась бы не по силам и более светлым умам. Не в самой ли плоти Мушетты, ослабляемой всяким непотребством ее, скудевшей еще толику, едва греховный помысел вступал ей в ум, отзывался голос священника? Один за другим покойники и покойницы вставали из могил и являлись ее взору в наготе их, но она отнюдь не испытывала того, что можно было бы назвать любопытством. Она внимала сим превосходящим разум откровениям, сжавшись от ужаса, но не чувствуя ни любопытства, ни изумления в подлинном смысле слова. Ей чудилось, что она уже слышала все это. Более того: злобные наветы, годами лелеемая ненависть, блуд постыдный, злодейства, совершенные хладнокровно-расчетливо из алчности и злобы, — все поднималось помалу со дна ее

души, как всплывают в уме пробудившегося человека образы страшного сна. Никогда, нет, никогда еще не исторгали мертвецов столь беспощадно из праха могил и не повергали наземь, безжалостно выставив на свет нутро их. При каждом слове, каждом произнесенном имени что-нибудь всплывало из глубины прошлого, как зловонный пузырь со дна болота: поступок, желание, а порою нечто более важное и сокровенное — какая-нибудь мысль (ибо не умерла вместе с человеком), но столь сокрытая, столь глубоко потаенная и выхваченная столь беспощадно, что стон стыда исторгался из груди Мушетты. Она не слышала более внутреннего голоса, неумолимо обличавшего ее собственную сущность, в тысячу крат более выразительного и звучного. Впрочем, являвшиеся отовсюду рои призраков мелькали так быстро, что их нельзя было даже назвать, ибо слово не поспевало за ними. Но подобно тому, как могучая нота встает среди сумятицы звуков и властно подчиняет их себе, так и некая деятельная и ясная воля стремилась навести порядок в сумбурном кишении. Безотчетно-детским движением Мушетта выставила перед собой ручки, обороняясь от врага, но тщетно. Одно страшное видение, отброшенное усилием холодного рас-

судка, отдалялось и меркло, но уже подступало другое, словно рать рассеянная и вновь собирающаяся воедино, чтобы ударить на неприятеля. Еще совсем недавно столь многоликое полчище призраков, где она узнавала близких людей, неуклонно редело. Пестрое мелькание застывало в едином обличье — обличье порока. Мало того, порою зло оставляло от своей жертвы лишь уродливую разлагающуюся груду, полупереваренный, напитанный ядом ком. Скупцы являлись в виде шевелящейся кучи золота, блудники — клубка внутренностей. Прорвав оболочку, грех всюду являл взору тайну плода своего десятки мужчин и женщин, опутанных волокнами раковой опухоли — и самые эти ужасные тяжи, сокращающиеся, подобно перерубленным щупальцам осьминога, стягивающиеся к тулову чудища, изначальный порок, тайно гнездившийся в сердце дитяти… И вдруг Мушетта увидела себя такой, какой никогда еще не видела, даже в ту минуту, когда почувствовала, что гордыня ее побеждена. Что-то в ней надломилось бесповоротно и рухнуло во мрак. Голос тихий, но жгучий, сокрушающий, словно расчленял, разнимал ее на части. Она сомневалась уже, существует ли еще и существовала ли вообще когда-либо. Всякая отвлеченная мысль

всегда принимала в ее сознании зримые черты — ее можно было либо принять, либо отвергнуть. Что же можно было сказать теперь, когда распадалось ее собственное "я"! Она узнала самое себя в своих близких и, словно в горячечном бреду, не могла распознать себя в людском стаде, неотличимо похожую на других. Как, неужто за всю жизнь она не сделала ничего, что не было бы уже сделано другими? Неужели не было ни единой мысли, принадлежащей исключительно ей, ни единого поступка, который не был бы предвосхищен задолго до нее? Не схожие, но тождественные! Не повторенные, но неизменные! Она не могла бы изъяснить членораздельно ни одно из откровений, сокрушавших остатки ее мира. Она чувствовала в своей жалкой жизни какой-то чудовищный обман, ей чудился оглушительный хохот ликующего мошенника. Почуяв, распознав в ней свою собственность, каждый из ее ничтожных, однообразно подленьких предков приходил за принадлежащим ему добром. Ее растаскивали по кусочкам, всю без остатка. Она раздавала себя, стадо толпившихся вокруг Мушетты двуногих словно пожирало из подставленных ею пригоршней собственную ее жизнь. Что могла она оставить себе, отобрать у них?

Ничего. Даже гнев ее принадлежал им.

Она вскинулась, замахала руками, запрокинув голову, забилась, клонясь то на одну сторону, то на другую, совершенно так, как делает тонущий пловец. По лицу ее, словно потоки слез, ручьями бежал пот, но в глазах, прикованных к внутренним видениям, викарий видел лишь тусклый блеск остывшего металла. Уста ее безмолвствовали, хотя вопль видимо колотился в горле. Но неслышный этот вопль округлял искаженный рот, натягивал жилы откинутой шеи, сводил худенькие плечи, напрягал изогнувшийся стан, рвался наружу из каждой клетки тела, словно тянувшегося ввысь в отчаянной мольбе… Наконец она бросилась прочь.

До первого поворота дороги ей казалось, что она неторопливо идет, в действительности же она почти бежала. У подножия склона, где ее укрыли облетевшие кусты живых изгородей и тесно растущие яблони, Мушетта пустилась бежать что было духу. Однако на окраине Кампани, повинуясь безотчетному побуждению, она оставила большак и далее шла безлюдной о сию пору стежкою, которая и привела ее, никем не замеченную, в сад родительского дома. Она не думала ни о чем определенном, желала лишь остаться

одна за крепко запертой дверью, наедине с собою в укромном убежище. Внешний мир, знакомая окрестность, самое небо принадлежали врагу. Ее испуг, вернее, потрясение было столь велико, что, если бы представился случай, она позвала бы на помощь любого, даже отца.

Но случай не представился. В кухне никого не было. Она взбежала по лестнице, перескакивая несколько ступеней сразу, заложила дверь засовом, бросилась поперек постели, вскочила как ужаленная, кинулась к окну, раздернула занавески и, увидев свои глаза в стекле, отпрянула, как испуганный зверь.

— Это ты, Жермена? — раздался за стеною голос матери.

Одно стекло видело взгляд Мушетты, судорогу скривившихся губ. Негромко и спокойно ответила она:

— Я, мама.

И прежде чем старуха успела молвить слово, она сочинила, не колеблясь, не раздумывая, ту единственную ложь, которая более всего походила на правду:

— Жорж довез меня в автомобиле до Вьель… Он как раз ехал на рынок в Вьель-Обен…

— В такую рань?

— Ему пришлось выехать затемно: он вез на продажу свиней. Ну, я и воспользовалась случаем, не то пришлось бы возвращаться домой пешком.

— Ты не ужинала, — отвечала старая мать. — Сейчас сварю тебе кофе.

— Нет, я лягу — я совсем не спала, — возразила Мушетта. — Оставь меня.

— Отопри мне.

— Нет! — дико вскрикнула Мушетта. Но, одумавшись, проговорила тем сухим жестким голосом, который приводил в трепет госпожу Малорти: — Я хочу одного: спать! Покойной ночи!

Но когда внизу лестницы стих стук сабо, ноги Мушетты подкосились, она присела на корточки в темном углу, немая, незрячая.

Близкая опасность рождает единый страх, повергающий труса в оцепенение. Прежде чем убить, он сковывает мозг. Ужас просыпается позднее, когда окоченелый разум начинает понемногу сознавать, какой гость поселился в теле хозяина, начинает различать его зловещие черты. Приговор сражает осужденного, подобно камню, пущенному из пращи, и стражник, влекущий обреченного назад в узилище, бросает на ложе некое подобие трупа. Но когда в тишине глухой ночи несчастный открывает глаза, он

понимает вдруг, что стал чужим среди людей.

Мушетта редко всматривалась в себя со вниманием — это не доставляло ей ни малейшего удовольствия. В этом отношении она была совершенно не искушена, можно сказать — невежественна. Сколько ей помнилось, она никогда не испытывала ни сомнений, ни угрызений совести, но единственно смутное беспокойство, порожденное либо страхом, либо желанием подавить его, подспудное ощущение, что она на какое-то время поставила себя вне закона, до крайности обострившееся темное чувство зверя, отдалившегося логова своего и текущего незнаемым путем. Теперь же ее заботила лишь необъяснимая, только что возникшая воля, угроза, подчинившая ее волю, нелепый, такой будничный священник, которого все знают, с которым все раскланиваются на улице и который поставил ее на колени.

Воспоминание так жгуче, что оттесняет все прочие. Она наткнулась на преграду, и ею оказался священник. В прежнее время такое открытие распалило бы ее гневом, побудило бы насторожить бесчисленные ловушки хитрости. И если она не восстает теперь, то лишь потому, что, к несказанному своему удивлению, не нашла в оскорбленной своей душе ничего, кроме горечи

и отвращения.

На миг — на краткий миг — ей пришла в голову мысль (но как мучительно было облечь ее словами!): сокрушить преграду, вновь посягнуть на жизнь. Но тотчас Мушетта отбрасывает ее: она кажется ей бесплодной, нелепой, как все совершаемое в грезах. Человека не убивают из-за нескольких смутных слов. Так ищет она оправдания себе, но истина заключается в том, что, унизив ее гордыню, беспощадный противник сломил становой хребет, на котором держалась вся ее жизнь.

Опасность подхлестнула бы ее, отвращение не остановило бы. Одного страшится она: показаться смешной или жалкой. Как нередко случается в подобных обстоятельствах, слова, помимо сознания слетающие с уст, выдают глубоко затаенный страх. "Как бы им не вздумалось, что я совсем лишилась рассудка!" — шепчут губы Мушетты.

Лишилась рассудка! Мысль ее надолго задерживается на этом соображении. До сей поры, даже находясь в кампаньской лечебнице для душевнобольных, она не сомневалась в здравости своего ума. Едва сознание прояснилось, она стала с насмешливым любопытством прислушиваться к спорам врачей по поводу ее недуга. Что могли

знать эти господа о случившемся с ней? Почти ничего, ибо главное оставалось ее тайной. Своим новым зрителям она предстала в том именно облике, в каком мечтала явиться: опасной и загадочной девицей с необычной судьбой, героиней в толпе трусов и глупцов… Но сегодня, в эти мгновения…

Кого же устрашилась она? Там, за поворотом пустынной дороги, остался молодой священник, уже много раз встречавшийся ей на пути, безобидной и даже простоватой наружности. Очевидно, он что-то говорил. Но что такое важное мог он сказать? Несмотря на все свои усилия, она теряет власть над собой, как только начинает думать об этом. Но по мере того, как она размышляет, ей кажется все более вероятным предположение, что она стала жертвой самообмана. Она испугалась нескольких туманных высказываний, намеков, коварных на первый взгляд, но в действительности скорее всего совершенно невинных, ложно ею истолкованных намеков. На что же он намекал? Несколько вскользь произнесенных слов по поводу столь давнего, полузабытого преступления, скорее всего сказанных для того лишь, чтобы успокоить ее: "Перед Богом вы невиновны в сем злодействе…" (Она повторяет эти слова вслух, но

не чувствует более бешенства унижения, клокотавшего тогда в ее груди.) Что еще? Увещания, просьбы оставить стезю греха (она не может в точности вспомнить ни одной из них). И, наконец… (здесь память совершенно изменяет ей) какое-то странное откровение, столь смутившее ей душу, что теперь, когда остался один страх, а причина, породившая его, забыта, она не понимает, почему забилась, вся дрожа, в угол комнаты и стучит зубами, спрятав лицо в коленях. Вот она, тайна! Тогда-то она и бросилась бежать, тогда-то ощутила в себе эту жуткую пустоту. Возможно ли, возможно ль, чтобы она бежала в беспамятстве потому лишь, что услышала какие-то смутные суждения о себе и своих родственниках, почерпнутые, очевидно, в местной летописи? Правда, она поверила им; будучи довольно осведомлена на сей счет, не сомневалась в том, что при известных обстоятельствах не могла не поверить. Совершенно очевидно, что если бы вновь ей нарисовали те же картины и сказали те же слова, она и тогда не усомнилась бы. Ну и что из того? Разве она когда-нибудь страшилась ненависти глупцов? Ну что нового мог сказать ей поп? Ужас, словно подхвативший ее и повергший, трепещущую, в этом доме, внушен не им. Ее рассудок

помрачил сон… и этот сон, дремлющий в ней, может вдруг воскреснуть… Ах, вот уже и сердце забилось гулко, пот ручьями побежал между лопаток. Темный ужас захлестывает ее, бесплотная ледяная рука жуткими тисками сдавливает горло. Дикий вопль слышен в другом конце городка, вздрогнули самые стены.

Она очнулась на полу, лежа ничком у подножия кровати. Перина сползла на пол вместе с нею, и она так впилась в нее зубами, что рот полон пуха. Ничто не нарушает безмолвия, и она вдруг сознает, что кричала во сне. Призвав на помощь остаток сил, она глушит, загоняет внутрь новый вопль. В одно ослепительное мгновение ей представилось, как ее вновь водворяют в лечебницу для душевнобольных, как дверь вновь затворяется позади нее, теперь уже окончательно безумной, безумной в ее собственных глазах, по собственному ее признанию… Мушетта постонала прерывисто и умолкла.

Порою, когда колеблется самое основание человеческой души в телесной ее оболочке, самый презренный человек жаждет чуда и если не умеет молиться по наитию, то по крайней мере открывается Богу, как открываются уста, жаждущие глотка свежего воздуха. Но даже если

бы весь остаток своей жизни несчастная Мушетта разгадывала пугающую ее тайну, усилия ее остались бы тщетны. Да и как могла бы она собственными силами вознестись на высоту, куда поднял ее единым махом божий человек и откуда она низринулась? От света, пронзившего ее насквозь — жалкую легкомысленную зверушку, — осталась лишь непонятная боль, от которой она может умереть, так и не постигнув ее причины. Она бьется в корчах, пораженная блистающим клинком в самое сердце, и тот, чья десница держит оружие, не ведает, сколь жестоко его уязвление. Он не ведает божественного милосердия и не способен вообразить его… Сколь много рабов божиих яростно отбивается, когда ангел, чей лик открылся им на мгновение, но был тотчас забыт, вотще прижимает их к перси своей! Люди с любопытством наблюдают неистовые метания кого-нибудь среди них — он то ищет исступленно наслаждения, то отчаивается, вкусив его, и глядит на все, что окрест его, алчным одичалым взором, где угас последний отблеск томящей его жажды!

В течение двух бесконечных часов она то сворачивалась клубком и замирала, то корчилась на полу в припадке безмолвной бешеной ярости, то

впадала в жуткое забытье. Ей чудилось, что она на самом деле сходит с ума и опускается все ниже и ниже, словно нисходя по черным ступеням. Как бы читая строка за строкою свою жизнь, она снова переживала череду слагающих ее событий и поступков. То было нечто вроде вереницы живых картин, на мгновение вспыхивающих перед ее мысленным взором. Она вела счет воображаемым участникам, вглядывалась в их лица, слышала их голоса. С каждым новым образом, рожденным ее волею, наполненным жизнью по ее желанию, а затем сознательно выжатым ею до последней капли, чувства ее и разум буквально трепетали, подобно туго натянутым струнам, как трепещет под натиском ветра утлое суденышко, но боль была начеку и неизменно одерживала верх. Наконец, она стала умышленно разнуздывать в себе слепые силы хаоса, призывая безумие, как иные призывают смерть. Однако, повинуясь глубоко затаенному, вряд ли сознательному побуждению, она остерегалась в то же время малейшего внешнего проявления безумия, страшась, что оно сломит ее волю. Она не испустила ни единого вопля и подавляла даже стон, ибо стон был единственным признаком ее исступления и сам по себе мог поколебать ее рассудок. Она понимала

это и потому не звала на помощь. По мере того как вопреки ей самой внутреннее сопротивление усиливалось, судороги становились притворным беснованием, а ярость иссякала от самой необузданности ее. Мало-помалу она становилась сторонней наблюдательницей собственного безумия. И когда, словно пробудившись от неспокойного сна, она вновь услышала собственное шумное дыхание, а в душе воцарилось все то же странное спокойствие, безграничное, невыразимое разочарование овладело ей. Так бывает, когда ветер стихает внезапно над бушующим морем среди непроглядной ночи.

Мушетта по-прежнему не знала то, без чего ей невозможно было теперь жить. Но что же? Что? Напрасно отирала она кровь на изодранных ногтями щеках и искусанных губах, напрасно смотрела сквозь окна на занимающийся день, тщетно твердила в унынии бесцветным голосом: "Конец… конец!.." Истина открывалась ей, от сознания неизбежного сжималось сердце, безумие и то отказывало ей в сумрачном своем приюте. Она не лишилась рассудка и никогда его не лишится! Ей не хватало того, что было какое-то время в ее руках, но чего? Когда было? Как досталось? Теперь было совершенно ясно, что она

разыграла перед собой сцену сумасшествия, чтобы скрыть от самой себя, забыть — забыть любой ценою! — истинный, неизлечимый, неведомый недуг свой.

Ах, порою Господь зовет нас так кротко и так властно! Но когда Он отдалится вдруг, вопль, исторгнутый из обманутой плоти, приводит, верно, в изумление самих жителей ада!

И тогда она позвала — из самых недр, самых сокровенных тайников души зовом, в котором излилась самая сущность ее, — Сатану.

Впрочем, звала бы она его иль нет, он должен был явиться лишь в урочный час и кружным путем. Мертвенно-бледное светило редко восходит из бездны, даже когда ему творят моленье. Кроме того, коль скоро разум Мушетты отчасти помутился, она не могла бы сказать, кому и какую жертву хотела принести в своем лице. Желание сие возникло внезапно и было рождено не столь рассудком, сколь жалкой осквернённой плотью. Раскаяние, на миг разбуженное в ней божиим человеком, стало просто одним из страданий. Настоящее было исполнено тревоги и страха, прошлое же и будущее представлялись черным провалом. Она свершила уже путь, который другие проделывают шаг за шагом: сколь бы

незначительна ни была ее судьба по сравнению с уделом прослывших во языцех грешников, она сотворила, повинуясь тайному влечению к греху, все зло, на какое способна была, не считая последней неудачи. С детских лет она стремилась к нему, и каждый новый неуспех лишь подстрекал ее к новому вызову. Ибо Мушетта любила зло.

Не в толпе бесноватых, изумляющих свет картинными злодействами, находит Лукавый вожделенную добычу. Наивеличайшие святые не всегда творят чудеса, созерцатель чаще всего живет и умирает в безвестности. И среди служителей ада попадаются тихие монахи.

Вот она перед нами, невинность, одержимая нечистой силой, тихая служаночка Сатаны, святая Бригитта преисподней. Если не считать убийства, она не оставит по себе памяти на земле. Жизнь ее есть тайна между ней и господином ее, точнее, единственная тайна господина. Он не искал ее среди могущественных мира сего, и брак их свершился в молчании. Она достигла меты своей, не подвигаясь к ней помалу, но словно скачками, и коснулась ее, когда не предполагала, что она столь близка. Она будет вознаграждена. Увы! Нет на земле человека, который, приняв решение и сознавая неизбежность угрызений

совести, не бросился бы, хотя на миг, с холодной алчностью в омут зла, словно наскучив проклятиями ему — гибельная жажда исторгает стоны из уст любовников, мутит рассудок убийцы, вспыхивает последним светом в глазах самоубийцы, когда петля захлестнулась уже на его шее и он яростно отшвыривает ногою стул из-под себя… Так и Мушетта, но с силой удесятеренной, призывает из глубины души, не называя по имени, беспощадного Властителя.

Он тотчас явился, без предупреждения и возражений, устрашающе покойный и уверенный. Сколь бы велико ни было его сходство с Богом, он не способен вселить радость в душу, и наивеличайший дар его, далеко превосходящий все услады, тешащие плоть едину, есть безмолвный, одинокий, ледяной покой, подобный вкушанию небытия. Когда дар сей предложен и принят, хранящий нас ангел в смущении отворачивает лик свой.

Он явился, и исступление Мушетты кончилось, как по мановению волшебного жезла, сердце забилось медленно, тепло постепенно разлилось по ее членам. Тело и душа ждали, расчетливо и твердо, без праздного нетерпения, того, чему должно было случиться. Почти одновременно

мозг представил ожидаемое событие и полностью сознал его смысл. И Мушетта поняла, что настал час умертвить себя. Как можно скорее, немедленно.

Тело еще пребывало недвижимо, но разум устремился уже по пути избавления, и она пустилась вослед ему. Странная вещь, один взгляд ее был смутен и нерешителен. Все чувства Мушетты сосредоточились в концах пальцев, в ладонях проворных рук. Она отворила дверь своей комнаты, так, чтобы петли не скрипнули, потом дверь в спальню отца (его никогда не бывало там об эту пору), нашла на привычном месте его опасную бритву и открыла ее. И вот она уже снова в своей горнице стоит на цыпочках у зеркала, откинув голову так, что перед глазами ее напряглось беззащитное горло… Подавив сильное желание всадить лезвие сразу, она сознательно-безжалостно надавила и услышала хруст хрящей. Последним ее воспоминанием была теплая струя, ударившая в руку у самого сгиба ее.

IV

Аббат Дониссан дождался начала богослужения в ризнице, ключ от которой носил всегда в кармане, и справил обедню, как обычно. Вот уже несколько дней Мену-Сегре не выходил из своих покоев, страдая от особенно жестокого приступа грудной жабы. Взглянув около половины одиннадцатого на дорогу, он с удивлением увидел идущего по ней викария. Вот его тяжелые башмаки стучат уже по каменным плитам первого этажа, потом на лестнице. Неизменно твердый и спокойный голос спросил за дверью:

— Можно войти, господин настоятель?

— Ну, разумеется! — воскликнул священник, чье любопытство было возбуждено. — Прошу вас!

Он неловко повернул голову, покоящуюся на спинке тяжелого кресла между двух огромных подушек. Лицо викария неясно виднелось в сумраке покоя (занавеси были наполовину задернуты), но и то немногое, что разглядел Мену-Сегре, весьма мало соответствовало притворному спокойствию голоса. Впрочем, недоумение настоятеля выразилось лишь в том, что веки его, из-под которых он

устремил на аббата острый взгляд, мигали чаще обычного.

— Вот так неожиданность! — начал Мену-Сегре необыкновенно мягко. — Как это вам удалось так скоро обернуться?

Он умышленно не предложил Дониссану сесть, ибо знал по опыту, что когда бедный викарий стоял перед ним столбом, природная застенчивость его еще увеличивалась и тогда из него можно было веревки вить.

— Вечно со мной случаются всякие нелепицы, — ответствовал Дониссан. Словом, я заблудился…

— Стало быть, вы пришли в Этапль слишком поздно, когда исповедание уже кончилось?

— Я еще не все сказал,- сокрушенно признался викарий.

— Вы с ума сошли! — вскричал Мену-Сегре, пристукнув ладонью по подлокотнику с горячностью, столь не похожей на обычную его учтивость. — Что подумают люди, я вас спрашиваю? Еще куда ни шло опоздать, но не прийти совсем!

Сколь бы мало ни заботило настоятеля чужое мнение о нем, он боялся предстать в смешном свете по причине болезненной мнительности, составлявшей как бы женское начало этого в

общем довольно мужественного человека. Вот уж будут потешаться над ним в лице этого несуразного викария, и так уже ставшего притчей во языцех! Но, встретившись взглядом с непогрешимо честными глазами Дониссана, он покраснел, устыдившись своей слабости, и проговорил примирительно:

— Ну ладно, что сделано, того не воротишь. Сегодня же вечером напишу канонику и буду просить у него прощения за нас. А теперь объясните мне…

Сжалившись наконец над беднягою, он указал ему на стул. Однако, к великому его удивлению, викарий не сел.

— Извольте же объяснить мне, — начал он снова, но уже совершенно другим, участливым и в то же время требовательным голосом, — как вас угораздило заблудиться в местности, которую едва ли назовешь пустыней безлюдной?

Аббат по-прежнему стоял, склонив голову к плечу, всем видом своим выказывая смиренную почтительность, но ответ прозвучал высокомерно:

— Должно ли мне говорить то, что почитаю за истину?

— Да, должно, — возразил Мену-Сегре.

— В таком случае я скажу.

Бледное лицо викария, на котором не изгладились еще следы ночных страхов и усталости, выражало твердость человека, принявшего решение и намерившегося исполнить его во что бы то ни стало. Лишь по тому, что он отворотился, можно было понять, что ему стыдно. До-ниссан заговорил, потупив глаза, и пожалуй, несколько утороплено.

Впрочем, откровенность, смелость некоторых замечаний, явное стремление говорить обо всем без прикрас даже менее проницательного наблюдателя навели бы на мысль, что бедняга питает, очевидно, тайную надежду на то, что его перебьют, строго одернут и помогут, таким образом, выйти из затруднительного положения, лишив в то же время собеседника возможности упрекнуть его в том, что он не исполнил своего обещания. Однако настоятель слушал викария до конца в глубоком молчании.

— Я не заблудился, — начал Дониссан. — В крайнем случае, я мог бы сбиться с пути на полдороге, среди равнины. Потому я и держался большака и лишь однажды, и то на короткое время, отошел в сторону. Мне нужно было просто идти все прямо и прямо. Даже глухою ночью (а темень, надо

сказать, была непроглядная) было бы немыслимо заплутаться, и если это случилось все же со мной, вина тут не моя.

Переводя дух, викарий продолжал:

— Каким бы диковинным и невероятным вам ни казалось все это, есть вещи еще более диковинные и невероятные. Еще более страшные. Мне уготовано было еще одно испытание.

Здесь голос его дрогнул, а рука непроизвольно приподнялась — так бывает, когда рассказчика перебьют вдруг каким-нибудь веским возражением. Взор его обратился, на сей раз смиренно, к лицу настоятеля.

— Я хочу спросить вас… Уместно ли вести речь о приключениях, совершенно, пожалуй, несуразных, и толковать их так, как мне представляется уместным… (он снова запнулся) невольно приписывая себе некое значение… некий дар?..

— Да будет вам! Будет! — резко прервал его Мену-Сегре.

Викарий послушно умолк и, помолчав некоторое время, в течение которого, видимо, собирался с духом, дабы побороть праздное желание сгладить острые углы, щадя чужое самолюбие, продолжал:

— Божиею волею сподобился дважды, и так,

что в сем не может быть ни малейшего сомнения, узреть воочию душу человечью сквозь плотскую оболочку. Узрел, не прибегая к обычным способам, таким, как изучение и размышление, но единственно особого рода чудесным наитием, о коем почел своим долгом поведать вам, не страшась любой кары…

— Что же почитаете вы за чудо? — вопросил Мену-Сегре совершенно будничным голосом.

— Именно то, что случилось со мною, — ответствовал тот.

— Вы не преминете сообщить о случившемся епископу, — преспокойно молвил настоятель.

Да и во взгляде, которым настоятель буквально обволок нескладного своего викария, не было решительно удивления, но единственно спокойное, беспристрастное внимание человека, с легким любопытством и не без высокомерного сострадания взирающего на изложенные ему обстоятельства. Викарий покраснел до корней волос.

— Так что же вам повстречалось глухой ночью в чистом поле?

— Сначала человек, чье имя мне неизвестно.

— Угу, — насмешливо хмыкнул настоятель.

— Поймите меня! — воскликнул Дониссан, и

губы его задрожали. — Он сам подошел ко мне… Я ни о чем таком и не думал… Я и лица-то его не видел… голос незнакомый… Некоторое время мы шли вместе, говорили о разных пустяках… о погоде… о ночи… не помню уж теперь, о чем…

Викарий умолк, устыдившись того, что не сказал всей правды своему судье, и, решившись вдруг, проговорил, словно головой вперед бросился в воду:

— Тогда-то меня осенило божественное наитие, о котором говорил вам. Что же касается до второй встречи…

— Я довольно теперь знаю… во всяком случае, пока, — прервал его настоятель. — Подробности не имеют уже особого значения.

Он откинул голову на подушки, болезненно покривившись, вытащил из кармана табакерку, втянул понюшку носом и, расслабленно приподняв руки, как бы прося прощения за то, что прервал будничную беседу, попросил:

— Не откажите в любезности позвонить мадемуазель Эстелле! Мне пора глотать салициловую кислоту, а я не знаю, где она поставила пузырек.

Пузырек сыскался на обычном месте. Настоятель медленно выпил лекарство, тщательно отер губы и отпустил домоправительницу благодар-

ным взглядом. Когда дверь затворилась за ней, он сказал:

— Мальчик мой, вас сочтут сумасшедшим!

Но перед ним стоял один из тех, чей опыт питается исключительно внутренним источником, а таких нелегко выбить из колеи. Лишь легкая тень пробежала по лицу скорее удивленного, чем испуганного, викария. Он неторопливо возразил настоятелю:

— Мне должно было признаться вам. Бог тому свидетель, я желаю лишь, чтобы все забылось и было сохранено в тайне.

— Положитесь на меня, — отвечал Мену-Сегре, — я утаю все, что только утаить можно, не прибегая ко лжи. Я старший над вами, дружок мой, но и надо мною есть старшие!

Помолчав немного, старец продолжал:

— Я напишу… нет, лучше переговорю лично с каноником Кувремоном, прежним директором высшей духовной семинарии, человеком верным и решительным. Он рассудит, как нам лучше всего поступить. Я не сомневаюсь, впрочем, что мы скоро придем с ним к согласию. Мне нетрудно предугадать его мнение…

Видимо, настоятель ждал какого-нибудь вопроса, но викарий даже не взглянул на него.

— Мы исхлопочем для вас длительную поездку на покаянные моления в Тортефонтен или к бенедиктинцам в Шеветонь. Я буду откровенен с вами, аббат. Я по-прежнему считаю, как и говорил вам о том, что вы отмечены перстом божиим, печатью избранника. Но не следует заходить слишком далеко: времена чудес минули. Скорее всего люди всполошатся, и, стало быть, следует опасаться нарушения общественного порядка. А власти только и ждут повода навалиться на нас. К тому же ныне в моде неврологические, как они выражаются, науки. А тут какой-то попик читает, видите ли, в душах, как в открытой книге!.. Да вас упекут в сумасшедший дом, мой милый! Мне предостаточно того, что вы сказали, мне нет нужды знать, что происходило дальше.

Он выставил перед собой обе ладони, словно отталкивая опасную тайну, и снова утонул головою в подушках. Но стоило викарию сделать легкое движение в сторону двери, как настоятель заговорил вновь:

— Берегитесь же! Я строжайше запрещаю вам хотя бы единым словом намекнуть кому бы то ни было на сей предмет, не испросив предварительно на то моего согласия. Вы слышите, ни одной живой душе!

— Даже моему исповеднику?.. — робко осведомился Дониссан.

— Ему в особенности, — спокойно возразил настоятель.

За сими словами последовало еще более глубокое молчание. Два или три раза викарий грузно переступил с ноги на ногу, косясь на дверь… Правой рукой он беспокойно крутил пуговицы сутаны. Неожиданно, к своему великому удивлению, он услышал собственный голос:

— Я не все сказал.

Ни слова в ответ.

— То, о чем я хотел бы еще рассказать, касается — уж и не знаю, в какой мере! — до спасения одной бедной души, за которую нам с вами предстоит держать ответ. Очевидно, Провидение вверило мне пещись о ней, именно мне, и никому другому: я убежден в том, что упомянутая особа принадлежит пастве вашего прихода, господин настоятель.

— Я слушаю, — ответствовал Мену-Сегре, медленно возводя взор.

Во все продолжение последовавшего за сим рассказа властные мудрые глаза не отрывались от измученного лица викария. В них отражалось какое-то мучительное напряжение и вместе с

тем все более непреклонная решимость. Ни единого слова не слетело со сжатых губ, ни разу не дрогнули тонкие бескровные руки, покоившиеся на подлокотниках кресла, а несколько откинутая голова и выставленный подбородок дышали умом и силою.

Когда викарий кончил исповедь, настоятель, повинуясь совершенно искреннему порыву, обратился к висевшему в изголовье кровати распятию флорентийской работы и промолвил голосом мягким и сильным в то же время:

— Возблагодарим Господа нашего, дитя мое, за то, что речь ваша была столь искренна и смиренна. Ибо простота эта обезоруживает самый дух зла.

Поманив молодого священника, он привстал на своем ложе, вперил взор в глаза Дониссана и проговорил, приблизив лицо свое вплоть:

— Верю вам, верю безусловно. Но мне должно приготовиться к тому, что я намерен сказать вам… Возьмите на столе, справа, да, да, там — "Подражание Господу нашему"… Раскройте на главе пятьдесят шестой и читайте со всем чувством, на какое способны, в особенности четверостишия пятое и шестое. Читайте же… Оставьте меня.

Старый священник, наделенный редкостными качествами, которые долгие годы пребывали втуне из-за невежества, несправедливости и зависти людской, чувствовал, что это неповторимое мгновение стало часом его торжества. Сравнения, заимствованные в языке житейском, слишком немощны, чтобы выразить явления жизни духовной и дать ощутить их величие. Настал час, когда этот выдающийся человек, утонченный и страстный, смелый, как никто другой, но и способный в то же время исследовать любое явление отточенным лезвием ума, должен был показать полную меру своего дарования.

— …И устыдился, бежав от славы… — прошептал он, повторяя по памяти заключительные слова главы. — А теперь слушайте меня, друг мой.

Викарий послушно поднялся с молитвенной скамеечки и встал в нескольких шагах от старца.

— Вероятно, то, что вы услышите от меня, причинит вам боль. Бог свидетель, до сей поры я чересчур щадил вас! Но мне не хочется смущать вашу совесть… Что бы я ни сказал, да будет душа ваша покойна, ибо нет на вас греха, ежели не почитать за грех содеянное по неопытности либо

от ревностного желания послужить делу божию. Вы поняли меня?

Аббат молча наклонил голову.

— Вы поступили, словно простодушное дитя, — продолжал старец по непродолжительном молчании. — Уготованные вам здесь испытания столь тяжки, что лишь человек самоуверенный может надеяться выдержать их. Более чем когда бы то ни было прежде, чего бы вам то ни стоило, уклоняйтесь от них, бегите без оглядки, ибо каждому посылается искус лишь в меру сил его. Желание рождается, растет, изменяется вместе с нами. Подобно застарелому недугу, оно есть некое промежуточное состояние между здоровьем и болезнью. Чаще всего достаточно набраться терпения. Но иногда болезнь внезапно обостряется, может случиться, что какая-то новая причина…

Он умолк в некотором смущении, но быстро оправился.

— Прежде всего запомните вот что: отныне вы будете для всех (и кто знает, как долго это будет продолжаться!) лишь самонадеянным аббатишкой, наделенным не в меру пылким воображением, полумечтателем, полулжецом, а может статься, и попросту безумцем. Отнеситесь же к епитимье, которую на вас, наверное,

наложат, к безмолвию и временному забвению монашьей обители не как к несправедливой каре, но как к необходимой и оправданной предосторожности… Вы следите мою мысль?

Тот же взгляд и то же наклонение головы.

— Я не стану таиться от вас, мальчик мой. В продолжение многих месяцев я наблюдаю за вами, может быть, слишком осторожно, слишком нерешительно. Но уже с первого дня я понял смысл происходящего. Господь посылает вам от милостей своих слишком щедро, я бы сказал, превосходя всякую меру, надо полагать оттого, что сверх меры искушал вас. Не скудеют щедроты Духа Святаго, но доброта его николи не есть напрасна, понеже соизмеряема с нуждами нашими. Знак сей глаголет ясно: Дьявол вторгся в жизнь вашу.

И теперь промолчал Дониссан.

— Ах, чадо мое, невежды стараются не замечать такие дела! Иной священник одно имя Сатаны страшится вымолвить. Что для них внутренняя жизнь человека? Унылое борение звериных начал. Нравственность? Всего лишь разумное управление чувственностью. Милость божия, полагают они, есть не более чем суждение истинное, наставляющее разум, а искушение — всего-навсе-

го томление плоти, понуждающее разум ко лжи. Как видите, они весьма упрощенно представляют себе даже самые заурядные явления великой битвы, разыгрывающейся в нас. Предполагается, что человек, руководствуясь сознанием, ищет лишь удовольствия и пользы. Но это годится только для человека, придуманного сочинителями, неведомо где существующего среднего человека! Эти ребяческие выдумки ничего не объясняют. В мире скотов двуногих, наделенных чувствами и рассудком, святому нечего делать, разве попасть в сумасшедшие. И уж за этим дело не станет, поверьте мне! Но не здесь главное. Каждый из нас — ах, кабы вы помнили всегда слова старого друга! — так или иначе становится попеременно то злодеем, то святым: то его влечет к добру — не потому, что он все более убеждается разумом в преимуществах добра, но, очевидно, потому что некий непостижимый порыв, могучая волна любви вздымает его, и он жаждет страдания и самоотречения, то овладевает им мучительное и необъяснимое стремление к безнравственности, к тлетворным усладам, хмельное влечение к плотскому началу, неизъяснимая тоска по нем. И что тогда многовековый опыт обуздания нравственностью! Что печальные примеры столь

многих жалких грешников, что напоминания о горькой их доле! Помните же, мальчик мой, зло, как и добро, любят ради него самого и служат ему ради него.

От природы слабый голос настоятеля становился мало-помалу все глуше, так что наконец могло показаться, что он говорит сам с собой. Однако впечатление было обманчиво. Глаза его из-под приспущенных век неотрывно глядели в лицо Дониссану. Первое время оно не обнаруживало никакого волнения, но при последних словах бесстрастность исчезла вдруг, словно с него спала личина.

— Возможно ль? — вскричал Дониссан. — Ужли мы столь несчастны?

Он не кончил начатой мысли, не подкрепил ее ни единым движением. Тоска жестокая, словами не изъяснимая, столь мучительно отобразилась в сем сбивчивом восклицании, в безнадежной покорности застлавшихся мраком очей, что Мену-Сегре почти невольно раскрыл объятия, и Дониссан бросился в них.

Он стоял на коленях у высокого стеганого кресла, припав в детском порыве угловатой, коротко стриженной головой к груди друга своего… Но, по молчаливому уговору, они скоро отстранились

друг от друга. Теперь викарий просто стоял на коленях, как подобает кающемуся на исповеди. Волнение настоятеля заметно было лишь по легкой дрожи правой руки, поднятой для благословения.

— Такие речи смущают вас, дитя мое. Но мне хочется, чтобы они вооружили вас, ибо совершенно очевидно, что монашья келья уготована не вам.

Губ его коснулась и тотчас исчезла грустная улыбка.

— Жизнь в монашьей обители, куда вас скоро отправят, будет для вас, несомненно, порою испытаний и тяжкого духовного одиночества. Искус ваш продлится более, чем вы предполагаете.

Он надолго остановил отеческий взгляд, где сквозила мягкая насмешка, на склоненном лице.

— Вы не рождены нравиться, ибо в вас есть то, что люди ненавидят более всего, расчетливой, изощренной ненавистью: умение и желание быть сильным. Нескоро, нет, нескоро оставят они вас в покое.

Помолчав, он продолжал:

— Труд Господа, нас совершенствующего, редко приносит желанные нам плоды. Почти всегда нам кажется, что Дух Святый берется за дело не с того конца, тратит время напрасно. Когда бы

кусок железа мог сознавать терпуг, медлительно опиливающий его, о, как бы ярился он, как изнывал от скуки! Но именно так трудится над нами Господь. Житие иных святых представляется нам ужасающе однообразным, подобным бесплодной пустыне.

Он медленно склонил чело, и Дониссан впервые увидел, как две тяжкие слезы скатились из омрачившихся очей настоятеля. Но тут же Мену-Сегре тряхнул головой и промолвил:

— Ну, довольно. Поспешим же, ибо скоро пробьет час, когда я, как принято думать в миру, уже ничем не смогу помочь вам. Поговорим теперь начистоту, со всей определенностью, на какую способны. Чтобы выразить явления сверхъестественные, нет лучшего средства, чем обычный, обиходный язык, употребляемые в повседневной жизни слова. Тут уж наверное рассеется любой обман. Обратимся же к первой вашей встрече. Откуда мне знать, действительно ли вы сошлись лицом к лицу с тем, кого встречаем ежедневно увы, не на повороте дороги, но в нас самих? Какая разница, действительно вы его видели или он просто померещился вам. То, что мирянам кажется событием чрезвычайной важности, для смиренного слуги божьего есть не более, чем вто-

ростепенное обстоятельство. Лишь труды ваши могут подтвердить ваш дар прозрения и чистосердечие, одни они представят доказательства в вашу пользу. Оставим это.

Он поправил сбившиеся подушки, отдышался и продолжал тем же странно добродушным голосом:

— Поговорим теперь о втором вашем приключении, представляющемся мне необыкновенно важным. Видите ли, ошибка в ваших умозаключениях может повредить одной из душ, о коих, как вам угодно было выразиться, нам вверено пещись. Я не знаком с дочерью господина Малорти, и мне ничего неизвестно о преступлении, в котором, по вашему мнению, она повинна. Нам предстоит ответить на другие вопросы. Была ли ниспослана сей девице особая милость господня, независимо от того, преступница она или нет? Явились ли вы орудием милости сей? Поймите, поймите же меня!.. В любое мгновение нам может быть внушено произнести необходимо нужное слово, совершить единственно правильный поступок, именно такой, и никакой другой. И вот тогда мы становимся очевидцами истинного воскресения совести. Одно-единственное слово, взгляд, простое пожатие руки — и непреклонная

доселе воля подается. Бедные глупцы! Мы воображаем, будто поводырь душ может свершить труд свой, довольствуясь признаниями грешников, пусть даже искренними! Но обстоятельства то и дело мешают исполнению наших намерений, самые красноречивые доводы наши рассыпаются в прах, а те слабенькие козыри, которыми мы располагаем, против нас же и обращаются. Между священником и кающимся всегда стоит незримо третий. Порой он молчит, порою ропщет, а то возвысит вдруг властный голос. Как часто оказываемся мы в положении беспомощного наблюдателя! Здесь не поможет ни тщеславие, ни самонадеянность, ни мудрость опыта! Возможно ль без стеснения сердечного думать, что незримый третий, способный использовать нас, не спросив нашего согласия, постепенно обращет нас в соучастников своих богомерзких деяний? Ежели вы оказались в таком положении, значит, он испытывает вас. Тяжек будет искус ваш, столь тяжек, что вся жизнь ваша станет мукою.

— Знаю, — пролепетал несчастный викарий. — О, как ранят меня речи ваши!

— Знаете? — удивился настоятель. — Откуда?

Дониссан закрыл лицо ладонями, потом, устыдившись, видимо, невольного порыва, отвел руки

и промолвил, высоко подняв голову и глядя на бледный день за окном:

— Господь внушил мне, что так указывает мое назначение в мире, что мне должно изгонять Сатану из душ и что я неминуемо лишусь через то вечного покоя, достоинства служителя Бога и самого спасения души.

— Вздор! — с живостью вскричал настоятель. — Не спасет души лишь мятущийся на путях погибели! Там же, где Господь следует за нами, мы можем лишиться мира, но не милости божией.

— Велико заблуждение ваше, — спокойно возразил Дониссан, видимо не замечая, сколь разительно противоречили эти слова обычной его почтительности и смирению. — Мне невозможно усумниться в велении понуждающей меня воли, ниже в судьбине, мне уготованной.

На сей раз в глазах Мену-Сегре зажглась радость исследователя, почувствовавшего вдруг, что решение мучающей его задачи совсем близко.

— Какая же судьба ждет вас, сыне мой?

Викарий слегка пожал плечами.

— Я не собираюсь выпытывать тайну вашу. Некогда я имел бы на нее право, теперь же пути наши расходятся, вы уже не принадлежите мне.

— Не говорите так, — тихо молвил Дониссан,

вперивши в старца сумрачный взор. — Где бы я ни был, в какие бы мрачные глубины ни погрузился, даже в руках самого Сатаны я буду помнить вашу доброту.

Внезапно, словно представшие его мысленному взору картины причинили ему мучительное волнение и он хотел бежать от них прочь (а может быть, напротив того, бесстрашно встретить лицом к лицу), Дониссан поднялся с места.

— Так вот какова тайна ваша! — вскричал Мену-Сегре. — Вот какова мнимая заповедь господня! Если я верно понял, вы кощунственно отринули в сердце своем милосердие божественное? Сему ль учил вас? Знайте же, несчастный, вы стали (быть может, давно уже) жертвой, игралищем, слепым орудием в руках того, кого страшитесь более всех!

Как бы в отчаянии и ужасе, старец воздел и опустил руки, но в глазах его горел волевой огонек.

— Я не кощунствовал, — возразил Дониссан. — Я отнюдь не отчаялся в справедливости всеблагого Господа нашего. До последнего мгновения моей жалкой жизни я буду верить, что одной благости Всевышнего довольно, чтобы отпустить грехи и мне, и всем человекам со мною. Но не праздно было мне дано испытать однажды — и сколь

чувствительно! — ужасающую мерзость греха, жалкий жребий грешников и могущество беса.

— Когда же… — начал было Мену-Сегре.

Однако будущий святой продолжал, не дав ему договорить, вернее не обращая, по всей видимости, внимания на его слова:

— Я давно уже предчувствовал свою судьбу. Еще не познавши истины, я пребывал в печали. Всякому дано прозреть истину в меру его. Очевидно, люди более ревностные в служении Богу, более просвещенные весьма сильно чувствуют божественный порядок. Что до меня, то с детских лет не столь уповал на славу будущую, сколь скорбел о славе, нами утраченной. (Лицо Дониссана принимало понемногу недоброе выражение, на лбу обозначилась гневная морщина.) Ах, отче, отче мой! Я желал отстранить крест сей, но желал невозможного! Вновь и вновь он ложился на плечи мои. Не будь его, жизнь лишилась бы смысла, ибо в наилучшем среди людей вера остывает тогда, и Господь отмещет его с отвращением. Что сталось бы с нами, в невыразимой скудости нашей, униженными, попранными, осквернеными злейшим врагом нашим, когда бы не чувствовали себя хотя бы оскорбленными! Лукавый не станет вполне владыкою мира, до-

коле праведным гневом полнятся сердца наши, доколе человек среди человеков восстает на него и бросает ему в лицо: Non Serviam! [1]

Слова теснились у него на устах, плохо сообразуясь с рождавшими их внутренними видениями. Необычная многоречивость человека от природы неразговорчивого свидетельствовала о том, что состояние его было близко к умоисступлению.

— Остановитесь! — холодно велел Мену-Сегре. — Приказываю вам слушать. Вы говорите так много затем лишь, чтобы обмануть самого себя, а заодно и меня. Однако же я знаю, что вы не из тех, кто тешится суесловием. Ваше неистовство проистекает, очевидно, от какого-то решения, намерения, может быть, поступка. Я желаю знать — какого.

Удар пришелся так метко, что Дониссан растерянно посмотрел на наставника своего. Между тем мудрый и могучий духом старец продолжал:

— Как случилось, что в своей жизни вы познали чувства, по меньшей мере смутные и пагубные?

Молодой священник безмолвствовал.

— Ну что же, я сам объясню, что произошло, — продолжал Мену-Сегре. — Вы начали с непо-

---

[1] notes: 1
Не буду рабом твоим! (лат.)

мерно усердного умерщвления плоти, затем с не меньшим пылом предались службе. Последствия таких крайностей радовали ваше сердце, ибо вы надеялись обрести таким образом душевный покой. Однако вы не обрели его. Но Господь никогда не отказывает в нем изнемогающему слуге своему. Следовательно, вы умышленно отвергли его.

— Я не отвергал его, — с трудом проговорил Дониссан. — Просто от природы я более склонен к печали, нежели к радости.

Он смолк ненадолго, видимо размышляя, как бы сгладить резкость слов, выразиться помягче, но вдруг решился и вскричал глухим от чрезвычайного волнения голосом — казалось, вспыхнуло угрюмое пламя:

— Ах, лучше отчаяние и все муки его, чем трусливое потворство деяниям Сатаны!

К его несказанному удивлению, ибо это пожелание исторглось из груди его воплем, от которого он сам похолодел, настоятель взял его руки в свои и мягко сказал:

— Довольно. Я без труда читаю в сердце вашем и не ошибся. Вы не только не искали утешения, но умышленно обращали ум свой лишь к тому, что питает отчаяние. Вы обрекли себя отчаянию.

— Не отчаянию, но страху, — возразил Донис-

сан.

— Отчаянию, — так же мягко повторил Мену-Сегре, — которое, выразившись первоначально в ярой ненависти к греху, неминуемо заставило бы вас презирать и ненавидеть грешника.

При сих словах глаза Дониссана наполнились слезами, он вырвал руки из ладоней настоятеля и хрипло возопил (взгляд его был жалок и дик):

— Ненавидеть грешника! Грешника!

Неистовство и смятение чувств были в нем таковы, что слова замерли на его устах, и прошло довольно долгое время, прежде чем он мог выговорить, закрыв глаза и словно созерцая нечто тайное в себе:

— Мне досталось сокровище гораздо более драгоценное, нежели жизнь…

Он умолк, и тогда вновь зазвучал голос старца, твердый, ясный, неотвратимый:

— Я всегда подозревал, что в вашей внутренней жизни есть тайна, которую ваше неведение и щепетильность оберегают лучше всякого лукавства. Но вы были неосторожны. Я не удивился бы, если бы узнал, что вы принесли некий опасный обет…

— Я не мог бы принять никакого обета без дозволения своего духовника, пролепетал несчастный

викарий.

— Ну, если не обет, то нечто на него похожее, — возразил Мену-Сегре.

С трудом приподнявшись от подушек и положивши руки на колена, он проговорил, не повышая голоса:

— Повелеваю вам, дитя мое.

К великому удивлению старца, Дониссан долго не решался, устремив на него напряженный взгляд. Наконец он вымолвил с мучительной дрожью в голосе:

— Я не солгал, уверяю вас… Не давал никакого обета, никакого зарока… просто пожелание… наверное… может быть, опрометчивое… во всяком случае, по законам человеческой осторожности!

— Оно отравляет ваше сердце, — заметил Мену-Сегре.

Тогда викарий решился и проговорил, тряхнув головой:

— Но вот что, быть может, заслуживает вашего осуждения… Власть греха над толиким множеством душ христианских… часто воспаляла во мне гнев на врага… Ради спасения их я решил отречься от всего, что имею или когда-либо буду иметь… прежде всего от жизни моей — о, такая малость! — от сладостной благости Духа Свя-

таго…

Мгновение он колебался, потом тихо закончил:

— От самого спасения души моея, коли Господь того пожелает!

Слова признания падали среди мертвой тишины. Казалось, они сами рождали ее и в нее же канули.

Но вот старец заговорил вновь с обычной простотой своей:

— Прежде чем нам продолжить разговор, откажитесь навсегда от сего помысла и молите Господа нашего о прощении. Кроме того, я запрещаю вам говорить о сем с кем бы то ни было.

Видя, что викарий открыл уже рот, чтобы возразить, сей несравненный знаток души человеческой продолжал, храня осторожность и поразительное здравомыслие:

— Не трудитесь возражать. Молчите. Вам должно лишь забыть. Мне известно все. Все было безукоризненно придумано и исполнено со тщанием. Вот так и обманывает Дьявол таких, как вы. Когда бы он не умел обращать во зло дары господни, он был бы лишь безответным воплем ненависти в черной бездне…

Хотя в голосе Мену-Сегре и не слышалось осо-

бого волнения, о нем свидетельствовало тем не менее то обстоятельство, что он поднял лежавший подле кресел посох, встал и прошелся по покою. Викарий оставался недвижим на прежнем месте.

— Мальчик мой, — взговорил старец, — сколь гибельных опасностей подстерегает вас! Всевышний зовет вас к совершенству, но не к отдохновению. Вы будете шествовать своим путем с меньшей уверенностью, чем кто бы то ни было, прозревая сокрытое лишь ради ближнего, одолеваемый сомнениями, мятущийся меж светом и тьмою. Ваше безрассудное желание было так или иначе услышано. Надежда почти погибла в вас, погибла навсегда. Лишь брезжит едва тот свет, без которого немыслимо любое предприятие и напрасна всякая добродетель. Утрата надежды — вот что важно. На пути, который вы избрали, какое избрали: вы бросились туда очертя голову! — вы будете один, совершенно один, в полном одиночестве. Всякий, кто решился бы последовать за вами, погибнет неминуемо, а вам не поможет.

— Я не просил о том! — вскричал с неожиданной страстью будущий святой (впечатление было тем более разительно, что в голосе его по-

прежнему звучала угрюмая решимость). — О сих исключительных милостях я не просил! Они не надобны мне! Я не хочу чудес! Пусть мне будет дано жить и умереть в шкуре жалкого невежды. Нет, нет, начатое в эту ночь не завершится! Мне приснилось все, я был безумен!

Мену-Сегре вернулся к креслам, снова улегся в них и возразил, не повышая голоса:

— Как знать. Укажите хотя одного среди тех, кого чтим как отцов наших в вере, кого не называли бы выдумщиком. А у какого выдумщика не было учеников? При настоящем положении лишь дело может доказать правоту иль заблуждение ваше!

Помолчав, он продолжал уже более мягко:

— А меня, мальчик мой, вам совсем не жаль? Мой опыт изучения душ и многомесячные раздумья склоняют меня к мысли, что Господь отметил вас перстом своим. Неверующее дурачье не признает святых, дурачье же набожное воображает, что заводятся они сами собой, как трава в поле. Лишь немногим ведомо, что дерево тем нежнее, чем более редкой оно породы. Без сомнения, судьба ваша связана с множеством других судеб, зависит от случайной ошибки, от невольного злоупотребления милостью божией, от скоропалительности, нерешительности, непо-

следовательности. А ведь вы вверены мне! Я в ответе за вас! Как дрожат мои руки, предлагающие вас Богу! Мне не позволительно допустить малейшую ошибку. Сколь тяжко мне оттого, что не могу броситься на колена рядом с вами, вместе с вами вознести благодарственную молитву! Изо дня в день я искал какого-то сверхъестественного подтверждения промысла божия в вашей душе, ожидал найти его в усердии вашем, во все большем уважении к вам, в обращении к вере истинной моей немногочисленной паствы. Но в вашей столь тревожной, столь мятежной жизни знамение грянуло, как гром среди небес! Оно повергло меня в растерянность совершенную, ибо мне ясно теперь, что знак сей двусмыслен, что в самом чуде есть нечто сомнительное!

Он задумался, пожал плечами, как бы в знак своего бессилия:

— Господь свидетель, я не убоялся бы! Я с радостью бросил бы вызов людскому мнению! Меня постоянно обвиняют в независимости и даже неповиновении старшим. Есть, однако же, правила, которых нельзя нарушать. Можете сколько угодно полосовать себя бичом, я как-нибудь сам разберусь. Можете видеть во сне Дьявола, встречайтесь с ним хоть на каждом перекрестке

— это меня одного касается. Но случай с дочкой Малорти, не менее правдоподобный, чем все остальное, открыл мне глаза. Я не могу позволить вам говорить и действовать в моем приходе по своему разумению… Я не могу довериться вам… Я должен… Мне придется… Я вынужден рассказать обо всем вышестоящему начальству. От моей помощи вам будет мало проку! В то же время вам не должно и утаивать что-либо. И тогда… тогда!.. Бог весть когда вы преодолеете наконец недоверие одних, сострадание других и всеобщую враждебность! Да преодолеете ли? Не ошибся ли я в вас? Не слишком ли долго ждал я? Старику уже поздно решать, не прожил ли он жизнь зря. Да и умереть я, видно, опоздал…

Дониссан нарушил наконец молчание. Сомнения Мену-Сегре не только не смутили его, но, казалось, напротив того, вдохнули в него силы. Он робко возразил:

— Одного хочу я: жить тихо, скромно, как живут все, исполнять честно свой долг. Если бы вы только пожелали того, что помешало бы мне стать таким, как прежде? Кому было бы дело до меня? Нет во мне ничего замечательного. Совершенно справедливо меня считают вполне заурядным, недалеким священником… Ах, если

бы вы только позволили, мне кажется, я жил бы совершенно незаметно даже для Господа нашего и ангелов его!

— Незаметно! — с мягкою укоризною вскричал Мену-Сегре (на устах его играла улыбка, но в глазах стояли слезы)... Он не договорил, потому что послышались необычно торопливые шаги домоправительницы. Почти тотчас дверь распахнулась, показалось бледное лицо женщины, и она выпалила, питая, как все старухи, пристрастие к дурным вестям:

— Дочь Малорти наложила на себя руки!

И добавила, довольная произведенным впечатлением:

— Перерезала себе горло бритвой!

Ниже следует письмо его преосвященства канонику Жербье:

"Дорогой каноник,

примите изъявления моей благодарности за проявленное Вами хладнокровие и мягкую настойчивость во время известных Вам событий, наполнивших скорбью мое отеческое сердце. Злосчастный аббат Дониссан вышел на неделе из Вобекурской лечебницу, где был окружен неусыпными заботами врача господина Жолибуа. Сей лекарь, питомец доктора Бернхайма из

Нанси, поведал мне вчера о состоянии здоровья возлюбленного чада нашего, выказав при сем широту взглядов и трогательную заботливость, нередко восхищавшие меня в некоторых служителях науки, которых, к великому сожалению, ремесло их отвратило от веры божией. Причиною сей кратковременной хворости он почитает чрезвычайно сильное отравление нервных клеток, кишечного, судя по всему, происхождения.

Не оставаясь чужд милосердия, коему должно быть непреложным правилом жизни нашей, я скорблю вместе с Вами о небрежении, ежели не сказать более, господина настоятеля кампаньского собора. Когда бы он действовал ясно и решительно, у нас не возникло бы, очевидно, хотя бы и временных неурядиц с мирской властью. Тем не менее благодаря Вашему мудрому посредничеству доктор Гале, по скором разрешении возникшего спервоначала недоразумения, выказал к нам достойную всяких похвал любезность, придя нам на помощь, когда старались о том, дабы избежать нежелательной огласки. Кстати, поставленный им диагноз был подтвержден его именитым коллегою из Вобекура. Оба поступка делают столько же чести его человеческим качествам, сколь и врачебным его познаниям.

Показаний мадемуазель Малорти и признаний, сделанных ею незадолго до кончины в состоянии совершенного умственного помешательства, было бы, вероятно, недостаточно, чтобы унизить в лице господина Дониссана достоинство духовенства. Однако господин настоятель ни при каких обстоятельствах не должен был допустить, чтобы господин Дониссан находился у одра умирающей, невзирая на решительные возражения господина Малорти. Разумеется, ни один здравомыслящий человек не мог предвидеть последующих событий. Во всяком случае, не должно было принимать во внимание объявленную во всеуслышание волю сей молодой особы, требовавшей перенести ее к церкви, дабы испустить дух у дверей храма божия. Мало того что отец и лечащий врач не желали позволить сей неосторожности, но и все, что известно нам о прошлом мадемуазель Малорти и безразличии ее к вере, должно было бы склонить к мысли, что близость смерти омрачила слабый ее рассудок, тем более что она лечилась по поводу душевного расстройства. Не поддаются описанию последовавший за сим жестокий спор и странные речи несчастного викария! Но уже совершенно неописуемо словами совершенное им похищение,

когда, в буквальном смысле слова, вырвав болящую из отчих рук, он отнес ее, окровавленную и уже отходящую, в церковь, которая, по счастию, находится в небольшом расстоянии! Такого рода крайности принадлежат векам минувшим и совершенно нетерпимы в наше время.

Хвала Господу, вызванный сим происшествием шум удалось замять. Некоторые добрые люди, движимые более ревностью к вере, нежели благоразумием, уже разглашали весть о чудесном обращении in articulo mortis [2], неправдоподобие коего сделало бы нас всеобщим посмешищем. Мне пришлось вмешаться и навести порядок. Наше решение удовлетворило всех, исключая, разумеется, господина кампаньского настоятеля, который, замкнувшись в высокомерном молчании и отказавшись предоставить нам необходимые сведения, выставил себя в весьма странном по меньшей мере свете.

В исполнение моей воли господин аббат Дониссан удалился в Тортефонтенскую пустынь, где и пребудет, покуда получим известие о совершенном исцелении от поразившего его недуга. Правду сказать, безоговорочная покорность

---

[2] notes: 2
На смертном одре (лат.).

господина Дониссана весьма располагает в его пользу, и я полагаю, можно надеяться, что, когда сии прискорбные события будут преданы забвению, станет возможно приискать ему в епархии скромную должность, его способностям соразмерную".

Действительно, по миновании пяти лет бывший кампаньский викарий был назначен священником небольшого прихода в деревушке Люмбр. Каждому известны совершенные им там богоугодные дела. Слава, рядом с которой тускнеет самая громкая мирская слава, нашла в том глухом сельце нового арского святого. Вторая часть настоящей книги повествует о последних годах жизни сей поразительной личности на основании письменных и устных свидетельств, подлинность которых никто не дерзнет оспаривать.

ЧАСТЬ ВТОРАЯ
Люмбрский святой

I

Он распахнул окно, ждал еще чего-то. В черной, мокрой от дождя пустоте слабо мерцала церковь, единственный островок жизни… "Вот и я", проговорил он, как сквозь сон.

Внизу старая Марта гремела засовами. В отдалении под молотом кузнеца зазвенела наковальня. Но он не слышал: в этот ночной час бесстрашный муж, ставший опорой столь многих, шатался под тяжестью великой ноши своей. "Бедный люмбрский кюре! — с улыбкой говаривал он. — Ну много ли от него проку?.. Спать и то разучился!" И добавлял: "Поверите ли, я боюсь темноты!"

По мере того как ночной мрак сгущался, горевший в ризнице светильник все ярче очерчивал высокие стрельчатые окна о трех средниках. Как раз над ними возвышался деревянный шпиль башни, некогда возведенной между хорами и средней частью храма, и грузная колокольня. Но он не видел их. Он стоял одиноко у окна и глядел во тьму, словно дозорный на носу корабля. Дико ревя, окрест него вздымались тяжкие волны мрака, из безбрежного пространства мчались навстречу ему незримые поля и леса… Там, за

полями и лесами, другие села и городки, неразличимо схожие, готовые лопнуть от изобилия, враждебные неимущим, густо населенные затаившимися скупцами, — могильным холодом веет от них… А еще дальше бессонные города.

— Боже мой! Боже мой! — мог только шептать он, не в силах ни плакать, ни молиться… Мгновения падали в мрак неотвратимо, как последние капли жизни, вытекающей из лежащего на смертном одре. Как бы коротки ни были ночи, день встает слишком поздно: Селимена успела нарумянить губы, бражник проспаться… Вернувшаяся с бесовских игрищ ведьма, еще пышущая жаром, забралась под белые простыни… День встает слишком поздно. Но единственный правый суд все равно застанет людей врасплох, из конца в конец земли.

Дониссан медленно опустился на колена, словно корабль, столбом погружающийся в море. Ему не пришлось бы идти далеко в поисках справедливости, которой ждет от министра финансов великодушный народ: она таится где-то там за краем земли, уже готовая, сотканная из сияния близкой зари, неотвратимо восходящая среди клочьев разметанной тьмы. Разжатая ладонь не сожмется более… слово присохнет к устам… чуди-

ще по имени Эволюция замрет навсегда, перестав раскручивать витки своего тулова и клокотать… В грозном зареве зари, занимающейся в сердце человечьем, застынет в незыблемом постоянстве самая тайная мысль, и двуликое изменчивое сердце не возможет более отречься от себя… Consummatum est, то есть: определено вовеки.

Инспектор Академии господин Лойоле (имеющий степень кандидата гуманитарных наук) пожелал видеть люмбрского святого, о котором был столько наслышан, и тайно посетил его в сопровождении дочери и супруги. Рассказывая позднее о своей поездке, он был несколько взволнован: "Я представлял себе человека почтенного, получившего приличное воспитание и умеющего держаться в обществе. Но этот попик просто неприличен: ест прямо на улице, как последний нищий…" И присовокуплял: "Как жаль, что такой человек верит в Дьявола!"

Да, люмбрский святой верит в Дьявола, и в ночь сию его томит страх. Впоследствии он признавался: "В продолжение многих недель меня угнетало новое, непривычное мне чувство. Вся жизнь моя прошла в исповедальне, и вот внезапно мною овладело ужасное чувство беспомощности. Я испытывал не столько сострадание, сколько

отвращение. Лишь поживши в шкуре простого священника, можно постичь ужасающее однообразие греха!.. Я не знал, что сказать им. Я мог лишь отпускать грехи их и плакать..."

Облачная пелена разлезается клочьями. Одна, две... рои звезд зажигаются в ночном поднебесье. Из разорванной ветром тучи сеется дождик, невесомая водяная пыль. Дониссан вдыхает освеженный, легкий после грозы воздух... В эту ночь он перестанет бороться: ему нечего больше защищать, он отдал все, осталась одна пустота... Он-то хорошо изучил человечье сердце (он побывал там в своей сутане и тяжелых башмаках). Ох уж это сердце!

Старое сердце, где таится непостижимый враг душ, могучий и подлый, великолепный и низкий, проклятая утренняя звезда — Люцифер, или мнимая заря... Сколько же знает он, жалкий священник люмбрского прихода! Сколько в самой Сорбонне не знают. Столько вещей, о которых не пишут и говорить то едва отваживаются, в которых признаются, словно раздирая заросшую уже рану. Столько вещей! И еще знает он, что есть человек: взрослое дитя, закосневшее в пороке и томящееся скукой.

Что нового может узнать старый священник?

Он прожил тысячи жизней, неотличимо похожих одна на другую. Его уже ничем не удивишь — он может умереть. Появляются новые воззрения на нравственность, но грех неизменен.

Впервые он усомнился — не в Боге, но в человеке. Его обступают воспоминания, чудятся невнятные жалобы, сбивчивые от жестокого стыда признания, мучительный вопль тайной страсти, когда проницательная догадка застигает ее врасплох, когда она выхвачена внезапно из убежища и корчится под ножом обличительных слов… Мерещатся ему жалкие измученные лица, взгляд, где борется желание признаться и страх, складка безвольной покорности у рта и горькое "нет!", слетающее с губ… Сколько мнимых мятежников, таких красноречивых на людях, позорно валялось у него в ногах! Сколько гордецов, носящих в сердце гаденькую тайну! Сколько стариков, похожих на отвратительных детей! Но более всего юных корыстолюбцев, глядящих на мир холодным взором, никогда не прощающих.

Сегодня те же, что и вчера, что и в тот далекий день, когда Дониссан ступил на стезю свою… Уже близится конец земных трудов, как вдруг исчезла преграда, которую он силился сокрушить. Те, кого он хотел избавить, отреклись от свободы как от

бесполезного бремени, а враг, преследуя которого он достиг самого неба, хохочет внизу, неуловимый, неуязвимый. Над ним посмеялись, как над дураком! "Мы хотим покоя", — говорят они. Нет, не покоя, но короткого отдыха, передышки среди блужданий во мраке… Они приходили, изливали у ног отшельника мерзость души и возвращались к своим печальным утехам, к гнусной своей жизни. (Он сравнивал себя со старой изгаженной стеной, где прохожий оставляет мимоходом непристойный след и которая медленно ветшает, храня несметное множество постыдных тайн.)

Никто из тех, кого он столько раз утешал, даже не вспомнит его. В час сей, один из самых грозных в его жизни, ему кажется, что он нигде не поспевает, что все идет прахом. На ум ему приходят вдруг разные предательские мысли, которые он долгие годы гнал прочь и которые предстают теперь в совсем другом свете. Во всем находит он некий смысл и какой-то особый вкус… Впервые он глядит без любви, но с состраданием на жалкое стадо обреченных насыщаться и умирать. Он вкушает горькое чувство поражения и величия. Но дерзновенный дух его во мраке безысходного отчаяния не желает признать себя побежденным — любой ценою он стремится обрести равно-

весие.

Дониссан поднялся с колен, вперил в пространство взгляд непреклонных очей… Сколько еще будет таких ночей, пока настанет последняя его ночь! Но неизменно милость божия будет находить кого-нибудь в толпе, неизменно будет метить своей печатью того, к кому справедливость пробивается сквозь время, как свет звезды. И загорается звезда, покорная их зову.

Он уже не смотрит на церковь, взор его устремился поверх нее. Все трепещет в нем от мрачного восторга. Он почти уже не страдает, он застыл навеки. Он ничего не желает более, он побежден. Стена рухнула, и гордыня, некогда изгнанная, хлынула неудержимо в душу ему.

— Сам того не видя, я обрекал себя муке вечной, — рассказывал он позднее. — Я чувствовал, что отвердеваю, как камень.

Вновь посещает его давно взлелеянная мысль: удалиться в какой-нибудь заброшенный в глуши монастырь, к братьям картезианцам или траппистам, и там доживать свой век. Но теперь она является не так, как прежде: сердце щемит сладко и сильно, и как-то странно кружится голова. Прежде в такие мгновения пастырь отнюдь не покидал в мыслях паствы своей: он мечтал увести

ее с собою в место покаяния, чтобы жить там подле нее и снискать прощения, заботясь о ней. Но и это последнее воспоминание тускнеет и гаснет. Неутомимый опекун душ жаждет лишь покоя. Но есть еще одно тайное желание, наполняющее его сладким томлением, — желание умереть, подобное жажде слез… И слезы бегут из его очей, не облегчая, и простодушный старец не понимает, что с ним, и дивится, отчего так сладко теснит грудь. Он готов уступить, так и не разомкнув век, последнему искушению, поглотившему до него столько пламенных душ, отринувших единым порывом мирские радости затем лишь, чтобы обрести небытие и с восторгом кануть в него навеки. В исходе долгих лет непомерного напряжения сил, столько раз преодоленная, копившаяся в нем усталость хлынула из жил его, как кровь. Он не испытывает никаких угрызений совести. С непостижимым проворством лукавый враг его, словно мерзко издеваясь над материнской заботой, окутывает его, как саваном, сей безмерной истомой!.. Напрасно удрученный старец устремляет в рассветный полумрак свой взор, где в последний раз зажегся огонь и где не блеснет уже отсвет зари. Он ищет в себе и ничего не находит, решительно ничего, где могло бы

гнездиться искушение, ни малейшего признака действия той силы, что медленно подтачивает его крепость перед очами бесстрастного господина. Он мечтает уже не о монашеской обители, но о чем-то еще более сокровенном, нежели одиночество: о бесконечном падении в головокружительную пучину, в мрак непроглядный. Тому, кто столь долго держал в рабстве плоть свою, блаженство явило наконец свой истинный лик, навеки неизменную негу. Однако не сей образ и не какой-либо иной взволновал старого отшельника, но вожделение другого свойства, пробудившееся в его бесхитростной и строптивой душе: безумная жажда знания, погубившая прямодушную матерь рода людского, в раздумий стоявшую на пороге Добра и Зла. Познать, чтобы разрушить, и, разрушая, вновь познавать и жаждать, — о, солнце Дьявола! — жаждать небытия ради небытия, в упоении безумства! У святого осталось сил лишь для того, чтобы желать сего страшного покоя. Божественная милость опустила завесу на очи, где так недавно еще светилась божественная тайна… Неизменно ясный взор блуждает теперь, не находя опоры… Какая-то юная сила, детская ненасытность, похожая на первое жгучее волнение чувств, разливается теп-

лом по старым жилам, толкается в тощей груди… Он ищет вслепую, жадно нащупывает смерть сквозь тысячи пелен слабеющей рукой.

Был ли смысл в его жизни до сего величавого мгновения? Он не знает. Позади него мертвая пустыня и людские толпы, которые он мимоходом благословлял. Но что там? Стадо все еще трусит вослед ему, не отстает, ненасытно требует, не давая ему передышки, тревожно ревет и топочет, словно от боли. Нет, он не обернется, он не хочет! Его оттеснили сюда, к последнему пределу, но дальше — о, чудо! — страна тишины, полного, вожделенного безмолвия, там он обретет покой.

— Умереть, — шепчут его губы, — умереть…

Он медленно произносит слово по слогам, дабы проникнуться им, впитать сердцем сок его… И в самом деле, он чувствует его в себе, оно разливается по жилам, как тонкий яд… Он думает еще упорнее, напрягает все силы, им все более овладевает какое-то лихорадочное нетерпение — ему хочется разом опорожнить слово, ускорить конец. Сей нетерпеливый порыв выражает стремление грешника все глубже погрязать в зле, дабы спрятаться там от судии. Настал час, когда власть Сатаны становится неодолимой, когда к единой мете стремятся сопряженные силы тьмы.

Но взор его устремляется ввысь, к прямоугольнику сереющего неба, где рассеивается мглистая ночь. Никогда еще не молился он с такой твердой волей, с такой страстью, никогда голос его не звучал так громко: уста шептали, но внутри него шепот гремел, словно раскаты грома, плененные в бронзовой скале… Никогда еще смиренный чародей, стяжавший столь шумную славу, не был так близок чуда, не видел его вплоть. Впервые, вероятно, тиски воли ослабили хватку, разжались непреодолимо — довольно было бы произнести в безмолвии одно-единственное слово, чтобы все рухнуло бесповоротно… Да, стоит еще немного податься его железной воле, и он обретет желанный покой… Он не смеет уже глядеть ни на церковь, ни на окутанные рассветной мглою жилища своей немногочисленной паствы. Какой-то стыд еще удерживает его, он спешит избавиться от него, сделав непоправимый шаг… К чему беспокоиться о каких-то пустячных делишках? Он опускает взгляд к земле, последнему прибежищу своему.

II

И тогда дважды брякнуло кольцо калитки со стороны Шавраншской дороги. Захлопали крыльями куры, загремел цепью Жако, и все это поднялось слитным чистым звуком в ясном утреннем воздухе.

Деревянные сандалии старой Марты уже звонко хлопали по ступеням — цок, цок, потом глухо зашлепали по мокрой траве — топ-топ. Заскрежетал засов.

Святой очнулся. Совершенное безмолвие есть лишь по ту сторону жизни. Как родниковая вода, действительность просачивается сквозь тоненькую трещинку и устремляется в свое русло. Едва заметный знак, едва прошелестевшее слово воскрешают исчезнувший мир, а напомнивший давнее прошлое запах имеет над нами власть большую, нежели сама смерть… Невольно глаза старца обратились к висевшим на гвозде простеньким серебряным часам-луковице, сохранившимся со времен высшей семинарии. "В такую рань… Видно, заболел кто-то", — подумал он. Заболело одно из чад его!

Мгновенным мысленным взором он окидывает

широко разбежавшиеся домишки сельца, дымы от печных труб, встающие над деревами. Все обитатели невеликого прихода и столько душ на белом свете, чьей крепостью и отрадою он был, зовут его, произносят его имя… Он внемлет, он откликнулся, он готов.

Что ждет его внизу лестницы, "насеста", как он любит называть ее? Какие слова? Чье лицо? Какое сражение вновь предстоит ему? Ибо гнездится в нем нечто словом не выразимое, нечто тяжкое и громадное лежит в сердце: Дьявол, тоска его и страх. Он знает, что мира не обрел. Вместе с ним дышит другое существо, потому что искушение есть как бы рождение в человеке другого человека, и плод сей устрашающе растет, тяжелеет. Он влачил ношу свою, не смея бросить. Где бы он мог оставить ее, как не в другом сердце?

Но святой по-прежнему один подле распятия. Единственного друга своего.

— Батюшка! — кличет Марта. — Батюшка!..

Сам не заметив как, он сошел по лестнице, бредет, словно во сне, через кухню к двери, ведущей в сад… Старушка тащит его за рукав.

— В гостиной, батюшка, в гостиной…

Как бы с огорчением, она легонько пожимает плечами.

Чудо как хороша до блеска навощенная гостиная. Там шесть соломенных стульев, два куличьих чучела и большая раковина на каминной полке серого мрамора, а на видном месте красуется громоздкая гипсовая статуя Пречистой Девы Лурдской какого-то ужасного синюшного цвета (ее привезла из Конфлан-сюр-Марн сестра Сен-Меморен, ездившая туда на прошлую пасху). На стене, оклеенной обоями с выцветшими разводами (совершенно того рода, что можно видеть на любом постоялом дворе), висит в дубовой, заросшей плесенью раме картина, изображающая положение во гроб, а рядом с единственным окном большой крест черного дерева, простой крест, без распятого Христа.

(Едва вошед в гостиную, священник упирается в него взглядом и сразу отводит глаза.)

— Батюшка, — говорит Марта, — пришел хозяин Плуи — мальчонка у него захворал…

Хуторянин встал, откашлялся и сплюнул в печную золу. На столе еще курилась парком порожняя чашка из-под кофе.

— Который? — рассеянно спросил старик… и сразу осекся, покраснел от взгляда Марты, сбивчиво залепетал что-то… Боже мой, кто не знает, что у хозяина Плуи единственный сын! Однако гость

не удивляется и невозмутимо растолковывает:

— Тьено, мальчонка наш… Как вернулись от вечерни, живот у него схватило, вроде объелся чего. Ну а потом голова разболелась, болит и болит, спасу нет… А под утро он, значит, и говорит матери… "Мамка, у меня все отнялось". И точно, ни рукой, ни ногой ворохнуть не может, лежит пластом. Паралич его разбил, и глаза уже закатились. Тут господин Гамбийе говорит мне: "Бедный Арсен! Кончается мальчик-то!" Говорит, менингит у него. Ну а мать услыхала… Сами знаете, мать есть мать… Ничего слышать не хочет… Немедля поезжай, кричит, привези люмбрского святого… Ну, запряг я конягу да прямо к вам…

Он глядит на старца полными слез добрыми глазами, но в глубине их прячется усмешка. Мы-то, мужики, знаем, мол, эти бабьи причуды! (Да и святой тоже! Чего только о нем не рассказывают, а он и о мальчонке-то не знает, растолковывай ему все, как малому дитяти!)

— Дружочек… Дорогой мой… — бормочет аббат, — я бы с радостью… то есть я… поехал бы… боюсь только… Люзарн-то ведь не в моем приходе!.. Ваш священник… Я очень тронут тем, что госпожа Авре вспомнила обо мне… несчастная женщина!.. Но я должен… мне следовало бы…

Больше всего он боится оскорбить своего обидчивого собрата. Да и сам он такой гадкий сегодня!

Но хозяин Плуи не намерен вступать в дальнейшие объяснения. Он уже обмотал шею шарфом, на все пуговицы застегнул драповое пальто, а Марта решительно сует в руки своему господину позеленевшую от времени шляпу… Надо идти. Он идет.

III

Священник люзарнского прихода — человек бесхитростный. Он довольствуется малым, узким кругом несложных чувств, осторожности ради сохраняемых в тайне. Он еще молод в свои пятьдесят лет и всегда останется таким: у него нет возраста. Совесть его чиста, как страница толстой книги без помарок и пятен. Ему есть что вспомнить, он знавал радости. Он перебирает их в уме и удивляется тому, что они совсем уже засохли и разложены в памяти в дивном порядке, каждая на своем месте, словно строгие ряды чисел. Полно, были ли они настоящими радостями? Дышала ли когда-нибудь в них жизнь? Билось ли живое сердце?.. То был добросовестный, исполнительный, дотошный кюре, во всем любящий добрый порядок, преданный своему сословию, не отстающий от времени, следящий за новейшими веяниями и сообразно им порицающий одно и одобряющий другое, из всего извлекающий хоть какую-то выгоду, рожденный для чиновничьей службы и нравоучительных проповедей. Он предрекал искоренение пауперизма — пользуясь ходячим ныне словцом, ежели будет покончено с

пьянством и венерическими болезнями,словом, стал провозвестником здоровой, закаленной спортом молодежи, идущей на приступ царства небесного в шерстяных трико.

"Наш святой", — говорит он порою с тонкой улыбкой. Но в пылу спора ему случается совсем другим голосом сказать "ваш святой". Ибо, хотя он частенько пеняет правителям епархии за буквоедство и чрезмерную осторожность, но весьма в то же время сокрушается о беспорядке, учиненном в столь тихом ведомстве одним из сих чудодеев, из-за которых путаются все расчеты. "Его преосвященству надлежит выказать весьма и весьма много осторожности и умения применяться к обстоятельствам", — заключает он, такой же осторожный, как каноник, заранее ощетиниваясь извлечениями из богословских книг... Великий Боже! Одна морока с этими святыми! Но что поделаешь? Надо как-то уживаться с ними.

Каждый новый оборот колес приближает люмбрского пастыря к сему неумолимому блюстителю порядка. Он уже видит сквозь мглу серые глаза, живые, беспокойные, насмешливые, где то вспыхивают, то гаснут огоньки. Привезенный за шесть верст от своего бедного прихода к постели умирающего сына богатых родителей в

качестве чудотворца! Дичь какая-то, нелепость! Срам, просто срам! Он явственно слышит, каким ехидным голоском приветствует его коллега, и вздрагивает, пораженный в самое сердце… Чего все они хотят от него? Какое чудо надеются они получить из этой старческой руки, бессильно подрагивающей при каждом толчке повозки?.. С каким-то детским испугом он глядит на мужицкую, никогда дочиста не отмывающуюся руку. Ах, кто он среди них, как не бедный упорный землепашец, который, прилежно налегая на сошник, подвигается шаг за шагом по обширному пустынному полю! Всякий день доставляет новые заботы, и нужно вновь и вновь трудиться, подобно оратаю, вздирающему целину и бредущему за сохою, увязая в земле ногами, обутыми в тяжелые чеботы. Он идет, идет, не оборачиваясь, роняя одесную и ошую безыскусные слова, неутомимо благословляя крестным знамением (так пращуры его осенним мглистым днем метали в землю семена ячменя и пшеницы). Почему приходили к нему из такой дали мужчины и женщины, зная лишь имя его да полусказочную молву о нем? Почему к нему, а не к другим пастырям, в городах и больших селах, кто умеет складно говорить и знает суетный свет? Сколько раз в исходе дня, по-

луживой от усталости, ломал он голову над этим вопросом и мучился, не находя ответа. Потом смежал веки и засыпал наконец с мыслью о непостижимых дарах господних и причудливых путях его… Но сегодня… Почему чувство неспособности своей творить добро унижает его, вместо того чтобы умиротворять? Иль столь горьки слова самоотречения устам верного слуги божиего? О, странная прихоть сердца! Столь недавно еще он помышлял бежать от людей, от суеты мирской, от вселенского греха; последней, напоенной горечью радостью его стало бы в смертный час воспоминание о безмерном и тщетном труде, о величии жизни и безграничном одиночестве своем. Но вот теперь он усумнился в самом труде своем, и Дьявол тянет все дальше вниз… Это он-то мученик самоотречения? Смиренная, избранная Богом жертва? Как бы не так! Невежественный изувер, доведший себя до исступления постом и молитвою, блаженный посконник, которому дивятся праздные зеваки и одуревшие от скуки бездельники… "Да!.. Да…" — шептал он, трясясь в повозке и глядя перед собой отсутствующим взглядом… Живые изгороди по-прежнему бежали одесную и ошую, бричка летела, как во сне, но неизбывная тревога забегала вперед, ждала его у

каждого дорожного столба.

Ибо сей необычный человек, приявший в лоно свое тяготы бесчисленных собратьев, наделенный редкостным даром утешения, сам не был утешен. Известно, что изредка он открывал свою исстрадавшуюся душу и изливал печаль свою в слезах на груди отца Бателье, моля небо о сострадании, всхлипывая и жалуясь, как малое дитя. В пахнущих плесенью потемках убогой люмбрской исповедальни коленопреклоненные чада его лишь слышали дивный голос, без помощи красноречия сокрушавший броню самых очерствелых сердец, проникновенный, молящий и кротко непреклонный. Миротворное слово, изроненное во мраке святилища от незримых уст, ширилось до небес, исторгало душу из грешной плоти и являло ее Богу изящно совершенной и свободной; слово простое, звучащее в самом сердце, ясное, выразительное, значительное в кротости своей, обретавшее помалу власть неодолимую, неотвратимую; слово, назначенное нести верующим смысл заповеди божественной, в котором те, кому оно было особенно дорого, не единожды ощутили мощь неистовейшей души и как бы слышали отголосок ее. Увы, сей водворитель мира в человеках, столь щедро расточавший

себя ради ближнего, обретал в собственной душе лишь сумятицу, разброд, неистовый пляс пестрых образов, плищ бесовский, где все корчилось и вопило... А потом наставала жуткая тишина.

Для многих так и осталось навсегда необъяснимой загадкой то обстоятельство, что человек, которого тысячи людей избирали судьей для разрешения самых жгучих вопросов долга и совести, в делах, имевших касательство до его собственной совести, всегда был неуверен, почти робок. "Мною забавляются, — говаривал он. — Я им вроде игрушки". Так с щедростью расточительной даровал он покой, которого не ведал сам.

IV

— Вот и приехали! — сказал хозяин Плуи, указывая кнутовищем на дым, подымавшийся к небу среди деревьев.

Какой-то паренек в небесно-синих коротких штанах отворил ворота и принял вожжи. Когда бричка въехала на подворье, Авре соскочил наземь и направился к дому, сопровождаемый гостем.

На крыльце их встретил священник люзарнского прихода, высокий мужчина в черном облачении.

— Дорогой коллега, — промолвил он, — вас ждут здесь с таким же нетерпением, с каким во время оно удрученный горем знатный вельможа ждал святого Винцента!..

Он весело, но сдержанно улыбался, стараясь, видимо, о соблюдении приличий, подобающих духовному лицу в доме, где лежит при смерти ребенок, и, как бы в извинение своей шутки, крепко, по-мужицки, пожал Дониссану руку.

Однако викарий тотчас увлек коллегу во двор, где они стали в некотором удалении от крыльца, вызвав переполох среди кур.

— Мне, право же, совестно, друг мой, очень совестно, — начал Дониссан, стараясь говорить как можно мягче. — Умоляю вас простить невежество бедной женщины… и меня покорно прошу извинить… Мы побеседуем об этом позднее, продолжал он уже другим голосом, — и вы убедитесь, что я… что главная вина на мне…

Сильные, немного дрожащие пальцы сжали у локтя руку люзарнского кюре. Даже когда этот сверхъестественный человек умышленно унижался, дарованная ему божественная сила излучалась вне и подчиняла собеседника.

— Добрейший собрат мой, — отвечал бывший профессор химии уже не так весело, — не стоит виниться передо мной… Не знаю уж, так это или не так, только я слыву вольнодумцем, а некоторые даже считают меня крамольником… Я, знаете ли, изучал точные науки… Конечно, тут есть оттенки… немного другой словарь… Тем не менее… я весьма уважаю вас за характер…

Он говорил, потупив глаза, испытывая растущую неловкость. Он сам себе казался смешным, просто отвратительным. Наконец, совершенно смешавшись, он умолк, но, еще не подняв головы, видел, словно внутри себя, как бы в бездонном зерцале, взгляд, устремленный прямо ему в глаза.

Помимо своей воли, он жадно впитывал сей взор, отдавался целиком во власть его… На какой-то миг он почувствовал, что предстал якобы нагим всепрощающему судии.

На обмякшем, дрожащем, мертвенно-бледном лице он видел одни глаза, зовущие его из безмерной дали, молящие, полные отчаяния. Взор их был сильнее протянутых рук, жалобнее стона — взор немой, бездонно черный, влекущий неодолимо… "Чего он хочет?" — вопрошал себя бедняга, объятый священным трепетом… "Мне казалось, он стоит среди огненного озера!" — рассказывал позднее люзарнский кюре. Неизъяснимая жалость стеснила ему сердце.

Рука Дониссана задрожала сильнее.

— Молитесь за меня… — прошептал на ухо ему святой старец.

Рука сжалась еще крепче; вдруг он резко отстранился и сказал совсем другим, жестким голосом, голосом человека, защищающего свою жизнь:

— Не искушайте меня!

Бок о бок они вернулись в дом, не проронив более ни слова.

Лишь этот вопль исторг старец. Ему хотелось объяснить, оправдаться, он сгорал от стыда при одной мысли, что входит в сей дом в облике да-

ятеля благ жизни, что совершит какую-нибудь роковую ошибку, оскорбит ближнего... И тут воспряли в единое мгновение силы, терзавшие его в продолжение всей мучительной ночи, и слова, которые он хотел сказать, и тайно зревшая в нем мысль растворились в нахлынувшей, всепоглощающей тревоге. Сколь бы низко ни увлек его неистощимый в выдумках враг, еще тянулась к внешнему миру хрупкая нить, еще звучали смутные его отголоски. Но вот могучая рука исторгла его из живого лона, вырвала с корнем... "Спасайся сам, пора! — гремел в нем незнаемый голос. — Кончилась бесплодная борьба, кончилось унылое однообразие побед! Сорок лет труда и скудного прибытка, сорок лет опостылевших споров, в гное их подлых душонок, сорок лет преодолено в поте лица, осталось позади. Спеши! Сделай твой первый, твой единственный шаг за пределы мира!.."

Голос говорил еще многое другое, но говорил лишь одно, многое в едином, слово единое, короткое, как взгляд, — и бесконечное... Прошлое сдиралось лоскутами, летело клочьями. Среди бурливой тревоги вспыхивала внезапно ослепительным сполохом жуткая радость, гремел в душе смех, сокрушающий самые крепкие до-

спехи… Ему вспомнился дождливый день, и он сам, будущий священник, во дворе семинарии… потом в высокой зале, обтянутой узорчатым шелком вишневого цвета, перед его преосвященством в короткой мантии и белой накидке… Вспомнились первые дни, проведенные в Люмбре, обветшалый церковный дом, голая стена, его окружающая, зимний ветер, гуляющий в тесном садике… А потом… потом безмерно тяжкий труд, и безжалостная толпа, денно и нощно осаждающая его, теснящаяся вокруг исповедальни божьего человека, как собиралась некогда у обители арского святого, сознательное отречение от всякой помощи людской… да, божий человек, отданный на растерзание ближним! Подчиненная, наконец, плоть, не ведающая ни отдыха, ни покоя, который не был бы куплен ценою поста и самобичевания; вновь и вновь возникающие сомнения, смятение и ужас от бесконечного прикосновения к смердящим язвам человеческого сердца, страшное зрелище несчетных душ, обреченных муке вечной, и отчаяние бессильного помочь им, протянуть им руки через бездну плоти; мучительное сознание напрасно потерянного времени, безмерность труда… Сколько раз и в эту ночь, и прежде его преследовали такие мысли!.. Но в час

сей его озаряет изнутри свет великого ожидания, великого и дивного ожидания. Пламя его сжигает остатки сущего в Дониссане создания. Он уже человек новых времен, его зовут вступить в иной мир… Как далеко позади остался старый мир и его резвоногое стадо! Он утратил уже, навсегда утратил жгучее чувство вселенского греха. Он чувствует лишь чудовищное ослепление попавших во власть порока, шитый белыми нитками, до смешного незатейливый обман, которому они поддались. О, жалкое, столь несовершенное сердце! О, бедный, скудный мыслями мозг! О, племя ничтожных личинок, копошащихся в грязи!.. Он не принадлежит ему более, оно перестало существовать для него. Он готов отречься от него, не питая к нему ненависти. Он всплывает из мрака к свету, подобно ныряльщику, который всей силою своей порывается из глубины, простерши перед собою руки и ловя открытыми глазами свет, льющийся из выси в текучую черноту вод.

— Ты свободен! — говорил тот человек (так похожий на него). — Твое прошлое, праздный и трогательный труд, посты, самобичевание, твоя несколько простодушная и грубоватая честность, унижение и самоуничижение твое, восхищение тобою одних и несправедливое недоверие других,

напоенное ядом слово, слетающее с уст, — все сон, тень сна! Все было сном, кроме медленного восхождения к жизни действительной, кроме твоего зарождения и крепнущей силы твоей. Приблизи ухо уст моих и вонми слову, заключающему всю мудрость!

Он напрягает слух, он ждет. Он пришел туда, куда вел его старый недруг, пускающий в ход все ту же уловку, извечный мятежник, униженный, попранный, истолченный в грязную жижицу, раздавленный огромной тяжестью, сожженный всеми незримыми огнями, вздетый на острие меча, исколотый, иссеченный, скрежещущий зубами в последних корчах под громогласные вопли небожителей, которому Бог дал единственную защиту: бесконечно повторяемую ложь… Увы, все та же ложь сочится из стиснутых уст скупца, рвется вместе с хрипеньем жуткого блаженства из ненасытной глотки лежащего на смертном одре: "Ты узнаешь… скоро узнаешь… Вот первая буква таинственного слова… Войди, войди в меня!.. Погрузи руки в горячую рану… Ешь и пей досыта!.."

Да, да, вас ждал он столько веков, латанный и перелатанный, подновленный, нарумяненный и обильно умащенный благовониями, лоснящийся

от жира, сверкающий всеми своими новехонькими зубами и являющий вам, снедаемому любопытством, свое иссохлое тело, жалкую ложь свою, откуда ваши изжаждавшиеся уста не высосут и капли крови!

"...Я увидел, вернее, мы увидели, — писал много времени спустя канонику Сибо кюре люзарнского прихода, бывший преподаватель низшей семинарии в Камбре, — что он стоит, полузакрыв глаза. Некоторое время мы глядели на него, не решаясь нарушить молчания. Черты его выражали обыкновенно елейную доброту, в которой некоторые рассудительные особы склонны были усматривать признак известной простоватости. Но в тот миг всем нам его костистое лицо показалось словно окаменевшим от крайнего внутреннего напряжения — так выглядит человек, призывающий на помощь всю свою волю, чтобы преодолеть мучительную нерешительность. Я заметил в то же время, что стан его поразительным образом распрямился и дышал в его преклонные лета мощью необыкновенной, я бы сказал, какой-то дикой силой. Хотя ум мой, некогда воспитанный на строгих правилах точных наук, весьма мало наклонен к игре воображения, меня столь поразил вид этого могучего человека, застывшего в

недвижности, словно молнией пораженного, под мирным кровом сельского жилища, что я подумал вдруг, не снится ли мне все это, и когда мой почтенный друг задвигался и заговорил, я был поражен так, как если бы случилось нечто в высшей степени неожиданное. Казалось, он проснулся внезапно. Выше я писал Вам, уважаемый коллега, что я вышел навстречу нашему дорогому собрату и встретил его у дороги, в некотором удалении от дома. Некоторые произнесенные им слова, вероятно не совсем понятые мною, усилили мое беспокойство. Я старался отвечать так, как внушало мне чувство дружбы и осторожность, как вдруг, сильно сдавив мою руку и наведши взор свой прямо мне в глаза, он промолвил: "Довольно искушать меня!.." Тем и кончился первый наш разговор, так как мы подошли уже к дверям дома Авре. И тут во мне шевельнулось предчувствие беды... Увы, оно не обмануло меня! Дитя, состояние коего не оставляло, впрочем, ни малейшей надежды, угасло во время моей непродолжительной отлучки. Местная повитуха, мадемуазель Ламбелен установила кончину по всем правилам науки и с точностью, исключающей ошибку. "Он умер!" — сказала она, понизив голос (не знаю, слышал ли ее коллега из Люмбра). Переступив

порог, господин Дониссан едва сделал несколько шагов, как вдруг, движимая трогательным порывом, в котором всякий просвещенный человек не может не признать выражения истинного благочестия, сожалея в то же время о чрезмерной горячности, проистекающей главным образом от невежества, несчастная мать буквально рухнула к стопам моего почтенного коллеги и, обеспамятев от горя, стала целовать полу его старой сутаны, биясь об пол лбом с такою силою, что сей глухой звук отдавался в самом моем сердце. Едва бедная женщина коснулась его, господин кюре из Люмбра стал как вкопанный, устремив недвижно взор перед собою. Он застыл, подобно изваянию, посреди комнаты и в течение нескольких томительных минут пребывал в том оцепенении, о котором я писал Вам выше.

Затем он осенил голову госпожи Авре крестным знамением, обратил свой взор ко мне и молвил: "Выйдем!" Увы, дорогой и уважаемый коллега! Толико велика слабость рассудка нашего, постигнутого чрезмерно сильным впечатлением, что никакая сила, кажется, не помешала бы мне тогда последовать за господином Дониссаном, а удрученная страшным горем злосчастная мать позволила нам удалиться, не сказав ни

единого слова. Из всех нас одна мадемуазель Ламбелен сохраняла, видимо, присутствие духа. Хотя поведение и набожность сей особы весьма предосудительны, Господь преподал нам в ее лице урок здравомыслия и хладнокровия. Вне всякого сомнения, я стал в то ужасное утро как бы игралищем несчастного существа, которое мог бы уберечь от страшной беды благотворный совет, внушенный опытом и мудростью. Одному Господу ведомо, сделал ли он меня орудием гнева своего иль милосердия, однако последующие события склоняют чашу весов в пользу первого предположения".

Высокоуважаемый каноник, мирно пожинавший доходы от своей должности и отошедший ныне в мир иной, предстает, словно живой, в каждой строке сего поистине бесподобного письма, в сих благоразумных и сдержанных оборотах речи, как бы соединенных, подобно индийским каштанам, в длинную цепочку, где глупцы увидят одно дюжинное и пошлое, но где все словно окутано колдовскими чарами наваждения — единственного наваждения в убогой жизни человека, который лишь однажды усомнился в себе и не пережил ни этого единственного сомнения, ни неотвязного сна! За несколько месяцев до

кончины невинная жертва писала к одному из близких друзей:

"Вынужденный прервать работу, бывшую мне единственной отрадой, я не в силах освободиться из плена воспоминаний, из коих наиболее мучительное связано с горестной и непостижимой кончиной господина Дониссана, священника люмбрского прихода. Мысленно я непрестанно возвращаюсь к ней. Я вижу тут одно из тех весьма редких на свете явлений, превосходящих разумение обыкновенного человека. Слабое здоровье мое еще более пошатнулось из-за сих неотступных мыслей, в чем я усматриваю главную причину все увеличивающейся слабости и почти полной утраты аппетита".

Последние строки порадуют любого пакостника из породы тех, кто любит копаться в чужой жизни. Пусть сколько угодно барахтаются и сопят в зловонной жиже. Но если читать их без низменного любопытства, открыв сердце сей бесхитростной жалобе, нельзя не почувствовать искреннее горе, звучащее в сем признании бессилия, сделанном в выражениях столь высоких. Отчаянные усилия некоторых простых людей, рожденных для мирного труда и на краткое, молнией сверкнувшее мгновение прикоснувшихся

благодаря чудесному случаю самой сущности вещей, когда они до последней минуты своей неисповедимой жизни пытаются вспомнить, вновь ухватить то, что никогда не повторяется и что поразило их, как удар в спину, являют зрелище невыразимо печальное и порождают в душе чувство жестокой, пронзительной боли, с каким сравнится лишь горе, вызванное смертью младенца. Тщетно воскрешают они мысленно каждый свой шаг, восстанавливают в памяти мельчайшие события, буква за буквой перечитывают свою жизнь. Кажется, ничего не упущено, но прошлое лишилось смысла. Им кажется, будто пережитое случилось не с ними, они не узнают самих себя. Злая сила поразила всех, но упал стоявший рядом. Могут ли они остаться равнодушны к такой несправедливости судьбы, к бессмысленной жестокости случая? Как бы ни напрягались они, усилия их столь же тщетны, как трепет невинного беззащитного зверя, и в смертный час они падут под ударом судьбы, которой не заслуживали и которая осталась для них непостижимой. Ибо, сколь бы далеко ни хватал ум дюжинный, даже если допустить, что изредка он нащупывает мир действительный сквозь толщу условностей и наружных знаков, ему никогда

не сравниться с могучими духом, удел которых есть не столько знание бытия истинного, сколько сознание, что нам не дано уловить его и удержать целиком — о, жестокая насмешка истины!

Кто лучше сей досточтимой духовной особы написал бы заключительную главу жизни, свершившейся в одиночестве и молчании, оставшейся навсегда тайной? К несчастью, бывший священник люзарнского прихода оставил по себе лишь несколько частично сохранившихся писем, наиболее важные извлечения из коих мы приводили выше. Остальное было тщательно уничтожено по дознании, наряженном властями епископства, причем полученные сведения сохранялись до времени в тайне.

V

— Выйдем! — сказал святой отец из Люмбра.

Коллега последовал за ним, движимый отнюдь не колдовской силой, во что он сам искренне уверовал позднее, но простым любопытством: в чем же дело? Бывший профессор мало знал о старом священнике, ставшем неожиданно пастырем несметного множества верующих, все увеличивавшихся в числе. Каким чудом этому странному человеку в облепленных грязью башмаках, который ходит всегда один и никогда не останавливается на дороге, удалось собрать вокруг исповедальни настоящую общину, целое сообщество преданных ему людей? Священник люзарнского прихода, новичок в епархии, разделял "в известной мере" недоверие кое-кого среди своих коллег. "Поживем, там видно будет", невинно говаривал он. И вот, благодаря случаю (еще одно излюбленное им слово) ему при первой же встрече представилась возможность доверительно беседовать с этой самобытной личностью.

Они вышли в тесный, обведенный стеною садик за домом. Яркие солнечные лучи пробивались сквозь листву и пятнами ложились на

грядки латука. В воздухе стремительно проносились пчелы, подгоняемые западным, задувшим после восхода солнца ветром.

Люмбрский старец внезапно остановился, шагнул к спутнику. В резком свете дня его изможденное бессонницей лицо казалось мучительно искаженной личиной умирающего. Рот его жалко растянулся, губы дрожали. Какое-то время он крепился, потом перестал бороться с собой под устремленным на него взглядом любопытных глаз… Слезы брызнули у него из глаз.

Чувствуя жалость к нему, будущий каноник успокоительно поднял свою белую холеную ручку:

— Полноте, коллега…

Он говорил многословно, торопливо, первое, что приходило в голову, как и подобает в столь сложных обстоятельствах, обретая уверенность от звука собственного голоса, а сам не сводил внимательного взгляда с едва державшегося на ногах старика, поверяя оком впечатление от своих речей, ни на миг не сомневаясь в том, что столь неотразимое красноречие не замедлит оказать действие. "Этот приступ слабости, несомненно вызванный чрезмерно усердным служением Богу, есть лишь кратковременное испытание, но

и предостережение свыше, ибо Господь, видимо, не всегда одобряет ваш непомерный пыл, мой благочестивый друг, все эти епитимьи, посты, ночные радения, которыми вы изнуряете себя..."

Он говорил без остановки, спеша кончить свою речь, щедрой рукой лия бальзам утешения и великодушных советов, как вдруг раздался такой странный о, так странно, так необычно звучащий! — голос человека, который не слушал и не станет слушать. Услышав этот стон, наш добряк тотчас понял, что напрасно тратил красноречие.

— Друг мой, друг мой, я больше не могу! Нет сил!..

Трясущиеся губы почти выговорили еще какое-то слово, но не кончили. Однако оно не ускользнуло от внимания коллеги, быстро оправившегося от растерянности.

— Вы сказали "отчаяние"? В каком это смысле? Но святой старец властно положил свою лихорадочную дрожащую ладонь на его руку и сказал:

— Давайте отойдем немного, вон туда...

Они остановились под старой полуобвалившейся стеной. Какая ликующая жизнь кипела тут!

— У меня нет сил, — жалобно повторил старец. — Пожалейте меня, друг мой, теперь единствен-

ный друг мой, не дайте милосердию совратить вас с пути истинного. Будьте тверды! Я всего лишь недостойный пастырь, жалкий священник, бесплодная душа, слепец, несчастный слепец!..

— Нет, нет, только не вы,- вежливо возразил будущий каноник, — но те немногие, кто дерзал злоупотребить вашей до… вашим прямодушием… Ведь так хочется верить в искренность лестных слов!

Он усмехнулся, отгоняя рукой назойливую осу (жужжавшую так же докучно, как эти самоупоенные, велеречивые уста), но, спохватившись, внушительно проговорил:

— Так я слушаю вас.

Люмбрский старец клонится вперед, падает на колена:

— Господь вручает меня вам, отдает в вашу власть!

— Какое ребячество! — негодует будущий каноник. — Встаньте же, друг мой, встаньте! Вы просто устали, переутомились, все представляется вам в преувеличенном виде. Я самый обыкновенный человек! Правда, некоторый опыт… — добавляет он с улыбкой.

Люмбрский пастырь отвечает ему горькой усмешкой. Какая разница! Прежде чем произой-

дет роковой поворот, ему хочется видеть в этом человеке друга, не избранного им, но посланного, очевидно, посланного ему Богом, последнего друга своего. Конечно, он уже не надеется, что можно будет поворотить вспять, обрести утраченный мир, начать новую жизнь. Слишком долго шел он гибельным путем и уже будет идти до конца, покуда хватит сил, рука об руку с единственным товарищем своим.

— Увы, — отвечал он, — каким я был в высшей семинарии, таким и остался: твердолобым бессердечным упрямцем, презренным человечишкой, ставшим орудием в руках провидения. Ходящие обо мне слухи, упорное преследование, дружеское расположение ко мне многих грешников суть знамения и предзнаменования, смысл которых мне непонятен. Святость зреет в безмолвии, но в нем отказано было мне. Давеча мне нужно было молчать, и теперь мне не пришлось бы говорить вам то, в чем я собираюсь признаться… (Да, сердце мое обливалось кровью, когда я покидал при столь ужасных обстоятельствах несчастную коленопреклоненную женщину, постигнутую столь жестоким, о, столь жестоким горем…) Но тому есть, очевидно, причина… ибо, друг мой, когда я выходил уже за дверь… одна мысль… мне

пришла в голову одна мысль…

— Какая же? — спросил люзарнский пастырь.

Он невольно склонился и приблизил ухо к губам старца, чтобы лучше слышать голос, понизившийся до неразборчивого шепота… Вдруг он выпрямился с выражением ужаса на лице и вскричал:

— О, друг мой, друг мой!

Он воздел руки к небу, потом скрестил их на груди, в глубокой скорби понурив широкие плечи. Старец по-прежнему стоял на коленях. Был виден лишь седой затылок низко опущенной от стыда головы.

— Стало быть, эта мысль пришла вам в голову внезапно, в первый раз? раздельно проговорил люзарнский коллега.

— В первый раз.

— А прежде никогда не приходила?

— Боже мой! — воскликнул престарелый священнослужитель. — Конечно же, нет! Я несчастный человек. За долгие годы у меня не было и часу душевного покоя. Конечно, вам трудно поверить! Еще бы! Чудотворец! Святой в лапах Дьявола!.. По правде говоря, друг мой, за всю мою жизнь я, пожалуй, не совершил ни одного, хотя бы незаконченного, хотя бы неудачного деяния

во имя божественной любви… Нет, мне должно было пройти через ужасные страдания этой ночи… Я более не принадлежу себе, в буквальном смысле слова… Я корчился в муках отчаяния… И тогда, словно в насмешку… тогда меня посетила эта мысль…

— Вы должны были гнать ее прочь, — возразил люзарнский пастырь.

— Поймите же, — смиренно отвечал старец, — я сказал "посетила", но я просто неудачно выразился. Это не мысль, но убеждение… (Ах, я не нахожу слов, мне всегда не хватало слов! — воскликнул он с какою-то детской досадой.) Мне нужно идти до конца, возлюбленный брат мой, признаться во всем… Даже стоя перед вами на коленах, обуреваемый тревогой неизъяснимой, сомневаясь в самом спасении души моей… я верую… мне должно верить неколебимо, что убеждение сие мне внушил Господь!

— Получили ли вы — как бы сказать? — какой-либо ощутимый знак?

— Знак? — с простодушным удивлением переспросил старец.

— Ну, не знаю… может быть, вы что-нибудь видели или слышали?

— Ничего… Только внутренний голос. Если бы

воля божия была изъявлена столь явственно, я повиновался бы незамедлительно. Но это был не приказ, но просто уверенность, убеждение в том, что так и будет… ежели я сам того пожелаю. Видит Бог, признание сие терзает мне душу, я просто сгораю от стыда… Я знал… знаю и теперь… я уверен… что единого моего слова было бы довольно, чтобы… Боже мой!., чтобы воскресить… да, оно воскресило бы мертвое дитя!..

— Посмотрите мне в глаза! — властно сказал люзарнский кюре по долгом молчании.

Обеими руками он стал подымать старика с колен, и когда тот встал перед ним и он увидел его низко опущенную голову и испачканные землей штаны, в нем шевельнулось дружеское участие.

— Смотрите мне в глаза… Отвечайте искренне… Кто воспротивился тому, чтобы вы испытали… немедленно испытали свою власть?

— Не знаю, — ответствовал старик. — Это было ужасно!.. Когда орудие слишком низменно, Господь выбрасывает его после того, как употребит для своей пользы.

— Но ваше… убеждение остается неколебимо?

— Да.

— Что вы решили делать?

— Повиноваться, — последовал ответ дивного

старца.

Будущий каноник с живостью сдернул очки, взмахнул ими в воздухе.

— Советы мои будут чрезвычайно просты. Во-первых, вместе со мною вы вернетесь сейчас в дом и принесете свои извинения (столь неожиданный уход, вероятно, несколько удивил и обидел хозяев!). Пока я буду исполнять долг вежливости, вы пойдете, — вы хорошо меня слышите? — пойдете в смертный покой, отчитаете молитвы — словом, сделаете все, что считаете нужным, сделаете на совесть… Мне не хотелось бы, чтобы в вашей душе, и так уже потрясенной, осталась хотя бы тень сомнения… Я все возьму на себя, заключил он после коротенькой заминки, резким взмахом руки словно отметая сомнения. (Он устыдился невольного, темного любопытства, шевельнувшегося в нем, и такой решительностью как бы пытался скрыть от самого себя эту слабость. Иногда самый заурядный человек, случайно затесавшись в игорную залу, поддается лихорадочному возбуждению собравшихся вокруг стола людей, бросает на сукно золотой двадцатифранковик и еще немного узнает себя.)

Засим люзарнский пастырь водрузил очки на нос и закончил:

— После чего, мой друг, вы будете благоразумны и отправитесь отдыхать.

— Я постараюсь, — смиренно ответствовал старец.

— Это будет зависеть от вас. По утверждению людей ученых, отдых есть акт воли. Даже бессонница, считают они, является одним из чрезвычайно многообразных проявлений безволия у многих больных. Уж поверьте опыту человека, основательно изучившего явления такого рода. Внезапный упадок душевных сил, жертвой которого вы стали, есть, несомненно, естественная реакция переутомленного организма. Будем откровенны, дорогой коллега. В девяти случаях из десяти душевный мир, в поисках которого вы заходите столь далеко, весьма легко достижим: чтобы обрести его, достаточно соблюдать правила гигиены. Разумеется, такого рода истины подчас опасны в устах духовного лица и, во всяком случае, должны преподноситься с изрядной осторожностью. Но я могу не опасаться, что человек вашего ума даст им превратное толкование… вроде тех щепетильных особ…

— Вы считаете меня безумным, — мягко проговорил старец, поднимая глаза и устремляя на собеседника взор, исполненный неизъяснимой

нежности.

— Увы, — продолжал он, — еще недавно я рад был бы лишиться рассудка. Порою просто видеть само по себе уже столь тяжко, что лучше бы Господь разбил зерцало. И оно будет разбито, друг мой… Трудно стоять у распятия, но еще труднее пристально глядеть на него… Какое страшное зрелище, друг мой, смерть невинного существа! В сущности, в самой смерти нет ничего особенного… Наверное, можно убить сразу, ускорить конец, набить землей неисповедимые уста, заглушить вопль… Но нет, рука, сдавившая несчастного, несравненно могуча и искусна, и взор, упивающийся зрелищем страданий, не есть человеческий взор. Всесильна свирепая злоба, что тешится муками испускающего дух праведника, нет ей преград. Божественную плоть не только терзают, но и насилуют, оскверняют кощунством беспредельным даже в великий час кончины… То глумление Сатаны! Радость, непостижимое ликование Сатаны, друг мой!..

Он помолчал и добавил:

— По сравнению с таким зрелищем непотребство человеков кажется чистотою непорочной…

— Восхождение на Голгофу… — начал было будущий каноник и не кончил.

Все смешалось в голове сего ученика Декарта в сутане. Если бы некий достославный мыслитель, чьи речи открыли иной чувственный мир перед толпами его прелестных слушательниц, который, искусно сочетая математику и остроумие, превратил вопрос бытия в развлечение праздных умов, услышал однажды членораздельную речь в устах одного из диковинных созданий, собранных целиком из пружин, рычагов и зубчатых колесиков, он так же опешил бы, как наш незадачливый священник, бывший доселе столь твердым и сбитый вдруг с толку, совершенно растерявшийся.

Люмбрский святой приставил острый перст свой ко лбу будущего каноника и проговорил медленно, хрипло:

— Бедные мы, бедные! Здесь у нас немного мозга и сатанинская гордыня! На что мне ваша осторожность? Судьба моя решена. Какого мира, какого безмолвия я искал? Нет мира на грешной земле, говорю вам, нет! И если бы хотя на миг воцарилось истинное безмолвие, сей изъеденный порчей мир рассеялся бы, как дым, как запах. Я просил Господа нашего открыть мне глаза, я хотел видеть крест его. Я увидел — о, вы не знаете, что это такое!.. Голгофа, говорите… Да вы просто

слепы, для вас не существует ничего другого!.. Поверьте мне, Сабиру, я собственными ушами слышал — и не где-нибудь, а на соборной кафедре — такие вещи… уму непостижимо!.. Они толкуют о смерти Христа, словно рассказывают старую сказку… приукрашивают, сочиняют… Откуда они все это взяли?.. Голгофа! Помните же, Сабиру!..

— Дорогой мой друг… дорогой друг… — залепетал тот, совершенно потерявшись, — такой жар… такое неистовство… столь чуждые вам…

По правде говоря, его испугали не столько слова, сколько голос, ставший твердым, как железо. Но самое сильное впечатление на него произвело его собственное имя, три брошенных в пространство слога, звучащие, как приказание: Са-би-ру… Са-би-ру…

— Помните же, Сабиру, мир не есть хорошо налаженный механизм. Мы словно последний оплот Господа, где он обороняется от Сатаны. На протяжении бесчисленных столетий ненавистный враг тщится поразить Его через людской заслон, гнусное убийство свершается в жалкой плоти человеческой. О, как бы далеко, как бы высоко ни увлекали нас молитва и любовь, он всюду с нами, неразлучный и страшный спутник наш, и гремит во все концы его ликующий хохот!

Помолимся же, Сабиру, о том, чтобы испытание было недолго, и о милости к бедному стаду… Бедное стадо!..

Голос его пресекся, он заслонил глаза трясущимися руками. Все свищет и щебечет окрест в солнечном садике, но они ничего уже не слышат.

— Бедное стадо! — едва слышно шепчут губы старца. При мысли о тех, кого он так любил, губы его задрожали, странная улыбка медленно обозначилась на них, от которой по чертам его разлилось выражение такой кроткой величавости, что Сабиру испугался, как бы старец не упал замертво. Два раза он робко окликнул святого. Наконец, словно проснувшись, тот заговорил:

— Мне должно было говорить так. Так будет лучше. Полагаю, Сабиру, что я имел право показать вам, что ваше мнение обо мне не совсем справедливо. Мне было бы прискорбно оставить вас в заблуждении, будто… я сподобился… видений, знамений… каких-то редкостных искусов. Нет, друг мой, это не по моей части! Все, что я видел, я увидел, сидя на соломенном стуле в моей тесной исповедаленке, так же ясно, как вижу вас. Дело в том, что никто не знает, что такое грешник. Во мраке исповедальни вы слышите голос:

первые слова еще можно разобрать, но потом они начинают спешить, говорят все быстрее, быстрее, так что, наконец, ничего уже не поймешь — жу-жу-жу!.. И это, спрашивается, все? Нет уж, милые мои, рассказывайте эту сказочку малым детям! Надо видеть, видеть лицо, где отражается малейшее движение душ. А глаза? Человеческие глаза, Сабиру! О них можно говорить бесконечно. Да, я многим помогал встретить смертный час, но это не так страшно: со временем привыкаешь относиться к этому спокойно — ведь они возносятся к Богу. Страшно другое: эти жалкие создания приходят ко мне, спорят, улыбаются, упрямятся и лгут, лгут, лгут, покуда, обезумев от ужаса, валятся нам в ноги, как порожние кули! И они еще важничают на людях, петушатся перед девицами, кощунствуют не без приятности!.. О, я долго не мог понять, видел одних заблудших овец, которых Господь мимоходом наставляет на путь. Но между Богом и человеком не какая-нибудь мелкая сошка, а что-то другое… Тут… тут есть таинственное существо, необыкновенно умное и упорное, его можно сравнить разве что с бесчеловечной издевкой, жестокой ухмылкой. Господь на время дал ему власть над собой. Внутри нас в Него вонзаются когти и клыки. Его выдирают из

нас. На протяжении бесконечных веков из рода людского выжимают кровь, она льется рекой ради того, чтобы чудовищный палач насладился, глумясь, малейшей частицей божественной плоти… О, сколь безмерно невежество наше! Что Дьявол, спрашиваю вас, в глазах образованных, учтивых, искусных в обращении священников? Далеко не всегда им удается сдержать усмешку, упоминая его имя. Они подзывают его свистом, как песика. Уж не воображают ли они, что приручили его? Как бы не так! Они слишком много читали и мало исповедовали. Они заботятся лишь о том, чтобы угодить, и угождают одним глупцам, успокаивая их. Но мы не утешители, Сабиру! Мы стоим в первых рядах сражающихся насмерть, за нами дети наши. Священники! Или не слышат они вопля нищеты вселенской? Или исповедуют одних дьячков своих? Знать, никогда не видели они прямо против себя лица, искаженного мукой! Знать, никогда не видели глаз, пылающих ненавистью к Богу, которым уже нечего дать, понимаете, нечего!.. Скупец, снедаемый страшным своим недугом, блудник, подобный живому трупу, честолюбец, одержимый единою страстью, завистник, лишившийся сна!.. Какой священник не плакал хотя бы раз в жизни от чувства бесси-

лия перед тайной людского страдания, тайной Бога, поруганного в человеке, в ком Он ищет прибежища!.. Не хотят видеть! Не хотят!..

Чем громче звучал в сиянии солнца и шуме ветра твердый голос, тем враждебнее становился крепкий садик с его вызывающим пиршеством жизни. Майский ветер, гнавший по небу серые облака, иногда задерживал за краем земли их несметные толпы, и тогда сноп ослепительного света, пронесшись исполинским сверкающим мечом низко над бескрайней померкшей равниной, вспыхивал среди великолепной зелени живой изгороди.

"Мне казалось, — писал позднее аббат Сабиру, — будто я стою на одинокой высоте, ничем не защищенный от ударов незримого врага... А он молчал, недвижно устремив взор вдаль, словно ждал знака, но не дождался".

VI

Передадим же слово свидетелю, которому мы обязаны наилучшими местами повести сей и который волею более искушенного и могущественного был избран помогать люмбрскому старцу в последней его битве. Как и ранее приведенные выдержки, нижеследующее извлечено из обширного доклада, приготовленного для начальства добросовестным каноником. Спору нет, подчас в строках этих проскальзывает страх и самолюбие, прячущиеся за простодушно-хитрыми обиняками. Впрочем, что особенно дурного в том, что бедняга пытается оправдаться, защищая свои предрассудки, свой покой, свое тщеславие, свои понятия о жизни?

"Конечно, весьма нелегко с достаточной живостью воскресить в памяти теперь уже далекие события, но разговор, подобный тому, что я пытаюсь передать здесь, можно сказать, не поддается описанию, и даже самая надежная память не могла бы по прошествии столь значительного времени восстановить общий его настрой, звук голоса, множество мелких подробностей, сообщающих словам особый смысл и побуждающих

нас слышать лишь те из них, какие созвучны тайному нашему желанию. Уважению к настоятельному требованию вышестоящих особ и стремлению по возможности полно осведомить их должно восторжествовать над отвращением и укорами совести. Итак, я буду стараться не столько о том, чтобы в точности воспроизвести нашу беседу, сколько о том, чтобы передать общий смысл сказанных тогда слов и необычное чувство, какое они вызвали во мне.

— Помните же, Сабиру! — вскричал вдруг мой злосчастный собрат голосом, пригвоздившим меня на месте. Очи его жгли меня огнем. Раза два я пытался заговорить, но он глядел все так же упорно. Что скрывать, я был во власти чар, если можно назвать чарами невыносимое душевное напряжение и жгучее любопытство. Он начал говорить, и пока звучал его голос, я ни на миг не усомнился в том, что передо мной действительно сверхъестественный человек, пришедший в совершенное умоисступление. Множество вещей, о которых я никогда прежде не думал и которые сегодня кажутся мне противоречивыми, путаными, какими-то даже ребячьими выдумками, осветили тогда сердце мое и разум. Мне чудилось, что я вступил в иной мир. Возможно ли без

волнения пересказывать дивные речи того, кто, то умоляя, то грозя, то бледнея от бешенства, то обливаясь слезами, отчаивался в спасении души, душераздирающе скорбел о напрасных муках людей, восставал яро на зло и на смерть, словно хватая за горло самого Сатану! Слово "Сатана" то и дело слетало с его уст, и выговаривал он его с таким необыкновенным выражением, что кровь стыла в жилах. Когда бы человекам дано было на миг узреть мятежного ангела, кому отцы церкви в святой простоте своей приписывают толико многие чудеса, о коих ныне нам известно лучше, он, как живой, предстал бы им в таких речах, и тень его уже возникла между нами, смиренными слугами Господа, в ограде тесного сада. Нет, нельзя без волнения душевного вспоминать их, милостивые сударь! Нужно было слышать сего почтенного человека, чье лицо искажалось омерзением, как бы обезумевшего от ненависти, когда рассказывал о самых сокровенных тайнах, поверенных ему при исполнении им своих обязанностей духовника, о страшных признаниях, о душах, опустошенных грехом, о несчастных, попавших в лапы бесу, в чьих страданиях очи его, коим дано было прозревать незримое, видели от начала до конца все крестные муки Господа

нашего. Меня охватил восторг. Я был уже не простой служитель христианской добродетели, но богодуховенный муж, один из вошедших в предание заклинателей духов, готовых отвоевать овец своих у сил зла! Такова власть красноречия! Несвязные слова излетали уст моих, я порывался куда-то, готов был бесстрашно противостоять опасности и, быть может, даже принять мученическую смерть. Впервые за долгие годы мне показалось, что стал обозначаться истинный смысл жизни, что я начал понимать величие священнического подвига. Я бросился, да, бросился в ноги люмбрскому старцу. Мало того, я охватил руками его колена, припал губами к ветхой сутане, обливая ее слезами, вскричал — увы! — от переполнявшего меня восторга — да, да, именно вскричал громким голосом: "Вы святой!.. Святой!.."

Не единожды, но многажды простершийся ниц каноник произнес это слово, твердил его в упоении заплетающимся языком. Земля горела под ним, небо кружилось огромным колесом. Он чувствовал себя невесомым, бесконечно свободным и легким в упругом воздушном пространстве. "Мне казалось, — пишет он, — что смерть не властна более надо мною".

Сколь же властно было слово и сколь чудотворно молчание, чтобы им возможно стало возвести на такую высоту сию тягость! Что шептал на ухо Сабиру седовласый, всеми, даже Богом, отверженный, измученный, выбившийся из сил, потрясенный искушением до самых глубин страдалец, который, стоя уже на краю могилы, искал взглядом дружеского взора? Этого мы никогда не узнаем.

— Ах, Сатана попирает нас! — проговорил он наконец с тихим смирением.

Ошеломленный пастырь из Люзарна сбивчиво залепетал:

— Друг мой, брат мой, я принимал вас за другого… я не ведал… Господь предназначил вам стать гордостью епархии, церкви, престола истины… И вы, наделенный столь редкостным дарованием, сетуете, считаете себя побежденным! Вы! Позвольте же мне выразить вам по крайней мере мою признательность, мою глубокую благодарность за все добро, сделанное мне, за искренний порыв…

— Вы не поняли меня, — кратко отвечал старец.

Он знает, что ему нужно молчать, но скажет. У слабости, как и у отваги, есть своя последователь-

ность, своя неуклонная сила. Тем не менее старец колебался некоторое время, прежде чем нанести последний удар.

— Я не святой… подождите, дайте мне сказать. Скорее отверженный. Да, отверженный! Взгляните на меня… На прожитые годы пролился яркий свет: я вижу их так же ясно, как виден Пэн у самых ног твоих, когда стоишь на вершине Шеневьер. Я положил много труда, чтобы отдалиться мира, ибо таково было желание мое. Но враг сильнее и хитрее, он помогал мне истребить в себе надежду. Как я страдал, Сабиру! Сколько раз подавлял подступающую к горлу тошноту! Я пестовал отвращение, словно лелея на груди моей Дьявола-младенца. Силы мои уже иссякали, когда сей приступ разрушил все окончательно. Как же я был глуп! Бог не там, Сабиру!

Еще какой-то миг он колеблется, глядя в лицо своей невинной жертве, на цветущего священника о простодушных очах, и с удвоенной яростью обрушивает удар:

— Святой! Все вы только и знаете, что твердите: "Святой… Святой!" А вы знаете, что это такое? Запомните, Сабиру! Грех редко овладевает нами силой, но гораздо чаще исподволь. Он вливается, как воздух. Он не имеет своего отличительного

признака, цвета или вкуса — он может принять любой вид. Он подтачивает нас изнутри. Некоторых пожирает заживо, и от их воплей кровь стынет в жилах. Другие же еще при жизни подобны охладелым трупам, — не трупам даже, но пустым гробницам. Ибо Господь наш сказал (великие слова, Сабиру!): Враг людей похищает у них все, даже смерть, и уносится прочь со смехом.

(Снова блеснули его недвижно вперенные очи, словно отсвет пламени скользнул по стене.)

— Смех — вот оружие князя мира! Он изворотлив, как ложь его, у него тысячи лиц, и лицо каждого из нас. Он никогда не ждет, нигде не задерживается. Он во взгляде, дерзко устремленном на него, он на устах, отвергающих его, в неизъяснимой тоске, в самонадеянности и беспечальности глупца… Князь мира! Князь мира! "Почему он гневается? На кого?" оторопело думает Сабиру.

— Помилуйте, такие люди, как вы… — начал было он.

Но люмбрский святой не дает ему кончить. Он подступает к нему вплоть:

— Такие люди, как я? Вы найдете ответ в Писании: губит их собственная мудрость!

Вдруг он спросил отрывисто:

— Князь мира… А что вы думаете о нашем мире?

— Право же, вероятно… — в замешательстве мямлил бедняга.

— Князь мира — вот самое верное слово. Он князь мира сего, он владеет им, правит самодержавно… Мы под пятой Сатаны, — продолжал он по недолгом молчании. — И вы, и я, еще больше, чем вы. Се истина жестокая. Мы захлебываемся, тонем, идем ко дну. Он даже не дает себе труда отшвырнуть нас, тщедушных, он пользуется нами как орудием своим. Пользуется нами, Сабиру!.. Что я теперь в ваших глазах? Ужасный человек, терние, которое он вонзает вам в сердце. Простите меня, ради святого милосердия! Всю жизнь я вынашивал в молчании мысль сию, она зрела во мне день ото дня. И теперь не она заключается во мне, но я поглощен ею. Я повержен в ней, как в преисподней! Я знал слишком много душ, Сабиру, слишком часто слышал человечье слово, сказанное не для того, чтобы скрыть позор, но, напротив, вытащить его на свет, слово, почерпнутое из первоисточника, всосанное, как кровь из раны. Я тоже надеялся бороться, даже победить. В первые годы нашей священнической службы с грешником связаны в нашем сознании такие

причудливые представления, такие благородные помыслы… Непокорство, богохульство, осквернение святынь — тут есть какое-то дикое величие: вам предстоит укротить свирепого зверя… Грешника укротить! О, нелепая затея! Укротить самое безволие и трусость! Кто не устанет тащить вверх мертвый груз? Все они одним миром мазаны: лжецы, тысячу раз лжецы, вечные лжецы и в излияниях откровенности, и в великодушии прощения! Изображают этакую сильную личность, которая сорвалась с привязи и мчится, закусив удила, топча условности, нравственность и прочее. Умоляют, чтобы крепкая рука взнуздала их! О, убожество! Крысы, затравленные крысы! Я видывал, знаете, таких, что начинали бесноваться при одном упоминании женского имени, что пресмыкались, как скоты, у моих ног, терзаемые страхом, совестью и вожделением… Да, насмотрелся я на них досыта. Чудовищный обман, глумливый смех, привычка издеваться над жертвой, прежде чем убить ее, — вот торжествующий Сатана! Вы поняли меня, Сабиру?

Небесно-синие глаза профессора глядят неотрывно, с простодушным любопытством, с бесконечной, неизменной благожелательностью. О, разбить бы этот синий фарфор! Старый боец

то краснеет, то бледнеет перед упитанным краснощеким младенцем. Сердце стучит в его груди сильно и ровно, могучая, так и не сломленная воля напряглась и рвет оковы. Притиснув Сабиру к стене, До-ниссан кричит ему в ухо голосом, который невозможно забыть:

— Мы побеждены, говорю вам! Побеждены! Побеждены!

Долго, долго слышит он отголоски богохульства в себе, как шорох последней горсти земли, брошенной на могилу. Единый взор простил грех тому, кто трижды отрекся господина своего, но на что может надеяться отрекшийся самого себя?

— Друг мой! Друг мой! — взывает люзарнский пастырь.

Но святой тихо отводит его руки:

— Оставьте меня… отпустите…

— Оставить вас! — негодует Сабиру. — Оставить вас! В жизни моей я не встречал таких людей, как вы. Это вы должны простить меня за то, что я усомнился в вас. Я готов быть свидетелем испытания, умышленного вами… Нет невозможного для вас, вы способны свершить невероятное!.. Идите же, идите! Я следую за вами. Господь вас вдохновил! Идемте же в дом. Верните матери умершего сына ее!

Святой отец изумленно глядит, проводит рукой по лбу, старается понять… И его, рыцаря человечества, не миновала ужасная, ошеломительная забывчивость! Неужели он забыл?

— Помилуйте, друг мой! — настаивает Сабиру. — Мне ли напоминать вам о том, что было сказано пять минут назад, на этом самом месте?..

Он вспомнил. Последний дар милосердия, головокружительное обещание, которое могло бы его спасти и которому он внимал с недоверием, вместо того чтобы повиноваться, подобно неразумному дитяти, которое, само того не ведая, своими слабыми ручками творит великие дела… Как мог он забыть? Ему приходится напоминать! Единая мысль неотступно преследует несчастного два дня и две ночи, овладевает им всецело в то самое время, — о, проклятье! когда возможно было избавление, дарованное такой рукой! В решающий миг, в неповторимый миг своей необычайной жизни он был просто жалкой двуногой тварью, способной лишь страдать и вопить!

О, ни тонущий мореплаватель, когда среди утренней мглы из глаз его исчез внезапно алый парус, ни художник, умирающий при жизни, когда угас огонь вдохновения, ни мать, когда

ускользает от нее взгляд умирающего сына, не восстонали бы к небу с такой жестокой тоской!

Но несгибаемый старец не упал на колени, не стал молиться. Мысленным взором он мерит хладнокровно глубину своего падения, в последний раз перебирает в памяти хитросплетения победоносного врага. "Я возненавидел грех, — думает он, — потом возненавидел самое жизнь, и та неизъяснимая сладость, что находил я в упоении молитвы, возможно, было отчаяние, таявшее в моем сердце".

Один за другим рассыпаются образы, рожденные нашим воображением, и когда в душе поселяется смятение, является рассудок и наносит нам последний удар. Слепой страх может быть внушен не только темным чувством, но и совершенным разумом, которым столь гордимся. И страх сей объемлет люмбрского старца. Он погружается на самое дно убийственной мысли. Возможно ль! В ту самую минуту, когда я уже считал… Как! Даже в упоении небесной любви!..

— Неужели Бог посмеялся надо мною? — вскричал он.

Когда спадает пелена обмана, который мы всю жизнь принимаем за действительность и с которым связали судьбу свою, когда все рухнуло,

решительно все, какая сила движет нами, как не жгучее желание накликать беду, устремиться навстречу ей, познать ее, наконец?

— Идем! — молвил святой.

VII

Широко шагая, он переходит садик, покрывшийся тенью от налетевшего облака и отворяет дверь.

— Вот он! — вскрикнула женщина, ждавшая его с сильно бьющимся сердцем.

Она бросается к нему и останавливается, пораженная искаженным лицом, выражающим одну неукротимую волю, лицом воителя, но не святого. Надежда поколебалась в ней. Но он, глядя поверх ее головы, идет прямо к запертой двери позади тяжелого дубового стола и, наложивши руку на скобу, знаком велит оставаться на месте своему оробелому собрату. Он отворяет дверь и видит темный безмолвный покой с завешенными окнами. Пламя горящей в глубине покоя свечи дрогнуло. Он входит и затворяется с покойником наедине. Выбеленная известью комната узка и длинна, она служит подсобным помещением при кухне; врач настоял, чтобы сюда перенесли хворого, потому что она просторнее других и имеет два окна, глядящих на восток, через которые виден сад, Сеннекурский лес, Борегарские холмы с множеством зеленых

оград, пестрящих цветами. На мощенном красными плитами полу расстелен плохонький ковер. Единственная свеча едва освещает голые стены. Весь тот скудный свет, что неизвестно как, через невидимые щели проникает снаружи, облачком стоит вокруг белых, жестких, без единой морщины простыней, прямо ниспадающих до земли по обе стороны кровати, где лежит удивительно тихий и благоразумный теперь мальчик. Где-то хлопотливо жужжит муха. Люмбрский пастырь стоит в изножии смертного одра и молча глядит на распятие на чистой холстине. Он не надеется услышать вновь таинственное веление. Но обет был принесен, и приказ дан. Этого достаточно. Неверный слуга стоит на том самом месте, где тщетно ждал его господин, и бесстрастно внемлет справедливому приговору.

Он внемлет. Наружи, за опущенными занавесями, пылает и посвистывает в лучах солнца сад, словно вязанка сырых дров в печи. Здесь же воздух душен от запаха сирени, горячего воска и еще какого-то торжественного благоухания. Неземное безмолвие, которого не могут нарушить звуки внешнего мира, обволакивает их, подымаясь из недра земного. Оно восходит, подобно незримому пару, и в сердце его образы живого

искажаются и распадаются, звуки слабеют и глохнут, — несметные лики неведомого мира черта за чертой проступают сквозь него. Словно две жидкости разной плотности, две действительности существуют одна подле другой, не смешиваясь, в таинственно стройном единстве.

Святой старец встретился взглядом с мертвецом и приковал к нему свои глаза.

Один глаз покойника открыт. Очевидно, дрожащая рука опустила веко слишком рано, сократившаяся мышца немного оттянула его кверху, из-под ресниц выглядывает синий зрачок. Хотя и потускнелый, он удивительно густого, почти черного цвета. Один он виднеется на белом лице, покоящемся в углублении подушки, — смотрит из широкого кольца тени, словно из сумрачного провала. Щуплое тельце под отягощенным сиренью саваном уже окоченело и приобрело трупную угловатость. Воздух, которым мы дышим и которому любы очертания живого, словно смерзся вокруг усопшего студеною глыбою. Железная кровать об охладелом тельце похожа на сказочное навье, навеки ставшее на прикол. Жив лишь сей взгляд, обращенный вспять, неотрывный взгляд изгнанника, настоятельный, как мановение.

Нет, пастырь не страшится взора, но вопрошает его. Он силится понять его немой призыв. Минуту назад он переступил порог сей обители, словно бросая вызов, умыслив свершить среди сих белых стен отчаянное предприятие. Он шел к мертвецу, не испытывая ни жалости, ни нежности, словно хотел преодолеть препятствие, подвинуть непомерную тяжесть… Но мертвец опередил: он ждет его, готовый к бою, напрягшийся противник.

Старец смотрит на приоткрытый глаз с напряженным вниманием и любопытством: мало-помалу выражение сострадания исчезает, уступая место жгучему нетерпению. Да, он видел смерть так же часто, как старый воин, зрелище привычное. Ступить вперед, протянуть руку, ощутить пальцами веко, закрыть стерегущую его беззащитную зеницу: что может быть проще? Не страх, не брезгливость удерживают его ныне, но жажда, бессознательное ожидание невозможного, того, что должно свершиться вне его, помимо него. Мысли его останавливаются в нерешимости, отступают, вновь движутся вперед. Он искушает мертвеца, как вскоре, сам того не ведая, будет искушать Бога.

…Вновь он пробует молиться, шевелит губами, — расслабляет сжатое судорогой горло Нет, еще

немного, еще чуть-чуть... Безумный, безрассудный страх, что неосторожное слово навсегда прогонит нечто незримое, угадываемое, чаянное и пугающее, пригвождает его к месту, принуждает к молчанию. Рука, уже творящая крестное знамение, падает вдруг. От маха широкого рукава сутаны пламя свечи заколебалось и угасло. Поздно! Он видел, как глаза дважды открылись и закрылись, призывая его. Он подавляет крик. Погрузившаяся в темноту комната приобрела более мирный облик. Дневной свет просачивается сквозь ставни, рассеиваясь в воздухе. В пепельном сумраке проступают предметы, а над кроватью колышется голубоватое сияние. Часы в кухне бьют десять раз... Где-то звонко смеется девочка, смех ее долго дрожит в звучном утреннем воздухе... "Ну же, ну!.." — нетвердым голосом говорит святой.

Смешно суетясь, он роется в карманах, пытаясь найти огниво с трутом, подаренное графом де Сальпен (он каждый раз забывает его на столе), нащупывает спичку, тут же роняет и все приговаривает, стиснув зубы: "Ну же, ну!" Опорожняя карманы, он положил на пол нож на черенке из коровьего рога, какие-то письма, хлопчатый носовой платок дивного красного цвета, а теперь

ползает по полу, шарит руками и ничего не может найти. Кровать — черная груда в полумраке совсем близко, мглистое сияние от затворенных ставней ширится, теснит потемки. Мало-помалу обозначается лицо покойника… Медленно-медленно всплывает из мрака. Старец склоняется совсем низко, вглядывается… Оба широко открытых глаза смотрят на него.

Полный безумной надежды, он все не отводит взгляда. Но ничто не дрогнет в распахнутых веках, в тускло чернеющих зеницах нет и намека на мысль… Все же… Может быть, в них другая мысль? И тут он увидел, узнал эту издевку… Наглая ухмылка властителя смерти, похитителя людей… Это он!

— Это ты, я узнал тебя! — вскричал злосчастный старец низким чеканным голосом. Вдруг ему показалось, что вся кровь отхлынула ледяной волной из жил в сердце. Боль, от которой и прежде ныла вся левая рука, отдаваясь в кончиках коченеющих пальцев, ударила нестерпимо, словно кинжалом, пронзила его от плеча до плеча. Впервые в жизни его обуял животный страх, от которого в груди, под ложечкой, образовалась тошнотворно сосущая пустота. Он весь напрягся, чтобы не крикнуть, не позвать на помощь. Жизнь

повисла на волоске, смерть близка, очевидна, неотвратима. Отважный старец отчаянно борется с ней. Он покачнулся, сделал шаг, чтобы не упасть, ухватился за спинку стула. И в кратком мгновении, которое потребовалось, чтобы сделать этот шаг, сжалось сорок лет величайшего напряжения великой души, чтобы последним, нечеловеческим усилием остановить рок.

Значит, правда? Значит, неумолимый палач, забавляющийся людьми, как кошка мышью, в самом деле морочит его — то поманит, то собьет с пути, то велит, то приласкает, то отнимет, то вернет надежду, кличет на разные голоса, принимает, всемогущий, как Бог, обличье то ангела, то демона покуда рок исхитит его, Дониссана, и он канет в небытие? Всемогущий, как Бог! Да он с радостью пойдет в ад, будет гореть в пекле, лишь бы раз, единственный раз развеять прахом чудовищный обман! Возможно ли, угодно ли Господу, чтобы слуга, неизменно следовавший завету его, обрел вместо Него гаерского царя мух, семь раз помазанное на царство чудовище? Ужель сие едино дано обрести устам, ищущим креста Спасителя, рукам, объемлющим его? Ужель едину ложь сию?.. "Возможно ли? — шепчут губы святого, — возможно ли?.." Внезапно он возопил:

— Ты обманул меня!

Острая боль, стиснувшая его страшным обручем, немного отпустила, но дышать трудно, сердце бьется медленно, словно облеплено чем-то вязким. "Только бы успеть!" — думает бедный старик, с трудом отрывая от пола точно свинцом налитые ноги. Но ничто не остановит того, кто, сжав зубы, всю волю свою сосредоточив на мысли единой, идет на победоносного врага и готов разить. Святой просовывает руки под окоченелые ручки мальчика, наполовину стаскивает легкое тело с кровати. Голова покойника откидывается, переваливается с боку на бок, совсем повисает. Мальчик словно безгласно кричит: "Не хочу, не хочу!" — запрокинув голову изящно-томным движением заласканных детей. Но что грубому мужичине, у которого отняли последнюю его надежду, которому лишь нечеловеческая ярость дает силу держаться на ногах, этот чувствительный вздор, детское упрямство иль гнев полубога?

Он поднимает мальчика, как просфору, мечет к небесам грозный взор. Кто отважился бы выразить сей вопль гибнущего, проклятие бесстрашного воителя, не молящего о пощаде, о жалости, но взыскующего справедливости! Он не

вымаливает чуда, нет, он требует его. Господи, ты должен совершить его, ты совершишь его, ибо все в мире есть лишь страшный сон. Скажи, Господи, кто из вас двоих есть владыка! Безумная, трижды безумная речь, но ей должно прогреметь до небес и нарушить молчание! Безумная речь, кощунственный вопль любви!

Тому, кто пустил смерть в круг людской, дана, надо полагать, власть истребить самое жизнь, обратить ее в прах, от него же порождена бысть. "Пусть страдания мои были напрасны! Я страдал, веруя. Яви же лик твой! взывает Дониссан тем внутренним голосом, через который оказывается в мире незримом непостижимая власть человека. — Явись, прежде чем навеки покинешь меня!" О, несчастный старый пастырь, как расточает он всю силу жизни в себе, дабы явилось знамение в небесах! Ему не может быть отказано в знамении, ибо вера, подвигающая горы, и мертвеца может поднять из гроба… Но Бог внемлет лишь тому, кто одушевляем любовью.

VIII

От самого святого нам досталась лишь весьма краткая повесть, точнее, наспех сделанные заметки, писанные в состоянии совершенного разброда мыслей, в каком-то бреду. Составлены записки эти языком столь неловким, столь неуклюжим, что нет никакой возможности предложить их читателю в первоначальном виде. Тут он не найдет и следа поразительной личности, подвергнутой всем возможным и мыслимым соблазнам отчаяния; напротив того, в них явственно выступает прежний пастырь люмбрского прихода, с его простоватой приниженностью, почтением и даже несколько раболепным преклонением перед вышестоящими, трусливый страх возможной огласки, полная неуверенность в себе, сопряженная с глубокой, непреходящей подавленностью, не оставляющей сомнений в близком конце.

Тем не менее некоторые места в записках стоят того, чтобы с них стряхнули пыль забвения, те именно, где, стараясь единственно о точном воспроизведении пережитых им событий, он как бы с буквальной точностью переносит на бумагу заключительные мгновения диковинного своего

предприятия. Вот эти записи в первозданном их виде:

"Минуту или две я держал на руках маленький труп, потом с усилием поднял его к распятию. Как бы легок он ни был, мне стоило немалого труда удерживать его, ибо я чувствовал боль и слабость в левой руке. Тем не менее я исполнил мое намерение. Тогда, вперив взор в Господа нашего, стараясь со всей живостью вообразить покаянные труды и утомительные заботы жизни моей, добро, какое творил иногда, и полученные мною утешения, я обещал отдать без остатка все, что имею, дабы враг, неутомимо преследовавший меня и похитивший теперь самое надежду на спасение души, был наконец унижен пред мною существом могущественнейшим, нежели он сам… О Отче наш, ради сего не убоюсь поступиться и животом вечным!

Се бо истина, Отче. Диавол, власти возымевший над мною, довольно силен есть и коварен да обмануть бы чувства мои, помрачить разум мой, смешать истину с ложью. Заранее приемлю, склоняюсь пред державным приговором твоим! Но очам, зревшим его, рукам, его касавшимся, уже было дано причаститься чуда… Да, на какое-то время, длительность которого затрудняюсь опре-

делить, труп, казалось, ожил Я явственно ощутил вдруг пальцами тепло, от него идущее, трепет жизни в нем. Бессильно свесившаяся голова поворотилась ко мне... глаза моргнули, ожили... Я видел. В то же время голос во мне повторял: "Numquid cognoscentur in tenebris mirabilia tua, et justitia tua in terra oblivionis?" [3] Я отверз уже уста, дабы изречь глагол сей, как пронзительная, нестерпимая, ни с чем не сравнимая боль снова поразила меня. Некоторое время я силился удержать тело, скользившее прочь из рук, потом оно свалилось на постель. И тут позади меня раздался ужасный крик".

Он действительно услышал страшный вопль, а затем жуткий смех. И тогда он бросился, как вор, прочь из покоя прямо к отворенной двери и озаренному солнцем саду, не оборачиваясь, не видя ничего, кроме теней — он отталкивал их, не узнавая, вытянутыми перед собой руками... Голоса за его спиной поникли, смешались в невнятный ропот и угасли... Он ступил еще несколько раз, перевел дух и открыл глаза. Он сидел на обочине Люмбрской дороги, рядом валялась шляпа, глаза были еще пьяны. По дороге, окутанная золоти-

[3] notes: 3

Разве познают во мраке чудеса твои и справедливость твою в царстве забвения? (лат.)

стой пылью, бежала рысью впряженная в бричку лошадь, и возница, проезжая мимо, осклабился во весь рот, приветственно махнул кнутом. "Может, мне все приснилось?" — подумал бедняга, прислушиваясь к сильно бьющемуся сердцу...

Тут он увидел люзарнского пастыря.

Бледный, запыхавшийся, заикающийся, он обретал мало-помалу внушительную свою повадку и уверенность, видя перед собой несчастного собрата своего, потерявшего шляпу, со спутанными седыми волосами, похожего на старого школьника, который с великим трудом поднялся с земли, напрягая все силы, чтобы удержаться на ногах.

— Несчастный! — вскричал будущий каноник, едва уверившись в том, что в состоянии говорить с должной твердостью. — Несчастный! Состояние ваше таково, что я не могу не жалеть вас, не сочувствовать вам. Но я браню себя за то, что поддался вашему безумию, навлек на сей постигнутый горем дом новую ужасную беду, унизил наше — да, наше! — достоинство, став вашим пособником в сей нелепой затее... А ваше бегство! Вот уж не ждал от вас такого малодушия!

Помолчав немного, он продолжал, закрыв глаза, словно прислушиваясь к своему голосу:

— Что же вы теперь будете делать?

— Сам не знаю, — отвечал святой. — Я совершил проступок, всю тяжесть которого вряд ли сознаю. Одному Богу ведома мера моей вины. Я вполне заслужил ваше презрение.

Совсем тихо он проговорил что-то невнятное, долго колебался, потом сказал едва слышным, смиренным голосом, низко склонив голову:

— Может быть… может быть… Не могли бы вы сказать?.. Мертвый мальчик, которого я держал на руках… он…

— Ни слова о нем! — с умышленной резкостью перебил его люзарнский пастырь.

Старец затрепетал при сих словах и как-то странно взглянул на судью своего.

— Почти кощунственное лицедейство, устроенное вами (с самыми благими намерениями, друг мой, с самыми благими!), имело последствия, которые, судя по всему, вам неизвестны… Довольно шутить! Возможно ли, чтобы вы не видели и не слышали…

— Слышал, — повторил святой, — слышал… Что я слышал?

— Что слышал! — негодующе вскричал бывший профессор. — Извольте объясниться! Вполне может статься, что вам просто чудились какие-то голоса. Мне трудно поверить, что такой чело-

век, как вы, утешитель страждущих, мог без угрызений совести бросить на произвол судьбы женщину, мать, которую ваше гнусное лицедейство едва не погубило [4], которая бьется теперь в припадке безумия!

Заметив, однако, что старец смотрит на него с совершенно искренним изумлением, он продолжал уже не так резко, торопясь, по обыкновению всех неумных людей, кончить так неловко начатый и мучительный разговор:

— Так вы ничего не знаете? Не знаете, что бедная женщина незаметно прокралась следом за вами в смертный покой? Вам должно быть лучше известно, чем мне, о том, что произошло потом… Мы услышали крик, дикий смех… Тут вы без памяти кинулись вон из дому… Она хотела последовать за вами, и нам с трудом удалось удержать ее. Это было ужасное зрелище!.. Увы, нет ничего удивительного в том, что слабая, сраженная горем женщина поддалась обаянию вашего красноречия, вашей повадки, вашего неистового воображения, если даже я, даже мой ум… еще

---

[4] notes: 4

Известно, что по прошествии нескольких месяцев госпожа Авре исцелилась во время паломничества в люмбрскую церковь. Любопытно заметить, что из всех сверхъестественных превращений, которым ныне уже и счет потерян, лишь сие чудесное исцеление может быть безусловно приписано заступничеству аббата Дониссана.

пять минут назад не мог отличить правду от вымысла… Она кричала: "Он жив! Он жив! Он воскреснет!.." Она требовала, чтобы вас догнали, воротили… Помилуй нас, Господи!

Он перевел дух и продолжал, скрестивши руки на груди:

— Вот как все было… Что вы на это скажете?

— Я погиб, — спокойно отвечал люмбрский пастырь, выпрямляясь во весь рост.

Казалось, он следил взглядом в пустыне неба своего незримого врага.

— Я погиб, — повторил он. — Я вел себя, как безумец… как буйнопомешанный… Я сам казню себя, да, сам! Я должен оградить людей от самого себя… Единая надежда осталась мне: недолго уж осталось жить, совсем недолго… Давеча, друг мой, я испытал первый приступ недуга, который приписывал… Словом, я ощутил очень странную боль, я предчувствую, что она будет ежечасно усиливаться и сведет меня наконец в могилу.

"Он чрезвычайно точно описал типичные признаки приступа грудной жабы, сообщает господин Сабиру в упоминавшихся выше записках, — о чем я и сказал ему без обиняков. Я хотел присовокупить несколько советов (основываясь, увы, на печальном опыте, ибо матушка моя

скончалась от сего страшного недуга), но он, попросивши меня дважды повторить неизвестное ему выражение "angor pectoris", подобрал с земли свою шляпу, отер ее рукавом и, не слушая меня более, удалился большими шагами".

IX

Как долог, как невыносимо долог обратный путь! Путь побежденной рати, закатный путь, никуда не ведущий в клубах праздно вздымаемой пыли!.. Но надо идти, надо идти, пока бьется бедное старое сердце — бьется праздно, дабы иждить остатки дней, ибо нет покоя, пока не угас день, пока жестокое светило вперяет в нас с небосклона единое око свое. Пока стучит усталое старое сердце.

Вот и первый дом на окраине сельца, тропинка между живыми изгородями неравной длины, ведущая наикратчайшим путем через луг и яблоневый сад прямо к воротам кладбища, прилепившегося к церкви… Вот и она возникла, словно тень.

Никем не замеченный по дороге, святой вошел через низенькую дверцу прямо в ризницу, и рухнул на стул, и, теребя шляпу, тупо уставился на кирпичный пол, не в состоянии за что-нибудь ухватиться в сумятице воспоминаний, с какой-то бессмысленной сосредоточенностью слушая мерные толчки крови в горле.

Да, ничего не осталось от могучего старца,

поднявшего мятеж, бросившего дерзновенный вызов! До последнего дня своего ему ни разу, даже на краткий миг, не удалось собраться с духом, чтобы связать воспоминания воедино или хотя бы привести их в ясность. Самая мысль о столь мучительном постижении ему отвратительна, невыносима. Нет, лучше коснеть в сонном отупении! Слишком много сил истрачено, с непомерно большой высоты низвергся он. Обычные искушения кажутся ему теперь детскими выдумками, надоедливым твержением азов, толчением воды в ступе, чем-то вроде назойливых выпытываний судьи. Его-то пытал палач!

Бессознательно он прижимает руку к груди, против того места, где таится притихшая боль. Но более, чем новый приступ смертного ужаса, его страшит осуждение коллег, их пересуды, архиерейское порицание и кара. Глаза его наливаются слезами. Он подтаскивает стул к столику и, чувствуя в голове пустоту, а в душе страх, горбя спину, точно в ожидании удара, начинает составлять крупным почерком прилежного ученика, стараясь не делать помарок, ту самую объяснительную записку, из которой мы привели выше несколько выдержек.

Он пишет, вычеркивает, рвет. Но по мере того,

как на бумагу ложатся подробности необычайного приключения, оно расплывается, тускнеет в памяти. Как будто все это не с ним произошло, как будто он был сторонним наблюдателем. Самое напряжение ума, силящегося воскресить пережитое, рвет последнюю тонкую нить памяти, и он сидит в каком-то оцепенении, упершись локтями в стол и глядя перед собой отуманенным взором.

Сколько часов просидел он так, глядя незрячими глазами в узкое решетчатое оконце, прорубленное в каменной стене, за которым качалась от ветра ветка бузины, то открывая солнце и ярко зеленея в его лучах, то застороняя его и проступая черным кружевом? Пономарь, приходивший в полдень звонить к обедне, видел через дверной глазок в полумраке покоя валявшиеся на полу шляпу, требник, раскиданные картинки и вкладыши из него. В пять часов пополудни ученик приготовительной школы первого причастия по имени Себастьен Мале, вернувшись за оставленной книгой, нашел дверь запертой и, не услышав за ней никаких звуков, ушел восвояси. "Я не решился стучать громко, потому что церковь была уже полна народу, а я очень боялся, что меня станут расспрашивать".

Действительно, то была пора, когда паломни-

ки, ежедневно приезжавшие в Люмбр автобусом Плесси — Богренан, теснились у исповедальни святого в часовне Ангелов. Странное зрелище являло место сие, где толпилось столько скорбных и смешных личин, столько прославленных ничтожеств, возвысившихся на миг над жалкой ложью, обретших человеческое достоинство под влиянием великой души! Более, чем всегда, многочисленные в тот вечер, они ждали с видимым нетерпением, быть может томимые тайным предчувствием, и слитный ропот голосов гудел под сводами старой церкви… Всякий раз, как отворялась высокая дверь, беспокойные лица — завсегдатаи никогда не забудут этого выражения напряженного ожидания — разом поворачивались к возникавшему на миг свету и так же внезапно скрывались в полутьме. Осторожное перешептывание, беспокойное, приглушаемое ладонью покашливание, шорох непрестанного шевеления, выдающего нетерпение и любопытство, сливались в странный гул, напоминающий глухой топот стада во время дождя с грозой. Внезапно настала полная тишина, все смолкло. Среди торжественного молчания дверь ризницы заскрипела, и появился святой.

— Боже, как он бледен! — послышался далеко в

приделе женский голос.

Внятно прозвучавшие в тишине слова нарушили очарование. Обретшая пастыря паства облегченно вздохнула.

По-прежнему прижимая ладонь к сердцу, старый священник медленно подвигался к исповедальне, несколько наклонив голову к правому плечу. Когда он переступал порог, ему показалось, что он сейчас упадет. Но толпа качнулась к нему, сомкнулась кругом и повлекла к мете. Снова, в который уже раз, он перестал принадлежать себе.

И не разлучится уже с ними. Он стоит в непроницаемых потемках, в две погибели согнув высокий стан свой, подпирая затылком дубовый потолок, и хватает воздух открытым ртом. Он отдает на растерзание свою бессильную, униженную плоть, бренное тело свое. Может быть, палач наскучит его тупым терпением?

Но можно ли утолить того, кто наблюдает его, оставаясь незрим, и тешится смертной мукой его? Пусть же жалкий старик, восставший и едва не одолевший, испытывает до последнего вздоха своего могущество, которое дерзал перебороть! О Боже, дай ему хотя бы увидеть лик врага! Но не сей голос, не сей последний вызов себе услы-

шит старец. Через завесу пронзительной боли сознание постепенно возвращается к нему, он начинает слушать… Шепот… все явственнее… однообразный… настоятельный… Он узнал: это они. Сколько их ни есть, мужчины и женщины, один за другим, приникают устами, он слышит их дыхание — оно чище словесной скверны их, унылых покаяний, испакощенных за многие столетия, истасканных до омерзения слов, переходящих из отчих уст в сыновьи, подобных зачитанным страницам гаденькой книжонки, засаленным тысячами тысяч порочных рук, словно клейменным грехом, меченным личным знаком его. Святой стоит в темноте, слова льются ему в уши, переполняют его. Как они спешат, как торопятся!.. Но, едва отдышавшись, отвратительные младенцы — глядите! — уже ищут губами мерзкий набухший сосец, жадно приникают к нему, и Сатана выдавливает им в уста сладостную отраву!.. До смертного часа своего подъемли десницу, о несущий крест, прощай и отпускай, побежденный еще до начала битвы!

Он внемлет и ответствует, точно во сне, но рассудок ясен, как никогда. Никогда еще ум его не был столь раскрепощен, суждение скоро и точно. Но плоть глуха ко всему, кроме возрастающей

боли — все чувства его сосредоточились в месте, откуда растекается по телу, разрастается, как диковинный куст, жгучее страдание, пронизывает ткань нервов, словно ткацкий челнок, снующий проворно между нитей. Оно внедрилось столь глубоко, что, кажется, достигло рубежа тела и души, разделило надвое… В час смерти люмбрский святой сообщается с душами едиными. Из-под полусмеженных век он видит их, только их. Судорожно ухватившись за слуховую перегородку, чувствуя в пояснице боль от вдавившегося в нее края сиденья, куда он боится сесть, глотая спертый воздух разинутым ртом, обливаясь потом, он слышит лишь едва различимый шепот, замирающий от стыда голос своих коленопреклоненных чад. Говорят они или молчат, не имеет значения, ибо великая, сжигаемая нетерпением душа, упредивши признание, уже заповедает, грозит, молит. Рыцарь креста пришел не побеждать, но до последнего вздоха обличать жестокое коварство, неправое, подлое всевластие, незаконие великое, о нем же вопиет к Богу. Воззри, Господи, на слабые дети твоя! На тщеславие их воззри, легковесное и суетное, яко пчела, переменчивое любопытство, чувственность их, печалью повитую, куцый неповоротливый ум; внемли глаголу

их, тяжеловесному и коварному, отобразившему единую наружность вещей, изощренному токмо в двусмыслице, обыкновенно твердому в отрицании, но неизменно трусливому в утверждении, глаголу рабов либо недавних рабов, сотворенному наглости и ласки ради, изворотливому, вероломному, бесчестному… Pater, dimitte i11is non enim sciunt quid facient! [5]

[5] notes: 5
Отче, отпусти им грехи их, ибо не ведают, что творят! (лат.)

X

— Увы, — заключил пастырь люзарнского прихода, — опыт сей дорого мне стоил! Мой незадачливый коллега едва не умер на глазах у меня от приступа грудной жабы. Впрочем, вы сами скоро увидите…

Так говорил он, широко шагая по Люмбрской дороге. Вослед ему трусил молодой врач из Шавранша. Известность, которую приобрел своей врачебной практикой сей безбородый юнец, всего несколько месяцев как обосновавшийся в округе, вполне соответствовала его блистательным качествам. Самоуверенной болтовней, нагловатой повадкой студента-медика и, ко всему прочему, пренебрежительным обращением с больными он покорил все сердца. Не было хозяйки дома, которая не мечтала бы о том, чтобы дочка услышала признание на сих бесстыдных устах, не уповала бы на помощь ловких рук, столь же искусно врачующих причиненные ими раны, как пресловутая спринцовка; не было умирающего, которому не хотелось бы услышать от него в виде утешения какую-нибудь сдобренную пер-

цем, произнесенную mezzavoce [6] людоедскую шуточку. Наш щеголь потерял уже счет тем, кто благодаря его заботам "бодренько отошел в мир иной", по собственному его выражению.

— Вполне возможно, вполне возможно, аббат, — успокоительно отвечал лекарь.

Призванный со всей срочностью по совету господина Сабиру, юный врачеватель нашел хозяйку хутора Плуи в горячечном бреду, прекратившемся, лишь когда она совершенно обессилела. Под вечер она уснула, и тогда пастырь обратился к врачу со следующей речью:

— Дорогой доктор, могу ли я просить вас об одной услуге личного свойства? Вы, кажется, говорили, что к семи вечера за вами пришлют автомобиль? Теперь нет еще и пяти. Давайте не спеша прогуляемся до Люмбра. Что вам стоит позвонить оттуда вашему шоферу в Шавранш и сказать ему, чтобы он ехал за вами в Люмбр? Тем временем вы успеете основательно обследовать моего бедного друга, и я, таким образом, узнаю ваше мнение о состоянии его здоровья.

— Но мое мнение давно вам известно! — довольно весело возразил юный лекарь. — Весьма

---

[6] notes: 6
Вполголоса (итал.).

мало питательная пища, недостаток движения, постоянное пребывание в затхлом воздухе обветшалого дома, в сырой духоте церковной исповедальни, — забота о своем здоровье, находящаяся, видит бог, на уровне тринадцатого столетия!.. Этого предостаточно, чтобы угробить человека, чье здоровье и так уже сильно пошатнулось!.. Что я могу тут поделать?

— У вас свои заботы, у меня свои, — важно возразил кюре. — Наше назначение заключается в сочувствии к слабым, в милосердии к ним. Не все ли равно, каковы человеческие качества моего коллеги? К тому же, судя по тому, что вы говорите, мы имеем здесь дело с профессиональным заболеванием, заслуживающим внимания специалиста и нуждающимся в лечении…

— Хорошо, я пойду! — уступил молодой человек и добавил: — Тем более что беседовать с таким священником, как вы — одно удовольствие.

Так было решено совершить в душевном согласии совместное паломничество в Люмбр.

Когда они вступили в село, с неба посыпался мелкий дождь, белая дорога порыжела, над ней закурился пахнущий хмелем парок. Они заторопились. По кладбищенской траве сбегали капли воды. То и дело отворяемые и затворяемые ре-

шетчатые ворота жалобно скрипели, высокое надвратие серого камня, по которому хлестал ливень, казалось в густеющих сумерках напрягшимся, трепещущим парусом. Рука об руку они вошли под своды почти безлюдной церкви. Здесь люзарнский пастырь отечески положил руку на плечо своего спутника и негромко промолвил:

— Господин Гамбийе, я охотно бы избавил вас от необходимости, возможно неприятной вам, стоять в храме, но мне кажется, вам все же приятнее будет ждать здесь, нежели в прихожей дома, где так же зябко и голо, как в приемной монастыря святой Клариссы! К тому же, по счастию, верующие большей частью уже разошлись. Сколько можно судить, желающих исповедаться больше нет, и если моему почтенному коллеге будет угодно отдохнуть немного в ризнице, он, надеюсь, не станет упрямиться и не замедлит повести нас к себе!

Засим господин Сабиру исчез. Молодой уроженец Шавранша остался в неподвижности близ чаши со святой водой. Некоторое время до него доносились издали отзвуки голоса кюре, потом ударила дверь, застучали, скользя по плитам, тяжелые башмаки, и перед врачом, едва не задевая его, просеменили одна за другой запоздалые бо-

гомолки, окуная мимоходом кончики пальцев в святую воду и сурово поглядывая на него. Служка из местных крестьян задул последние светильники. Господин Сабиру воротился наконец.

— Удивительное дело! По всей видимости, мой коллега покинул церковь во всяком случае, его не могли сыскать. Впрочем, мне сказали, что прошло уже не менее сорока минут, как кончилось отпущение грехов… Ничего не поделаешь, господин Гамбийе… Очевидно, он вышел через кладбищенские ворота. Прошу вас, сделайте еще одно небольшое усилие! — добавил он тем дружеским голосом, перед которым невозможно устоять.

— Ради бога! — любезно отозвался шавраншский врач. — Автомобиль приедет за мною к семи часам, у нас есть еще время… Замечу, однако же, аббат, что ваш умирающий друг весьма скор на ногу…

Как бы в дополнение своих слов, он принялся рассеянно насвистывать. Ибо дожидаясь с мужской сдержанностью, когда придет его черед первенствовать в разговоре, он почел бы за неприличность выказать хотя бы малейшее нетерпение. Однако переговоры со старой Мартой в гостиной, украшенной чучелами двух

куликов, ничего не дали. Она не видела хозяина и не ожидала его возвращения в столь ранний час.

— Бедняга! Бог знает когда он ест! А сколько раз ночи напролет простаивал на коленях на каменном полу в часовне святых Ангелов! Да он и теперь там, готова об заклад биться! За столиком, куда ставят графинчики с вином, есть в стене небольшое углубление, это его излюбленное место забьется туда и сидит в таком же одиночестве, как в Баржемонском лесу. Там и ищите! Ладислас! — окликнула она служку, как раз входившего со стопкой белья в руках. — Ты его не видел при обходе?

Крестьянин отрицательно покачал головой.

— Церковь запирают в шесть, — объясняет Марта, — Ладислас отопрет двери только в девять, когда ударят к вечерне и благословению причастия. В это самое время наш отец святой и наводит в церкви порядок, устраивает все на свой лад… Подумать только, он исхлопотал у его преосвященства, чтобы святое причастие выставлялось на всю ночь! Ты дашь ключи господам? — не без запинки спросила она Ладисласа.

— Сам провожу! — хмуро пробурчал служка. — Коли не велено, значит, не велено, мать! Погодите малость, вот перекушу да промочу глотку

винцом…

Старушка тряхнула своим рогатым чепцом, когда Ладислас повернулся к ним спиной.

— Так и знала! Да вы не беспокойтесь, он рассиживаться не станет, он почти и не ест ничего. Нрав уж у него такой: страсть любит строжиться, да только строгости в нем не больше, чем в малом дитяти!

— Ну что же, мы подождем, — отвечал, поджавши губы, люзарнский кюре, взглядом спрашивая согласия товарища своего.

— Тут, знаете, еще что… такая незадача, право, — заговорила вновь старуха, откашлявшись. — Словом, в соседнем покое (наш святенький называет его молельней, — исповедует он там) сидит очень важный господин. Нарочно приехал из дальней стороны, чтобы нашего батюшку повидать… Старый такой, с орденом Почетного легиона. Очень порядочный господин, уж поверьте мне, такой вежливый! Поди, скучает он там, сидючи в одиночестве.

Шавраншский врач машет руками, как бы посылая к черту старика вместе с его орденом Почетного легиона.

— Верно, какой-нибудь генерал в отставке, — предположил бывший профессор химии, заго-

ворщически улыбаясь.

— Чего не знаю, того не знаю, глядите сами, вон его карточка на столе, у вас под носом, — сердится Марта. — Только глаза у него такие добрые, ласковые такие. Должно, не из военных!

Прямоугольничек бристольского картона действительно лежал на столе под самым носом господина Гамбийе, который покраснел, как мальчишка.

— Ого, это несколько меняет дело! — воскликнул он с видом знатока, протягивая карточку священнику. Тот покачнулся, словно от удара.

— Антуан Сен-Марен!.. — едва выговорил будущий каноник, и губы его увлажнились.

— Член Французской академии! — вторил ему Гамбийе.

Молодой врач картинно выпрямился, постоял в раздумье и, наконец, объявил:

— Ведите нас к нему!

XI

Именитый старец вот уже полвека упражняется в иронии. Талант его, беспощадностью которого он гордится, на самом деле самый что ни на есть послушный, ручной. Притворяясь то целомудренным, то разгневанным, разражаясь то насмешками, то угрозами, он хочет лишь угодить своим хозяевам, подобно покорной наложнице, которая то укусит, то начнет ласкаться. Самые достоверные слова становятся предательской ловушкой в его сладкоречивых устах, и сама истина раболепно пресмыкается. Своеобразной добродетелью седовласого гаера остается не притупившееся с летами любопытство, нудящее его непрестанно менять облик, изучать себя перед зеркалом. Каждая написанная им книга есть своего рода дорожный столб, где он подстерегает прохожего. Подобно уличной девке, наторевшей и изощрившейся в тяжком ремесле порока, он знает, что важно не то, что дается, а то, как дается, и в яростном стремлении к противоречию и самоопровержению ему удается всякий раз представать читателю в совершенно новом обличье.

Толпящиеся вкруг него юные ревнители языка

славословят его мудрую простоту, глагол его, столь же искушенный, как актриса на роли невинных девиц, его изворотливую диалектику и обширные познания. Племя дряблых, худосочных людишек признало в нем своего повелителя. Как победой над родом человеческим, они упиваются бессилием, которое хотя бы поиздевается всласть над тем, чего достигнуть не может, и требуют своей доли малокровных ласк. Свет не видывал еще разумного существа, которое испошлило бы столько мыслей, испакостило столько добрых слов, дало бы хамью столь обильную поживу. Истина, с самого начала возвещаемая им с этакой блудливой развязностью, на последующих страницах выворачивается наизнанку, осмеивается, оплевывается и под конец, сделав в его руках головокружительное сальто, оказывается нагишом на коленях победоносного Сганареля… И куча клевретов, к которой присоединяются вскоре одурманенные хвалебными речами поклонники, готовые молиться на своего кумира, встречает угодливыми смешочками очередную проказу шалуна, дожившего без малого до ста лет.

— Я последний из греков! — объявил он как-то со странной ухмылкой.

И тотчас две дюжины неучей, нахватавших

отрывочных сведений о Гомере из примечаний в сочинении Жюля Леметра, трезвонят во все концы о новом чуде средиземноморской цивилизации и своими истошными воплями повергают в трепет пробужденных Муз. Ибо в том и заключалось все чарующее бесстыдство пакостного старикашки, тем и тешился он, что притворялся, будто хочет стяжать себе славы на коленях высокомерной богини, приникнув к целомудренным чреслам ее и блуждая по ним иссохшими руками… Странное, ужасное дитя!

Давно уже он собирался посетить Люмбр, и ревнители его не скрывали более от непосвященных, что писатель отправится туда с замыслом новой книги. "Мне не раз случалось, — вещал он своим обожателям с той панибратской наглецой, с какой ему благоугодно одаривать ближних жемчужинами низкопробного скептицизма, окрещенного в его честь античной мудростью, — мне не раз случалось встречать святых, ибо именно так принято именовать людей, обладающих бесхитростной душою и живущих в простоте. Эти люди, чье царство не от мира сего, питаются, как все мы, хлебом праздных надежд, но алчут его несравненно более нас. Они живут и умирают в почти полной безвестности, заразив

безумием своим лишь немногих. Да простится мне столь запоздалый возврат к детским мечтаниям. Я хочу узреть воочию святого другой породы, настоящего святого, святого чудотворящего, святого простолюдинов, наконец. Как знать, быть может, я уеду в Люмбр и кончу дни мои на руках блаженного старца".

Сии речи, как и другие, впрочем, долгое время почитали за милую причуду, хотя в них отобразилось, с какой-то забавной стыдливостью, искреннее чувство, низменное, но вполне человеческое: трусливый страх смерти. Окажись маститый писатель заурядностью, большой беды не случилось бы, но, к его несчастью, в нем низменная душонка. Сильная личность писателя, задыхающаяся в тесном круге его книг, нашла выход в пороке. Тщетно силится он утаить от всех, с удвоенным рвением сомневаясь и высмеивая, свою гаденькую тайну, проглядывающую через завесу слов. Но по мере того, как годы идут, горемыка все сильнее чувствует, что выдохся, зашел в тупик, упорствуя во лжи; с каждым днем ему все труднее утолять непрестанно усиливающийся голод всякими безделицами и пустячками. Не в силах перебороть себя, сознавая внушаемое им отвращение, лишь изредка, ценою хитроумных

уловок и плутовства, получая возможность удовлетворить похоть, он жадно кидается на все, во что только может вцепиться беззубыми челюстями, а потом плачет от стыда перед опорожненной мисой. Необходимостью преодолевать сопротивление, тратить время на комедию обольщения, пусть разыгранную на скорую руку, страхом внезапного бессилия, — такая возможность отнюдь не исключена, — прихотливостью неутоленных вожделений объясняется его предубеждение против случайных связей. Если в прежнее время он содержал гувернанток, стараясь соблюсти хотя бы видимость приличий, то теперь опустился до потаскух и горничных, держащих его в домашнем рабстве. Он старается быть снисходительным к их просторечью, напускает на себя удручающе неестественное благодушие, старается отвлечь внимание притворным смешком, а сам тем временем украдкой косится на выглядывающий край короткой нижней юбки, томясь желанием припасть к ней седой головой.

Увы, эти унылые услады истощают его силы, не утоляя жажды. Ему кажется, что ниже пасть уже нельзя, что он скатился на самое дно своего жалкого ада. Желание, более чем когда-либо острое и жгучее, завершается слишком коротким,

изменчивым, вороватым наслаждением. Пришло время, когда желание осталось, но потребности уже нет — последняя загадка сфинкса плоти… Тогда-то между старым немощным телом и напрасно подстрекаемой похотью встала Смерть, последний участник троицы. Но он не распознал ту, которую столько раз нежил на страницах своих книг, чьей лаской сам, казалось, пресытился — а смерть между тем проглядывала в каждом его холодно-насмешливом слове, точно лицо, сквозящее в прозрачной толще воды. Но вот он увидел ее совсем близко, прямо перед собою. Ему воображалось тихое угасание, медленное скольжение вниз по отлогому склону, заросшему цветами, и в самом низу, у последней границы, погружение в сон довольного собой человека; он никак не ожидал, что она явится без предупреждения, как снег на голову, как вор, взломавший дверь средь бела дня… Как, уже конец? Он гнал эти мысли прочь, пытался как-то скрасить их и в этой жалкой игре обнаруживал неистощимую изобретательность. Иногда, набравшись духа, он старался передать самым близким друзьям хотя бы малую долю темного ужаса своего, но они едва ли понимали его: кто поверит, что страдание в глазах великого писателя рождено детским страхом? "Помогите!"

— молит взор, а слушатели восторгаются: "Какое блистательное искусство слова!"

XII

Господин Гамбийе приблизился к достославному создателю "Пасхальной свечи" и представился не без остроумия, ибо ему присущи и лукавство и находчивость. Затем, повернувшись к спутнику своему, он представил ею:

— Господин кюре люзарнского прихода более меня заслуживает чести приветствовать вас в Люмбре, чудесном краю, в двух шагах от церковки, которую вы пожелали видеть.

Антуан Сен-Марен склонил к аббату Сабиру длинное бескровное лицо, разглядывая его со скучающим видом.

— Дорогой наш прославленный маэстро, — сдержанно заговорил тот, — я не чаял видеть вас когда-либо столь близко. По роду нашей службы мы обречены провести жизнь в деревенской глуши, вдали от света, и, право, в высшей степени достойно сожаления, что французскому духовенству не дано свести более короткое знакомство с цветом отечественной словесности. Так будет же по крайней мере позволено одному из наиболее скромных представителей духовенства…

Сен-Марен сверху вниз повел тонкой белой ру-

кой, увековеченной кистью Клодиюса Нивелина.

— Цвет отечественной словесности, господин аббат, представляет довольно-таки шумное и мало приятное собрание, от которого духовным особам лучше держаться подальше. Что же касается до жизни вдали от света, продолжал он со смешком, — я крайне сожалею, поверьте, что в свое время мне выпал иной удел!

По коротком замешательстве бывший профессор химии тоже решил улыбнуться. Тут вступил юный врач из Шавранша, начавший уже обращаться со своим спутником несколько вольно:

— Полно, полно, господин аббат, вы прямо городской голова перед королем, въезжающим в свои владения! Не для того маститый писатель ехал за тридевять земель, чтобы слушать ваши хвалебные излияния. Признаюсь, однако же, сударь, — продолжал он, сделав легкий поклон в сторону Сен-Марена, — что сам готов совершить по отношению к вам еще более недозволительную вольность.

— Прошу вас не стесняться! — благосклонно возразил сочинитель.

— Я хотел лишь спросить, что побудило вас…

— Ни слова более, ежели вы дорожите моим уважением! — вскричал писатель. — Очевид-

но, вы хотели спросить, что побудило меня предпринять это небольшое путешествие? Но, благодаренье Господу, мне известно о том не более, чем вам. Сочинительство, молодой человек, есть самое скучное и неблагодарное ремесло на свете. С меня довольно сочинения романов — жизнь я не придумываю, и на этой странице ничего не написано.

— Я надеюсь, однако, что вы напишете ее, — со вздохом молвил кюре. — Я даже возьму на себя смелость утверждать, что вы в долгу перед нами.

С высоты своего роста знаменитость скользнула взглядом по лицу докучного простофили и спросила, прикрыв глаза веками:

— Итак, трое ждут, когда святому будет угодно осчастливить их?

— Прежде всего ключей от ризницы и милостивого благорасположения служки Ладисласа! — возразил шавраншский баловень.

— То есть? — удивился Сен-Марен, словно не замечая Сабиру, порывавшегося что-то сказать.

Однако более проворный Гамбийе опередил его и на свой лад изложил события дня. Сабиру то и дело пытался ревниво вставить словечко, но каждый раз великий писатель легким досадливым движением повергал его в прах. Выслушав

рассказ Гамбийе, романист заметил:

— Клянусь, сударь, я не чаял таких приятных неожиданностей в столь неудачно начавшийся день. Удивительно, знаете ли, освежает душу, когда повеет вдруг чудесами и прочей мистикой!

— Чудесами? Мистикой? — недовольно вскричал священник.

— А что? — вскипел вдруг Сен-Марен, повернувшись всем телом к своему безобидному противнику (сколь бы низко ни пал великий человек, он стыдился откровенной глупости. Но пуще всего он боялся узнать самого себя в чужой глупости или подлости, точно отразившись в страшном зеркале). — А что? повторил он, стиснув длинные зубы и с каким-то шипением выдавливая через них слова. — Все мы, сударь мой, уповаем на чудо! Его жаждет весь наш объятый скорбью мир. Когда-нибудь — сегодня или через тысячу лет — может произойти нечто такое, что нарушит заведенный порядок, освободит нас из плена закономерностей. Но лучше, если это случится завтра, чтобы я мог спокойно уснуть! Кто дал право тупицам, выпестованным политехническими заведениями, вторгаться в мои сонные грезы? Слова "чудо" и "мистика" исполнены смысла, сударь, и всякий порядочный

человек произносит их с чувством зависти!..

Господин Сабиру, в чем он сам признался позднее, никогда еще не был столь несправедливо оскорблен.

— Мне показалось, что господин Сен-Марен более поэт, нежели философ, заметил он, обращаясь к Гамбийе, — и может на свой лад толковать чужие слова. Но зачем же сердиться?

Впрочем, сам творец "Пасхальной свечи" вряд ли мог бы удовлетворительно ответить на сей вопрос. Он бессознательно ненавидит все, что походит на него, и никогда не признается в том, что испытывает какое-то мучительное наслаждение, презирая себя в других. Лучше кого бы то ни было он понимает, сколь неуловимо зыбка граница, отделяющая глупца от того, кто сделал острословие своим ремеслом; старый циник ярится, зачуяв в олухе, стоящем, казалось бы, неизмеримо ниже его, ягоду того же поля, хотя и помельче.

— Вы не видели отшельника, — вновь заговорил врач, чтобы нарушить затянувшееся молчание, — но осмотрели отшельничью обитель? Не правда ли, какой необычный дом! Какая уединенность!

— Я испытал его чары, — ответствовал писатель. — В жизни ценимы лишь редкие, необыч-

ные явления, миг ожидания и предчувствия. Я познал его здесь.

Господин Гамбийе согласно наклонил голову, осторожно улыбнулся. Между тем престарелая знаменитость подошла к окну и принялась водить по стеклу своими долгими перстами. В колеблющемся свете керосиновой лампы его тень шевелилась на стене, то растягиваясь, то укорачиваясь. Сумерки на дворе сгустились, смутно белела одна дорога. Среди глубокой тишины шавраншский лекарь слышал только тихое поскрипывание ногтей на скользком стекле.

Он вздрогнул от неожиданности, когда раздался голос Сен-Марена:

— Этот чертов служка, видно, решил уморить нас! Ну не глупо ли сиднем сидеть здесь и зевать от скуки, когда у меня впереди целый день? Ведь я только завтра уеду… Да и, правду сказать, устал я изрядно.

— К тому же, — вставил Гамбийе, — если догадки аббата Сабиру не совсем беспочвенны, бедный его коллега вряд ли будет иметь возможность принять вас сегодня.

— Кстати, — откликнулась заезжая знаменитость, — на первый раз довольно уже того, что я увидел обитель сельского священника — впе-

чатление совершенно необычное! (Он любовно обвел рукой четыре голые стены, как бы приглашая любителя редкостей полюбоваться некоей диковиной.)

Эти простые слова пролили целительный бальзам на уязвленное самолюбие Сабиру.

— Должен заметить вам, — промолвил он, — что сей покой весьма неудачно назван молельней, ибо мой почтенный коллега довольно редко наведывается сюда. В сущности, он почти не выходит из своей комнаты.

— Вот как? — воскликнул писатель, чье любопытство было видимо возбуждено.

— Почту за удовольствие быть вашим провожатым, — с готовностью предложил свои услуги будущий каноник. — Я совершенно уверен в том, что господин кюре с великой охотой оказал бы вам сей знак уважения, и, таким образом, я лишь предвосхищаю его желание.

Он взял со стола лампу, поднял ее над головой и по недолгом молчании осведомился, взявшись за дверную ручку:

— Не угодно ли господам следовать за мною?

На втором этаже люзарнский пастырь указал рукой полуотворенную дверь в конце длинного коридора и, обратившись к спутникам, молвил:

— Прошу извинить, я пойду первым.

Писатель и врач вошли следом. Висящая в вытянутой руке Сабиру лампа освещала длинную выбеленную известью чердачную комнату, которая показалась им поначалу совершенно пустой. От недавно вымытых еловых половиц шел крепкий смолистый дух. Потом, благодаря теням, отбрасываемым предметами, они разглядели кое-какую обстановку, расставленную вдоль стены: два плетеных стула, молитвенную скамеечку, заваленный книгами столик.

— Ни дать ни взять, чердак, где ютится какой-нибудь студентишка! разочарованно проронил Сен-Марен.

Но неутомимый Сабиру уже подзывал их к себе, опустивши до полу свой чадный светильник.

— Вот его постель! — не без гордости возвестил сей достойный муж.

Шавраншский насмешник и писатель, оба не отличавшиеся, впрочем, особой застенчивостью, со смущенной улыбкой переглянулись поверх широкой спины своего вожатого. Уже один тюфяк, до смешного узкий и куцый, забросанный рваниной, производил впечатление крайнего убожества. Но Сен-Марен едва взглянул на него: его внимание приковали два грубых зияющих

башмака, уже позеленевших от старости. Один как-то странно стоял торчком, другой лежал на боку, являя взору проржавевшие шляпки гвоздей и покоробленную кожу — два старых изношенных башмака, глядевших на мир с усталостью невыразимой, такие жалкие, какими и люди не бывают.

— Что за зрелище! — тихо молвил писатель. — Убогое и пленительное зрелище!

Он думал о замкнутом круге человеческой жизни, о напрасно свершаемом пути, о последнем шаге и роковом падении. За чем ехал в такую даль благородный скиталец? За тем самым, чего ждал он сам, Сен-Марен, среди привычных предметов, милых ему гравюр и книг, среди любовниц и угодничающих льстецов в особняке по улице Верней, том самом, где скончалась госпожа де Жанзе. Никогда, даже в лучшие свои дни, престарелый певец тлена не поднимался выше томной пресыщенности жизнью, изысканного всеотрицания. В горле у него встал ком, сердце забилось сильнее, а с уст полилась вдохновенная речь:

— Мы находимся в святилище, благоговейный трепет объемлет нас, как под сводами храма. Коль скоро обширному миру положены пределы, должно достойно обозначить место, где свер-

шался труд великий, где духом человеческим владела безумная надежда. Быть может, мыслители древнего мира с презрением взирали бы на люмбрского святого; мы же, наученные многовековым опытом злосчастий, более снисходительно судим о сей звероватой мудрости, смысл которой и оправдание обретаются в одухотворенности действия. Разница между тем, кто хочет все принять, и тем, кто все отвержет, не столь велика, как принято думать. Есть суровое величие, неведомое древним любомудрам…

Торжественно-звучный голос именитого писателя как бы повис на последнем слоге, а взгляд устремился в угол, куда теперь светил расторопный Сабиру. В углублении стены под скатом крыши, на кое-как приколоченной дощечке висело металлическое распятие. В темном углу под ним лежал на полу кольцами свитой ремень того рода, какой погонщики быков называют "стрекало". Он был трех пальцев ширины у основания, оканчивался тонким хвостом и походил на плоскую черную змею. Но не распятие и не бич приковали взор маэстро — он не сводил глаз со странного пятна, занимавшего изрядную часть стены на высоте человеческого роста и состоящего из бесчисленного множества

мелких насохших брызг, которые чем далее от края, тем гуще располагались, так что в средине слипались в сплошную бледно-ржавого цвета коросту. Некоторые из них, еще свежие, выделялись ярко-розовым цветом, другие, засохшие, как бы въевшиеся в штукатурку, едва проступали на ней крапинами неопределенного оттенка. Крест, кожаный бич, порыжелая стена… Суровое величие, неведомое древним любомудрам… Прославленный бард не осмелился бросить в зал завершающий аккорд, песнь его оборвалась…

Застывший на месте господин Гамбийе пробурчал себе в усы что-то о безумствах исступленной веры, исподволь наблюдая за хранящим молчание Сен-Маре-ном. Обольстительный наперсник почтенных обывателей Шавранша, столь проворно совлекавший простыни с жалкой наготы, не единожды хваставший, что может, не моргнувши глазом, видеть и слышать что угодно, почувствовал, как он сам позднее признавался, что у него мороз побежал по спине. Самый толстокожий человек и тот содрогнется, когда у него на глазах беззастенчиво вторгаются в тишайшую тайну великой любви, достояние бедного, единственное сокровище, которое он унесет с собой в могилу.

Отведя лампу и не тратя напрасно времени,

Сабиру объявил совершенно невозмутимо:

— Господа, мой почтенный друг истязает себя и тем весьма вредит своему здоровью! Боже упаси, я не собираюсь порицать столь благочестивое усердие! Должен, однако, заметить, что такие жестокие приемы умерщвления плоти, отнюдь не предписываемые уставом, но лишь терпимые, многим представляются способом достижения святости как опасным, так и смущающим слабых духом и возбуждающим насмешки безбожников.

Последние слова бывший профессор подчеркнул широко распространенным жестом, соединив концы указательного и большого пальцев и отставив мизинец, с видом человека, желающего внести ясность в спорный вопрос. Замешательство врача и молчание писателя показалось ему лестным знаком благосклонного внимания. Он ухмыльнулся и пошел вон, довольный собой, ибо сия заурядность отличалась, ко всему прочему, поразительной бесчувственностью.

"Как же, однако, впечатлителен наш маэстро!" — думал между тем Гамбийе, правя след Сен-Марену и с любопытством поглядывая на длинную точеную руку, крепко сжимавшую трость и изредка постукивавшую ею о пол. И правда, заезжее светило делало почти героические усилия, пыта-

ясь скрыть смятение, овладеть собою. Да, он не остался равнодушен к мрачным чарам убогого жилища, но давно уже научился понимать, что значит каждый удар его старого сердца. Едва шевельнувшееся волнение, находящееся еще в зачаточном, так сказать, состоянии, немедленно приводится в порядок и пускается в дело — оно есть сырье, которое его изворотливый ум перерабатывает, применяясь к вкусу покупателя.

Старого лицедея можно пронять лишь сильным впечатлением — его взбудоражило рыжее пятно на стене в световом круге лампы. Его перу мы обязаны добрыми двумя дюжинами дерзких страниц — многие знают их наизусть, где бедняга пускает в ход все средства своего искусства, заклиная несговорчивый призрак. Никому еще не удавалось толковать о смерти более непринужденно, беспечно и ласково-пренебрежительно. Сколь можно судить, никто среди художников французского слова не обращал к ней взора столь безмятежного, не потешался над нею с такой злостью и такой нежностью… Какое же таинственное превращение свершается в его душе, когда, отложивши перо, он страшится смерти, как бессловесная тварь, как неразумное животное?

Нет, не рассудок его трепещет при мысли

о неотвратимом конце, но слабеет и готова сломиться воля. Сей утонченный служитель искусства познал то отчаяние, когда встает на дыбы звериное начало, изведал липкий страх, слепой ужас пригнанной на бойню скотины, которая пятится, ощетиня шерсть, зачуяв кровь на лезвии мясницкой секиры. Так в свое время, если верить Гонкуру, отец натурализма и творец "Ругон-Маккаров", пробудившись среди ночи от того же темного ужаса, кидался на пол в одной сорочке, являя обмирающей супруге образ трепещущего обличителя.

Сен-Марен стоял на верхней ступени лицом к темной лестнице и сильно дышал, чувствуя свинцовую тяжесть в висках и сухость в горле и зная по опыту, что это единственное средство, помогающее в таких случаях. Застрявший позади него Гамбийе с удивлением и беспокойством слушает неровное шумное дыхание маэстро, трогает легонько его плечо:

— Вам плохо?

Сен-Марен с трудом оборачивается и отвечает деланно бодро:

— Что вы, что вы!.. Так, пустяки… Небольшая одышка… Мне уже лучше… все в порядке…

Он чувствует себя таким слабым, таким раз-

битым, что вежливое сочувствие врача необыкновенно трогает его. Нередко после сильного потрясения, когда по членам разливалась такая вот блаженная расслабленность, он испытывал желание говорить по душам, откровенничать, нищенски клянчить совета или помощи. К счастью, притуплявшееся самолюбие просыпалось всегда вовремя, отгоняло искушение.

— Доктор, — сказал он отечески покровительственно, — вы узнаете на опыте, что странствия ничему уже не научают стариков, но лишь приближают их конец. Но и это не так уж плохо! Когда на последнем повороте старичок и хочет и страшится кувыркнуться в небытие, иногда полезно легонько пихнуть его в спину!

— Небытие! — вежливо возражает люзарнский кюре. — Не слишком ли сильно сказано, маэстро?

Поверх плеча Гамбийе Сен-Марен устремляет взгляд на своего несносного угодника.

— Не все ли едино, как сказать? У вас что, есть выбор?

— Бывают такие безнадежные… такие мучительные слова… — восклицает бедняга, начиная бледнеть.

— Позвольте! — продолжает Сен-Марен. — Уж

не полагаете ли вы, что я сподоблюсь бессмертия, ежели слово будет на слог короче или длиннее?

— Вы не так меня поняли! — лепечет будущий каноник, страстно жаждущий примирения. — Очевидно, такой ум, как ваш… иначе представляет себе… будущую жизнь… возможно… не так, как простые верующие… Однако мне трудно вообразить, что ваш возвышенный дух… смирился… с мыслью о совершенной, бесповоротной гибели, о полном исчезновении в небытии…

Заключительные слова он выговаривает сдавленным голосом, а взор его, где отражается трогательное волнение, молит великого художника о снисхождении, о пощаде.

Неумолимое презрение Сен-Марена к глупцам удивляет на первых порах, ибо в иных обстоятельствах он частенько подыгрывает собеседнику, напуская на себя скептицизм. Но именно так он может, не подвергаясь особой опасности, выказать свою бессознательную ненависть к увечным и слабым.

— Весьма признателен вам за то, что вы уготовали мне другой рай, нежели своему викарию и певчим. Но упаси меня боже искать на небесах новую академию — с меня хватит и французской!

— Если я верно понял ваше язвительное замеча-

ние, — начал было Сабиру, вы обвиняете меня…

— Я не обвиняю вас! — вскричал вдруг Сен-Марен с необыкновенной запальчивостью. — Но уж лучше небытие, чем ваши дурацкие кущи!

— Кущи… Кущи… — лепечет, совершенно смешавшись, будущий каноник, …я отнюдь не хотел извратить заповедь господню… Я хотел лишь привести вас в ясность… выражаясь вашим языком…

— В ясность!.. Вашим языком!.. — передразнивает писатель, ядовито ухмыляясь.

Он приостанавливается, переводит дух. Лампа, дрожащая в руках святого отца, озаряет бескровное лицо Сен-Марена. Уголки злобно искривленного рта опустились, словно к горлу писателя подступила тошнота. И седой скоморох действительно изрыгнул, отхаркнул под ноги тупоголовому попу все, что было у него на сердце, вывернул наизнанку свое нутро.

— Я знаю, аббат, что великодушно сулят мне наиболее просвещенные люди вашего круга: бессмертие мудреца, коему отводится место между Ментором и Телемахом, под державной десницей добренького, изрекающего благоглупости Господа. По мне, так лучше бог Беранже, наряженный в мундир солдата Национальной гвардии! Мир

древних Афин и Рима в изображении господина Ренана, моление среди развалин Акрополя, Греция, глядящая со страниц школьных учебников… Какая дичь! Я родился в Париже, аббат, в задней комнате лавки торговца из Маре. Мой отец был родом из Бос, а мать уроженкой Турени. Как и все дети, я учил слово божие, и если бы мне понадобилось преклонить колена перед образами, я прямиком отправился бы в свой старый приход Сен-Сюльпис, а не стал бы кривляться, как захмелевший преподаватель лицея, у изваяния Афины Паллады! Мои книги, говорите? Плевать я на них хотел! Я жалкий дилетантишка, только и всего! Белая косточка? Да, я брал от жизни все, что мог взять, слышите? Я глушил ее стаканами, хлестал из горлышка, лил себе в глотку, не переводя дыхания. Все трын-трава! Ничего не поделаешь, аббат: смерть страшна, когда живешь в свое удовольствие. Лучше уж набраться смелости и посмотреть ей прямо в лицо, чем развлекаться чтением философских сочинений, вроде того, как ожидающие в приемной зубного врача стараются заглушить неприятные мысли, разглядывая картинки в иллюстрированных газетах. Это я-то увенчанный розами мудрец, славный потомок древних мыслителей? О, бывают минуты, когда

обожание межеумков заставляет нас завидовать участи осужденных к позорному столбу! Поклонники таскаются за нами по пятам, хотят, чтобы им без конца показывали одну и ту же ужимку, умиляются собой, а назавтра объявляют вас вралем и шутом гороховым. Вот бы ханжам дорваться до пера! Откровенно говоря, аббат, все мы ходим в дураках, — несчетное, дремучее дурачье! Да последний землекоп, жалкий мураш, помышляющий лишь о том, чтобы набить себе брюхо, и тот перехитрил меня ведь он до последнего часу может надеяться, что будет сыт и пьян. А мы!.. Покидаем стены коллежа в плену романтических бредней. Нет для нас на свете ничего более желанного, чем прекрасное бедро, изваянное из живого мрамора; очертя голову, мы устремляемся в погоню за женщинами. В сорок лет делим постель с герцогинями, а в шестьдесят уже тем рады, что бражничаем с уличными девками… А еще позднее… хе-хе-хе!.. еще позднее начинаем завидовать таким людям, как ваш святой: они-то, по крайней мере, умеют стариться!.. Вам угодно знать, что думает маститый художник? Так слушайте, что он скажет вам без утайки, начистоту выложит, все как есть!.. Когда лишился уже способности…

И он действительно высказал свои мысли, совершенно не заботясь о том, чтобы прикрыть их безобразную наготу, буквально захлебываясь отвращением к себе. Тонкие черты застыли в скотской отупелости, зубы ощерились в угрюмо-злобной усмешке, старое лицо оцепенело, сведенное жуткой судорогой порока. Гамбийе исподлобья наблюдал за ним, злорадно склабясь. Преподобный отец попятился. Выражение отчаяния на его лице смягчило бы самого барона Сатюрна, вызванного к жизни пером бессмертного Вилье.

— …Полно… что вы, маэстро… — лепетал несчастный, — вера, обряды которой я отправляю, дарит нас бесценными сокровищами терпимости… милосердия… Сомнение в догмате веры… может… должно в известной мере… сочетаться с отеческим вниманием… я сказал бы, особым попечением… к некоторым исключительным личностям… Я никак не мог предполагать, что искреннее стремление к примирению несходных воззрений… так сказать, к составлению из них стройного целого… известная широта взглядов… Будущая жизнь… по учению церкви…

Доводы беспорядочно теснились в его помутившемся мозгу; ему хотелось выложить их все

сразу, мысли скакали от одного к другому, как ошалевшая стрелка компаса.

Но могучий старик приступил к нему, заслонив его широкими плечами:

— Будущая жизнь? Учение церкви? — вскричал он, сверля Сабиру светлыми глазами. — Вы в это верите? Отвечайте прямо, без уверток: верите? Ну?.. Да или нет?..

(В голосе его, видимо, было что-то еще, кроме оскорбительного вызова...) Но разве припрешь к стене такого вот Сабиру? Ни разу он не усумнился в справедливости проповедуемых им истин по той простой причине, что ни разу не усумнился в себе, в непогрешимости своих суждений. Все же он колеблется, лихорадочно роется в уме в поисках подходящего ответа, какого-нибудь удачного возражения... Но грозный противник совсем притиснул его, взял за глотку... Сабиру умоляюще поднимает руку. "Поймите же меня..." — начинает он обмирающим голосом.

Сен-Марен жжет его взглядом, где пылает нескрываемая ненависть, отворачивается. Тщетно пытается вымолвить что-то злосчастный кюре: слова застревают у него в горле, и слезы кипят на глазах — слезы позора.

Господин Гамбийе так никогда и не понял,

каким образом мирно начавшийся разговор, становясь постепенно все громче и раздраженнее, достиг такой запальчивости и озлобления, что на миг почудилось, будто здесь, в свете керосиновой лампы, сошлись лицом к лицу три заклятых врага. Причина же заключалась в том, что все трое оказались в таких обстоятельствах, когда слова и внутреннее состояние перестают соответствовать, когда участники разговора препираются, не слушая друг друга, когда каждый говорит, отвечая своим мыслям, и негодуя, как ему кажется, против собеседника, в действительности сердится на самого себя, на свое недовольство собой, подобно некоей диковинной кошке, ловящей собственную тень.

В наступившей тишине, где зрела новая гроза, они услышали вдруг скрип наружной двери, потом потрескивание лестничных ступеней под медленными грузными шагами. Они были настолько взвинчены, что переглянулись с каким-то благоговейным ужасом. Сабиру первым облегченно перевел дух, увидев спокойное лицо Марты.

— Ох-хо-хо, чистое наказание! — бормотала запыхавшаяся старуха.

Добравшись до последней ступени, она окинула

мужчин быстрым взглядом, легонько охлопывая передник, чтобы разгладить набежавшие морщины.

— Ладислас ждет вас, господа!

В молчании они послушно сошли за ней к садовой калитке. Небо было усыпано звездами.

— Видать, он вперед пошел, — молвила служанка, указывая на светлое пятно, которое плыло, покачиваясь, вдоль дорожки темного кладбища. — Это его шаги. Ступайте, церковь будет отперта.

Она придержала священника за рукав и, привстав на носках обутых в кожаные галоши ног, зашептала ему на ухо:

— Хоть бы вы его уговорили — ведь маковой росинки во рту не было со вчерашнего вечера! Уморит он себя!

Она пошла прочь, не дожидаясь ответа. Своих спутников Сабиру нагнал уже у церковных сеней. Поразительно светлая, резко очерченная стрела храма возносилась в ночное небо. Изнутри доносилось шарканье кованых башмаков служки по каменным плитам.

— Итак, мы продолжаем вместе наши похождения, — любезно проговорил Сен-Марен, обращаясь к бывшему профессору, в которого улыбка великого писателя словно вдохнула

жизнь. — Я и думать не могу об ужине, прежде чем вы отыщете вашего неуловимого святого. Согласитесь, это вмешательство свыше пришлось как нельзя более кстати — иначе мы и теперь еще препирались бы и злились друг на друга.

Послегрозовая свежесть развеяла его дурное настроение. Нищая лачуга святого и заколдованный круг света на стене казались ему теперь дурным сном.

— Давайте войдем, — немногословно пригласил Сабиру (но какой благодарностью светились его глаза!).

Ладислас тотчас поспешил им навстречу. Будущий каноник бодро спросил:

— Ну, что новенького, Ладислас? (Лицо доброго крестьянина тотчас выразило крайнее недоумение.)

— Нет нигде нашего батюшки!

— Вот те на! — вскричал Сабиру, и отголоски долго гудели под старинными сводами.

Люзарнский пастырь негодующе скрестил руки на груди:

— Довольно шуток!.. Вы совершенно уверены, что…?

— Все осмотрел, каждый закуток облазил… Думал, он в часовне Ангелов он туда каждый день

после обеда ходит и прячется в одном месте, так что не всякий сыщет… Только нет его там, нигде нет… Я уж и под кафедру лазил! Просто ума не приложу!..

— Но должен же он где-то быть? — вмешался Гамбийе. — Человек не иголка, как вы думаете?

Будущий каноник кивнул, давая понять, что он того же мнения.

— Может, господин кюре вышел через ризницу, — отвечал Ладислас, — и пошел по Вернейской дороге до Рою, где крест поставлен? Он любит ходить туда поздним вечером, читая по пути молитвы.

— Ох-хо-хо! — шумно вздохнул шавраншский врач.

— Да вы погодите, — продолжал служка. — Только об эту пору осталось-то всего двадцать минут до благословения святого причастия — он давно бы уж воротился, давно… Я все думал… Сегодня вечером он был такой слабый, бледный… Ведь со вчерашнего вечера ничего не ел… Может, худо ему стало, вот что я думаю!..

— Боюсь, это вполне могло случиться, — заметил Сабиру.

Некоторое время он раздумывал, по-прежнему держа руки скрещенными на груди и надувая

щеки, более важный, чем когда бы то ни было. Внезапно он решился:

— Весьма сожалею, уважаемый маэстро… о том, что… волею обстоятельств причиняю вам столько беспокойства…

— Никакого беспокойства, решительно никакого! — любезно возразил уважаемый маэстро, окончательно сменивший гнев на милость. — Я сказал бы даже, что это приключение начинает меня забавлять, если бы не разделял вашего беспокойства… Но я, пожалуй, дальше не пойду — куда мне угнаться за вами на моих старых ногах! Я лучше подожду вас здесь…

— Надеюсь, вам недолго придется ждать,- отвечал бывший профессор. — Он наверное там: некуда ему больше деваться!.. Я полагаю, господин Гамбийе не откажется сопровождать меня: его помощь понадобится мне более, чем когда-либо. Идемте с нами, Ладислас, — сказал он, обращаясь к служке, — да захватите по пути сына кузнеца — вдруг понадобится нести нашего несчастного друга…

Его голос постепенно затих в отдалении, дверь захлопнулась, маститый романист остался один и улыбнулся.

XIII

Улыбка волшебства! Старая церковь медленно дышит, еще храня слабое тепло угасшего дня. Запах ветхих камней и истлевшего дерева, таинственный, как благоухание старого густого леса, обволакивает приземистые мощные столпы, мглою стелется над плохо пригнанными темными плитами, как болотная вода, застаивается в темных углах. Он стекает в выбоины пола, углубления стен, пустые ниши, словно в гранитное ложе, и красный свет лампады, теплящейся вдали у алтаря, напоминает бакен, горящий посредине глухого озера.

Сен-Марен с наслаждением вдыхает воздух деревенской ночи среди стен шестнадцатого столетия, источающих благоухание долгой череды минувших лет. Забрав шись в правый придел, он сидит в тихой задумчивости на краю дубовой скамьи, жесткой и гостеприимной. Над головой с легким скрипом покачивается на железной проволоке медный светильник, изредка хлопает дверь, а когда наступает тишина, ему чудится слабый звон — верно, подрагивают в свинцовых окладах пыльные стекла, отзываясь на стук ко-

пыт трусящей по дороге лошади.

"Сейчас врач и его несносный спутник таскаются бог знает где, — думает он, — и будут плутать как раз столько времени, чтобы я успел без помехи насладиться столь чудесным мгновением!.." (Он склонен верить в счастливые совпадения, в тайное благоприятствование случая.) Церковь, тишина, игра теней… В самом деле, будто нарочно приготовлено для него, как будто его ждали здесь! "Только бы они не вернулись слишком рано!" — думает он.

Они не вернутся слишком рано.

("Умирающие прекрасно знают, чего им хочется, но помалкивают о своих желаниях", — заметил однажды старый еврей Мечислав Гольберг.)

Глухое беспокойство маститого романиста растворилось мало-помалу в глубоком внутреннем покое, какой ему редко случалось вкушать. Среди безмолвия, как огоньки ночного города, вспыхивают воспоминания. Его обступают беспорядочные образы прошлого, сладко хмеля своей пестротой. Как перекликаются, вторят друг другу годы, дни, часы через календарные границы!.. Ясное деревенское утро, чудный звон медного таза для варенья… Вечерний час, и прозрачная струя ледяной воды под сенью недвижной листвы…

Удивленные глаза белокурой кузины, глядящей на него поверх семейного стола, волнующаяся маленькая грудь… И вдруг прыжок через полстолетия… Первые знаки старости, несостоявшееся свидание… страстная любовь, за которую отчаянно борются, сражаются самоотверженно, ни пяди не уступая, до последнего вздоха, когда губы старика жадно ловят упругий ускользающий рот, который завтра вонзит в него беспощадное жало… Это его жизнь — все, что не уничтожило время, что в минувших летах сохранило еще свои черты, облик свой. Прочее все вздор, и книги и слава. Пятьдесят лет труда, блистательное имя, тридцать нашумевших книг… Неужели это так мало значит?.. Сколько болванов вопит: искусство, искусство… А что искусство? Бесподобный жонглер знает одни тяготы его. Он нес искусство на своих плечах, как бремя. Лепоречивый вития, толковавший о себе одном, ни разу не выразил себя. Свет, решивший, что любит его, видит лишь обманчивую личину. Он отлучен от своих книг, изначально лишен права на них… Полчища читателей — и хоть бы один друг!

Впрочем, он нимало не сожалеет о том. Вера в свою вечную неуловимость, убеждение, что люди никогда не будут знать о нем ничего, кроме

видимости, зажигает лукавый огонек в его глазах. Пожалуй, только этой плутовской усмешки "под занавес" и заслуживает все лучшее, что возникло под его пером. Учеников он не жаждет. Толпящиеся вокруг него люди враждебны ему. Бессильные найти собственный путь к обаянию, обворожительности, тайной которых владел их кумир, они пробавлялись ловким подражательством. Самые дерзновенные их искания не шли дальше грамматических потуг. "Они разбирают по винтикам мои парадоксы, а вот снова собрать не могут", — говаривал Сен-Марен. Поблекшая юность, видевшая, как Пеги лежал средь сжатой нивы перед лицом Бога, с отвращением отступает от дивана, где сверхутонченный критик лощит себе ногти. Она не мешает Нарциссу изощряться в томной немощи, но всеми силами души ненавидит наиболее крепких и удачливых из той своры, что грызется за наследство скверного учителя и натужно кропает путаные книжонки, со злобным ворчанием расступаясь перед сильнейшими. Единственно, что они способны свершить в юдоли сей, — с кряхтеньем нагадить воняющим кислятиной дерьмом вокруг источников, где несчастное человечество утоляет духовную жажду.

Но что создателю "Пасхальной свечи" до мышиных зубов, прилежно грызущих за его спиной! Сам он глодал свою корку, томясь скукою, скорее по нужде, чем ради удовольствия. Пора уступить место молодым крысам: у них зубы покрепче! В этот вечер он думает о них без гнева, с чувством блаженного покоя воображает далекий шумный город, бурливые толпы под необъятным черным небом. Суждено ль ему увидеть его еще? Да и существует ли он в действительности, там, далеко, во мраке упоительно теплой ночи?

Почти над самой его головой часы тихо стучат, как сердце в груди. Он закрывает глаза, чтобы лучше слышать их, жить и дышать в лад с сим ветхим пращуром, потерявшим счет летам своим, нехотя отмеряющим на протяжении долгих столетий беспощадное будущее. Этот стук, едва слышный под звучными сводами храма, этот ровный стрекот, изредка прерываемый боем, будет и по его смерти, еще многие-многие годы, звучать над безмерными пространствами безмолвия, вплоть до дня... Какой день возвестят они последним ударом полуночи, прежде чем навечно станут ржавые стрелки, две неразлучные подружки?

Он поднимает веки. Перед ним врезана в стену

плита сероватого мрамора; на ней крупными, некогда золочеными буквами высечена надпись. Он медленно разбирает слова:

"В память… Жан-Батиста Ома, королевского нотариуса, 1690-1741… Мелании-Гортензии Ле Пан, супруги его… Пьера Антуана Доминика …Жан-Жака Ома, владетеля Эмекура… Поль-Луи Франсуа…" И так далее до последней строки, последнего имени: "…Жан-Сезара Ома д'Эмекура, капитана кавалерии, бывшего церковного старосты прихода, скончавшегося в Каннах… в 1889 году… благодетеля церкви сей… Помолитесь об угасшем роде сем" смиренно, словно стыдясь своей навязчивости, взывает доныне старый камень.

— Какая утрата! — презрительно шепчет писатель, но губы его трогает мягкая улыбка снисходительного покровительства. Толстая мраморная плита, где старательно высечены золоченые буквы… она самодовольно безвкусна, как любая вещь мещанского быта. Что может быть печальнее беломраморного надгробия, окруженного цепью, покоящейся на четырех каменных тумбах, когда по нему хлыщет зимний дождь! Но сколь утешительный образ смерти являет плита сия, утвержденная на стене против скамьи, где цер-

ковный староста принимал освященный хлеб, такая же гладкая и блестящая, как в первый день, предмет неусыпных забот прилежного служки! Прославленного романиста волнует незыблемая прочность сего посмертного поминовения. Он неторопливо читает имена, словно имена друзей, чья близость внушает уверенность. А сколько других покоится под плитами с изглаженными надписями вместе с останками многих колен Омовых — и там, и там, и там, до самого подножия алтаря добропорядочных обывателей, которым хотелось спать под своим кровом и жить, покуда стоит неколебимо крепкое основание жилища их… Как приятно, наверное, уснуть здесь, бок о бок с ними!.. Никогда еще прославленный сочинитель не чувствовал себя таким покорным, смирившимся. От блаженной истомы все в нем расслабилось, и тихо плывет перед глазами сонная глубина церкви, открывшей ему свою тайну, ставшей близкой, родной. И слетает на него еще неизведанный доселе покой, блаженство неизъяснимое, сродни упоению святой веры… Он нежится в тихой отраде, сладко потягивается и подавляет зевок, точно молитву.

Небо темнеет, померк над хорами последний витраж. За отворяющейся дверью видна лишь

бархатная тьма, наружный мир напоминает о себе одними долетающими сюда запахами. По рядам, от скамьи к скамье, летит приглушенный шепот, дробно топочут нетерпеливые ноги, поспешая к выходу; один за другим немногочисленные прихожане невидимками покидают храм. Давно уже благословили причастие, ризница по-прежнему заперта, лишь три светильника из двенадцати горят в огромном ковчеге. Так что же? Чего еще ждать?.. Завсегдатаи ищут друг друга в потемках, еще издали подают знак ласковым покашливанием, заводят беседу… С последним вокурским автобусом уехали любопытствующие мужчины и женщины: в столь поздний час в Люмбре остаются лишь старые его друзья. Наконец и они расходятся. Сен-Марен оказывается совершенно один.

XIV

Теперь он единственный обладатель огромной, мрачноватой, но все же прелестной игрушки, один он, сочинитель "Пасхальной свечи", он один! Сен-Марен любовно скользит взглядом по ребрам сводов, образующим вверху розетку и по трое с упругим, почти звериным изяществом низбегающим к пилястрам боковых стен. Не старался ли, не ведая того, вдохновенный зодчий, чьи руки сотворили некогда сии невесомо парящие своды, о том, чтобы приковался к ним восхищенный взор седовласого гения? Чего еще ждут богомолы и богомолки, да и сам мужичий поп, возводя глаза к безжизненному небу, как не ослабления уз, их оковавших, недолгого покоя, временного примирения с судьбой? То, что они простодушно именуют милостью божией, даром Духа Святого, благодетельностью святого причастия, и есть эта самая передышка в уединении храма. Жалкие, глупые людишки, утруждающие себя пустословием! Преславный деревенский святой воображает, будто каждое утро вкушает жизнь вечную, но в действительности стал жертвой довольно грубого обмана чувств, который вряд

ли может сравниться с грезой наяву, с умышленным самообманом словесника-чародея. "Почему мне раньше не приходило в голову забраться куда-нибудь в глушь и дышать запахами сельской церкви? Наши прабабки, жившие в тридцатые годы прошлого столетия, знали тайны, утраченные нами!" Он жалеет о посещении священнического дома, едва не увлекшем его в совсем другую сторону, о дурацком паломничестве в каморку святого (увидев забрызганную кровью стену, он испугался, решив, что сходит с ума). Зрелище, в сущности, довольно дикое, вынести его под силу только людям с менее развитым воображением. "Как и все на свете, святость красива, только когда ее напудришь и накрасишь, а за нарядной вывеской одна мерзость и вонь!" думает он. В его возбужденном мозгу кипят новые, смелые мысли; еще неясная, полная юных соков надежда вливает бодрость в старые мышцы. Давно уже он не чувствовал свое тело таким упругим и сильным.

— В старости есть своя отрада, — сказал он едва ли не в полный голос, она открылась мне сегодня. Даже с любовью — да, и с любовью тоже! — можно разлучиться тихо. Я искал смерть в книгах, в гнусных городских кладбищах, то непомерно разбухших, напоминающих чудовищные ноч-

ные видения, то съежившихся ровно настолько, чтобы прийтись впору господину в казенной фуражке, который, говорят, содержит в порядке могильные ограды, все заносит в роспись, хозяйски ведает всем. Нет, только здесь или в какой-нибудь другой подобной обители должно принять ее, как приемлют холод или зной, ночь или день, нечувствительный ход светил, круговращение времен года, по примеру мудрецов и зверей. Сколько ценного, непривычного может почерпнуть мыслитель в тайных глубинах души какого-нибудь сельского пастыря, вроде здешнего, живущего согласно с природой, наследника вдохновенных пустынников, превращенных некогда воображением пращуров в божества полей и лугов. О, неразумный стихотворец, ищущий царства небесного и обретающий вместо него просто покой, смиренное покорство силам природы, безмятежность духа!..

Не трогаясь с места, знатный сочинитель мог бы коснуться рукой исповедальни, где люмбрский святой дарит паству сокровищами обретенной опытом премудрости. Устроенная меж двух каменных столпов, она выкрашена в ужасный темно-бурый цвет; вход в это безвкусное, почти безобразное сооружение задернут двумя зеле-

ными занавесами. Знаменитость огорчена этим уродством, тем, что деревенский пророк изрекает свои откровения, сидючи в ящике из еловых досок. Тем не менее она с любопытством разглядывает деревянную перегородку, за которой ему мерещится покойное, улыбающееся, внимательное лицо престарелого пастыря, сомкнутые вежды и поднятая для благословения рука. Сен-Марену несравненно приятнее воображать его таким, нежели стоящим лицом к голой стене в своем чулане под крышей, с бичом в руке, окровавленного, объятого безумием самоистязания! "Самые кроткие мыслители, — думает он, — и те, несомненно, нуждаются в такого рода встряске, оживляющей в их сознании потускневшие образы. То, чего иные добиваются с помощью опиума и морфина, он достигает ударами кожаного кнута по собственной спине и бокам".

Медный светильник тихо качается, колышется взад и вперед на железной проволоке. Тень то растягивается, всползая до сводов, то съеживается, затаивается в черных впадинах столпов, вновь растекается по храму. "Так и мы переходим от холода к теплу и от тепла к холоду, — грезит Сен-Марен, — то горим задором, то охватит нас холодом и усталостью, согласно неведомым и,

вероятно, непознаваемым законам. Некогда неверие наше было вызовом. Но и безразличие, в котором позднее мы видим верное средство все постичь, скоро становится довольно утомительной рисовкой. Боже, какого судорожного напряжения стоит улыбка прожигателя жизни! И правнуков наших не минует чаша сия. Ум человечий без конца меняет рисунок и изгиб своих крыльев — они рассекают воздух под самыми разными углами, от положительных до отрицательных, но не могут оторвать его от земли. Есть ли ныне слово более постыдное, чем "дилетант", некогда внушавшее почтительное уважение? Новое поколение, очевидно, было отмечено печатью иной, теперь можно сказать какой: печатью жертвенности — почетный жребий, которому завидуют военные люди. Я видел юного Лагранжа, снедаемого священным нетерпением, воплощенное предчувствие… Он прежде меня вкушает покой, который так ненавидел. Кем бы мы ни были, верующими иль вольнодумцами, как бы нас ни называли, все искания наши обречены на неуспех — более того, всякое усилие лишь приближает конец. Самый воздух горит в груди, сжигает нас. Сомнение не слаще отрицания. Но проповедовать сомнение — вот уж казнь

египетская! В лучшие годы все помыслы наши сосредоточены на женщинах, от половой страсти кровь шумит в голове, гонит мысли прочь. Мы живем в каком-то болезненно-сладком полубреду, перемежающемся приступами отчаяния, когда все предстает нам с беспощадной ясностью. Но по мере того, как годы минуют, мысленные представления тускнеют, кровь в жилах делается все водянистей, машина работает на холостом ходу. Состарившись, мы переживаем школярские премудрости, которые только потому и были хороши в свое время, что мы вкладывали в них весь пыл наших желаний; мы твердим слова столь же обветшалые, как мы сами; мы жадно ищем в юных взорах утраченные нами тайны. Ах, нет испытания более тяжкого, нежели сравнивать свою немощь с жаром и кипением жизни в других, как если бы вставал перед нами могучий вал, которому уже не взметнуть нас на свой хребет… К чему пытаться повторить то, что дается лишь единожды? Этот попик поступил умнее: он ушел от жизни, не дожидаясь, когда она уйдет от него. Старость его не отравлена сожалениями. Он желает лишь как можно скорее избавиться от того, с чем так жаль расставаться, и когда мы сетуем на то, что желание наше притупилось, он рад тому,

что искушение не тревожит более его покоя. Я готов биться об заклад, что уже в тридцать лет он научился вкушать стариковские радости и, таким образом, ничего уже не терял с возрастом. Может быть, не поздно еще последовать его примеру?

Таинственный крестьянин, воспитанный старыми книгами и поучениями неотесанных наставников в пыльных классах духовной семинарии, может постепенно достичь безмятежного покоя мудрости, но опыт его скуден, приемы незамысловаты, подчас нелепы и осложнены к тому же глупыми суевериями. Именитый словесник, завершающий путь свой на мирском поприще, но достигший поры полного расцвета творческих сил, может добиться того же иными средствами: воспринять от святости привлекательные ее стороны, вернуться, оставив брюзгливые ужимки, к покою детской души, привыкнуть к тишине и уединению сельской жизни, учиться не столько тому, чтобы ни о чем не сожалеть, сколько тому, чтобы ни о чем не вспоминать, следовать, оснуясь на трезвом рассудке и соблюдая разумную меру, старинным и, без сомнения, мудрым правилам воздержания и целомудрия, находить в старости удовольствие, как его находят в осени, вечерних сумерках: свыкнуться понемногу с мыслию о

смерти. Конечно, игра нелегкая, и все же не более чем игра — не так ли? — для человека, написавшего столько книг, для создателя обманов. "То будет последнее мое творение, — решил Сен-Марен, — я напишу его для себя, и буду попеременно то исполнителем, то зрителем".

Но последних книг не пишут, о них лишь мечтается неясно. Уже одно то, что книга эта стала грезой, есть зловещий знак. Так старые кошки, зачуяв близкую смерть, поскребывают ковер, и по прекрасным цветным узорам блуждает их взор, полный нежности неизреченной.

То же выражение и в глазах Сен-Марена, неотрывно глядящего на легкую деревянную решетку — за нею мнится ему благословляющий подвижник, премудрый старец с всепрощающей улыбкой на устах, восхитительно красноречивый и немногословный, умудренный знанием души человеческой. Он полюбил уже святого за то добро, какое тот может сделать для него. Даже святые не остаются равнодушны к особо утонченным изъявлениям учтивости, к тому сердечному, проникновенному благожелательству, которое есть наивысшее выражение вежливости ума недюжинного. Человек, питающий отвращение к откровенной лести, не без удовольствия при-

нимает тонкую похвалу. Да что говорить! И до великого Сен-Марена немало людей преклоняло здесь колена, внимало доброму старцу и уходило с облегченной душой. В самом деле, разве может человек закоснеть в грехе, коли есть исповедь? Разве, признаваясь со стыдом в своих прегрешениях — пусть утаивая что-то, не оставаясь честным до конца, — не испытывает он острого, терпкого ощущения, похожего на укор совести, которое служит не совсем обычным и не слишком приятным лекарством от пресыщения грехом? Кстати, ярые приверженцы вольномыслия делают великую глупость, не желая признавать, что церковь прибегает к той самой психотерапии, которая кажется им столь новым и превосходным средством, когда к нему прибегает какое-нибудь светило в области неврологии. Разве этот самый профессор не делает в своей клинике то же, чем занимается простой священник в исповедальне: располагает к откровенности, побуждает довериться ему, а затем внушает расслабленному, успокоенному пациенту? Сколько тайн плесневеет в тайниках души, и облегчить ее можно лишь таким образом! Знаменитость, прячущаяся в собственной тени, видящая свое отражение во всех глазах, слышащая свой голос на всех устах,

узнающая себя даже в жгучей неприязни и зависти, какие вызывает в других, вполне может сделать попытку вырваться из плена своего "я", разорвать заколдованный круг. Она никогда не открывается стоящему ниже и неизменно лжет равному. Правда, она оставит по себе правдивые записки, но истинная сущность ее, искаженная вполне понятной скрытностью, заволакивается еще более густым туманом из-за ужасных припадков посмертного тщеславия, которые довольно хорошо знакомы публике. Нет ничего более суетного, чем загробное слово... Ну что ж... ну что ж, он счастлив будет, если однажды, по воле случая, отдаст сокровища своей души первому встречному, как швыряют нищему горсть золотых монет, он, который никому еще не делал столь щедрого дара. Лишенный, при всей своей утонченности, истинного вкуса, хотя и воспринимал грубость как насилие над собой, этот человек не способен был высвободиться из плена собственной низменности. С детской гордостью он так и сяк поворачивает в уме эти пестрые мысли, радуясь тому, что остается лишь выбирать из множества веских доводов. Он глядит на деревянные ступени, истертые за многие годы коленами кающихся, не просто с любопытством,

а с жадностью... Стоит только опуститься на них, а там уже все пойдет само собой. Кто помешает ему? Тому, что не знает равных себе в тонком искусстве наблюдения, очаровательному насмешнику, лучше кого бы то ни было умеющему сохранять хладнокровие, не будет, конечно же, отказано в том, что расточалось на этом самом месте перед неграмотными старыми девами! Нужно лишь небольшое усилие, чтобы он, который несчетное число раз высасывал, выжимал все до капли из редкостных, трудно достижимых ощущений, говорил на самых разных языках, перепробовал столько притворств, влез наконец в шкуру деревенского мудреца, познавший цену всему, умиротворенный, в меру набожный. Со времен римского императора, сажавшего репу, многие великие мира сего ждали смерти, вкушая тихие радости деревенского бытия. На языке театральных кулис это называется "вжиться в роль", чтобы поверить собственному притворству. Так жирненький, раскрасневшийся от довольства актер, добросовестно изучив образ, допивает кружку пива и захлопывает книгу со словами: "Ну, теперь он у меня в кармане, этот Полиевкт!"

XV

"Теперь этот святой у меня в кармане!" — мог бы сказать знаменитый писатель, если бы был настроен на шутливый лад. Он и в самом деле у него в кармане или скоро окажется там. С детским самодовольством Сен-Марен размышляет о том, что он, пренебрежительно отведывавший самых диковинных плодов из царских вертоградов, еще может в охоту грызть краюху ржаного хлеба, вырванную изо рта бедняка: гения снедает жгучее, ненасытное любопытство.

Как сладостно вкусить в столь преклонные лета радости причащения! Конечно, от Парижа до Люмбра не близко, но какой путь одолел он, перебравшись из дома священника в церковь! Еще полчаса назад его терзали беспокойство и страх, и впереди не было ничего, кроме бесславного возвращения в особнячок по улице Верней, где он умер бы, ненужный, забытый, цепляясь за руку служанки, которая шептала бы, словно про себя, что "бедному мосье так не хочется умирать!". Но вот бремя тоски спало с души, он свободен, кое-что придумал, — какое счастье! — его даже лихорадит немного от возбуждения... За пол-

тора месяца все можно обдумать и решить. Он приищет где-нибудь на лесной опушке полукрестьянский, полуобывательский домик, стоящий посреди росистого зеленого луга… Обращение Сен-Марена в веру божию, его отшельническая жизнь в Люмбре… торжествующий вопль верующих… первое интервью… тонко поведенная речь… нечто вроде завещания великого писателя: последний привет юности, красоте и радостям жизни, которых он лишился, но от которых не отрекся, а потом молчание, бесконечное молчание, где будут благоговейно погребены, один подле другого в их люмбрском уединении, мыслитель и святой.

Картина так живо рисуется ему, что он впадает в какое-то забытье, грезит с открытыми глазами, потом, вздрогнув, просыпается, словно от толчка, и вновь оказывается один. Внезапное пробуждение нарушило душевное равновесие, он неспокоен, возбужден. Недоверчиво глядит он на пустую исповедальню — вот она, совсем рядом, запертая дверь за зеленой занавеской манит его… Да что в самом деле! Лучше случая не придумаешь увидеть нечто большее, чем убогое жилище отшельника, жалкое ложе его и бич, то самое место, где он является душам верующих!

Сен-Марен один, да и что за беда, если кто-нибудь увидит? В свои семьдесят лет он действует, повинуясь первому порыву, неизменно ясному, определенному, неодолимому — опасная черта романистов… Он нашаривает ручку, решительно распахивает дверь.

Обычно колебания предшествуют поступку, он же только теперь испытывает нерешительность — мозг включился слишком поздно. Он потупляет глаза, чувствуя смутные угрызения совести, раскаиваясь в том, что поступил опрометчиво, наудачу, то ли боясь, то ли стыдясь вторгнуться в чужую, ничем не защищенную тайну. Но полоса света уже ползет по плитам, достигает зияющего провала двери, забирается внутрь, медленно поднимается… Вслед за ней поднимается его взгляд…

…Останавливается… какой смысл! Уже не скрыть того, что раз и навсегда обнажает свет.

…Два тяжелых башмака, похожих на те, что он видел на чердаке… Нелепо задравшаяся сутана… длинная худая нога в шерстяном чулке, совсем окостенелая, упершаяся каблуком в порог… Вот что увидел он спервоначала; потом в густой тени стал понемногу различать что-то смутно белевшееся там и вдруг увидел страшное, жутко

искаженное лицо.

Антуан Сен-Марен умеет выказывать в чрезвычайных обстоятельствах хладнокровное, расчетливое мужество. Впрочем, неожиданно нашедшийся священник вызывает в нем не меньше раздражения, чем страха. Только он размечтался — и на тебе, прервал на самом приятном месте! Значит, последнее слово осталось за этим необычным свидетелем, забившимся в темный ящик, за стоячим мертвецом. Хозяин нашелся, и профессор язвительной словесности смущенно гонит прочь глуповато-умилительные мечты.

Он широко распахивает дверь, отступает на шаг, мерит взглядом странного соседа; небрежно стоит перед ним, еще не решаясь бросить ему вызов.

— Хорошенькое чудо! — присвистнул Сен-Марен сквозь зубы, начиная злиться. — Наш пастырь, оказывается, умер от сердечного приступа. Эти дураки гоняют за ним по окрестным дорогам, а он преспокойно стоит здесь, как часовой, убитый выстрелом в упор в своей будке!

Привалившись к задней стенке исповедальни над узким сиденьем, на которое откинулся в последний миг, упираясь закоченевшими ногами в тонкую дощечку, укрепленную на полу поперек

входа, жалкий остов люмбрского святого, оцепеневший в преувеличенной неподвижности, выглядит так, словно человек хотел вскочить на ноги, увидев нечто совершенно поразительное, — да так и застыл.

Пусть других заботливые руки кладут на одр, укрывают свежей белой холстиной, дабы почили в мире, — сей муж восстал в непроглядной тьме поглотившей его ночи и внемлет зову чад своих… Он не все еще сказал… Нет, он не сказал последнего слова… Старый израненный боец вступается за слабых, обличает изменника и измену… О, Дьявол, мятежник, не желающий расстаться с былою славою своей, презирающий неповоротливо-задумчивое стадо людское, которое то погоняет, то сдерживает по прихоти своей, ты есть искусный, великолепный лжец! Но смиренный противник его не сдается и под оглушительное улюлюканье упрямо качает головой. Ликующая преисподняя бурей хохота и воплей встречает простодушные, маловразумительные речи заступника, невнятно-бесхитростную отповедь его. Пусть! Ему внемлет еще кто-то, и когда-нибудь люди узрят его в небесах!

"Господи, не верь, что прокляли тебя! Да сгинет лжец, продажный свидетель, ничтожный сопер-

ник твой! Он обокрал нас, раздел донага и вложил в уста наши богохульство. Но нам осталось страдание — наш общий с тобой удел, знак избрания нашего, наследие отец наших, которое сильнее целомудренного, неподкупного пламени души… Разум наш неповоротлив и слаб, доверчивость наша безгранична, а соблазнитель хитроумен, и мед на языке его… В устах его привычные слова обретают угодный ему смысл, и чем они благозвучнее, тем скорее сбивают с толку. Когда мы безмолвствуем, он говорит за нас, а когда пытаемся оправдаться, выносим обвинительный приговор самим себе. Необыкновенно хитроумный по части доказательств, он не перечит нам, а тешится тем, что нудит жертвы свои самих себя осуждать к смерти. Да сгинет с ним коварство слов! В вопле страдания отобразился человек, в стенании, исторгнутом от безмерной натуги утробой его. Ты бросил нас в гущу вещества, как горсть дрожжей. Пядь за пядью мы отвоюем вселенную, похищенную от нас грехом, и возвратим ее тебе, обиталище порядка и святости, в том точно виде, в каком получили в первый день по сотворении мира. Не отмеривай нам времени, Господи! Наше внимание так скоро утомляется, а ум коснеет! Взор наш неутомимо высматривает

окрест несуществующий исход, то и дело один из работников твоих бросает орудия и уходит. Но ты не ведаешь усталости в сострадании, всюду зрим острие меча твоего. Беглец вернется к ремеслу своему иль погибнет в одиночестве. Се есть то, чего вовек не прознает всеведущий враг!.. Наипрезреннейший из людей уносит с собой тайну, тайну благодетельного, очистительного страдания… Напрасна мука твоя, Сатано! Вот я пред тобою, там, куда ты увлек меня, и готов принять последний удар… Я всего лишь простоватый священник, над которым ты коварно посмеялся, а теперь столкнешь в пропасть, как придорожный камень… Кто может тягаться с тобой в хитроумии! Давно ли ты принял обличье и голос Господина моего? Когда я уступил в первый раз? Когда принял от тебя с безрассудной снисходительностью то единственное, чем можешь наделить: обманчивый образ отрешенности и бесконечного одиночества святых, отчаяние твое, неизъяснимое сердцу человечьему? Ты страдал, молился со мною… О, страшная мысль! Да и самое чудо… Но пусть! Пусть! Возьми все! Ничего не остави мне! После меня другой, и еще другой, без конца, из века в век, будет исторгать все тот же вопль, прижимая к груди крест… Мы не те густо-

румяные святые о ватной бороде, каких видят на картинках простолюдины, красноречию и телесной крепости которых позавидовали бы сами мудрецы. Наша доля отнюдь не такова, какой мнится живущим в миру. Самые тяготы гения кажутся легкомысленной забавой по сравнению с ней. Всякая прекрасная жизнь есть слово в защиту твою, Господи, но слово святых выжжено каленым железом".

Таково было, вероятно, последнее сетование, вознесенное Судие люмбрским святым, такова была укоризна, слетевшая с уст любящего чада. Но приехавшей из такой дали знаменитости он сказал бы нечто другое. Немотствует в полумраке черная яма рта, разинутого для последнего вопля, но всем оцепеневшим телом своим мертвец бросает страшный вызов: "Ты хотел мира моего? Возьми же".